

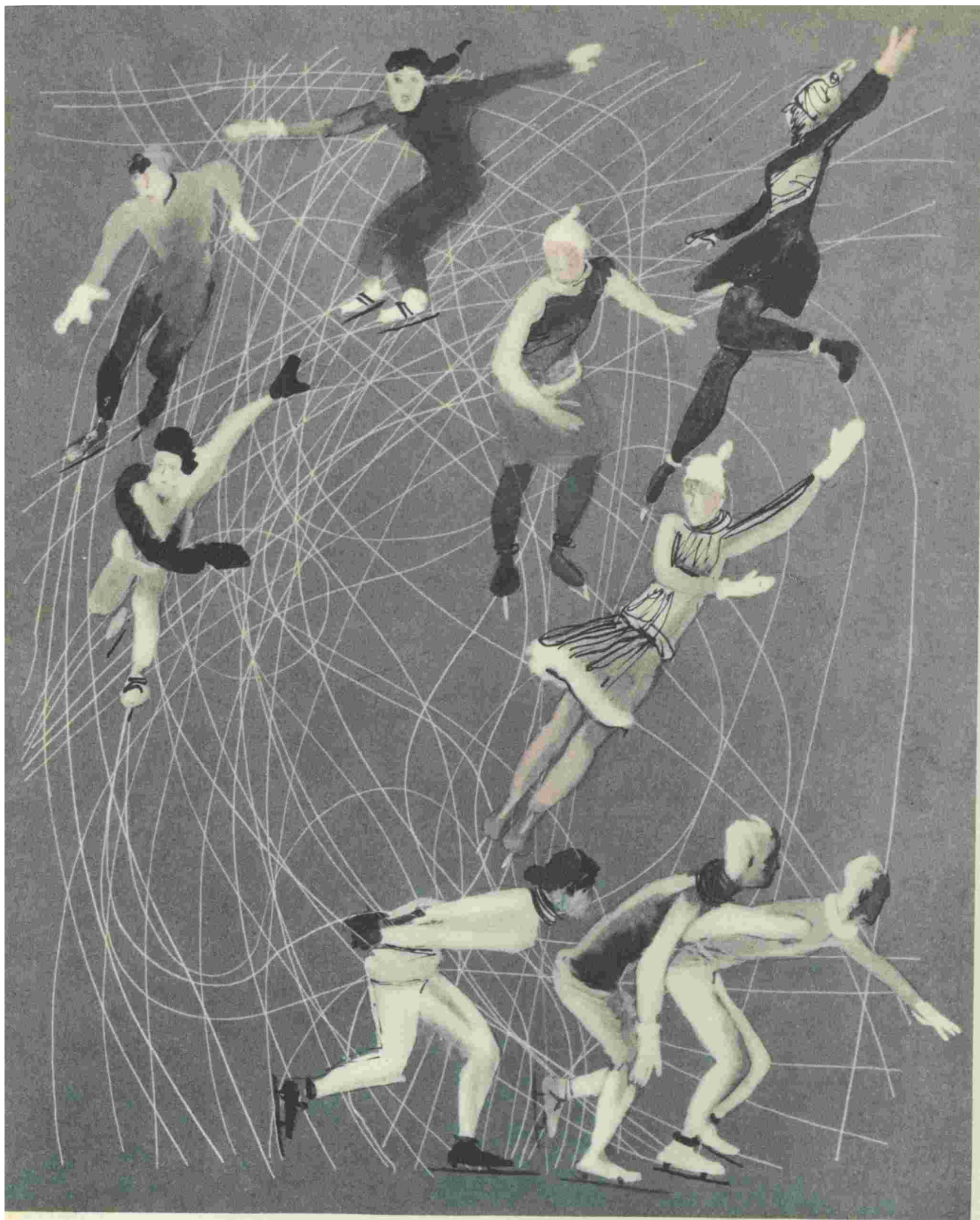


ЮНОСТЬ



1

1969

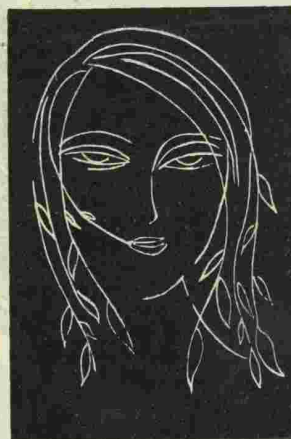


А. ДЕЙНЕКА.
Народный художник СССР

Коньки.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ С С С Р



ГОД ИЗДАНИЯ
ПЯТНАДЦАТЫЙ

1

(164)

ЯНВАРЬ

1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

РЕПЛИКА

В № 12 журнала «Октябрь» за 1968 год была опубликована под псевдонимом «Литератор» заметка «Советчик» из «затхлого мира», в которой на полутора страничках десять раз склоняется название журнала «Юность».

Так как эта «своеобразная», говоря литературным языком ее автора, заметка может попасть на глаза пусть хотя бы немногим читателям «Юности», как главный редактор «Юности», я считаю нужным выразить свое отношение к этой заметке.

Во-первых, упоминаемые в этой заметке лица и обстоятельства не имеют никакого отношения к редакции журнала «Юность», и поэтому я не считал и не считаю нужным заниматься на страницах журнала проверкой их подлинности.

Во-вторых, попытки неизвестного мне «Литератора» сводить свои литературные счета на страницах «Октября» с другим, очевидно, не понравившимся ему журналом при помощи дурно пахнущих намеков, стоящих на грани политической провокации, представляются мне бесконечно далекими от всех норм, принятых в советской печати. И, откровенно говоря, не хотелось бы больше никогда читать ничего похожего на эту заметку, странно выглядящую на страницах того уже сорок пятый год выходящего советского литературного журнала, в котором начинали свой путь многие советские писатели, в том числе и автор этих строк.

Борис ПОЛЕВОЙ

В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ

● ПРОЗА

- Юрий РЫТХЭУ. На далеком северном мысу. Рассказ 3
 А. ШАРОВ. Два рассказа: Распятый. В мороз 13
 Анатолий АЛЕКСИН. Очень страшная история. Детективная повесть, которую сочинил Алиг Деткин 21

● ПОЭЗИЯ

- Кайсын КУЛИЕВ. Надежда. «Я слово почитаю искони...». «Поэт, колья хлеба у соседей мало...». «Когда приходит ночь, кричит сова...». «Я много жил, но что я понял...». Дерево и топор. «Пока есть жизнь, и смерть на свете будет!...». «Усталый, он хлебнул вина глоток...». «Я брат траве и камню брат...». (Перевел с балкарского Н. Гребнев.) 19
 Владимир ЦЫБИН. Молчанье. «Стоит все эти дни такая синь и тишь...». Душа избы. Письма 61
 С. МОЛДАВСКОГО: Анатолий КОДРУ. Колодец. Зной. (Перевела Н. Матвеева.)
 Аурелия БУСУЙОК. Прощанье со словом. Деревья. (Перевел Ю. Левитанский.)
 Виктор ТЕЛЕУКЭ. Лунный час. Песня гарня. (Перевела Е. Аксельрод.)
 Григоре ВИЕРУ. Старые рубашки. (Перевела Е. Аксельрод.)
 Таким дождем... Трансплантация. (Перевел Л. Беринский.) 62
 Тамара ЖИРМУНСКАЯ. «Тургеневские, милый мой, места...». «Две ленинградки, компаньонки, что ли...». «Пока росла, все были молодыми...». Финский домик 65
 Константин ВАНШЕНКИН. Перед прыжком. Одуванчики. Атака. Сосны. «Когда туман, клубясь...». «Не смерти страшусь...». «Подвластное внезапным выпышкам...». 66

● ПУБЛИЦИСТИКА

- Валерий АГРАНОВСКИЙ. Мой друг Новиков 76
 Анастас МИКОЯН. Банинское подполье при английской оккупации (1919 год). Из воспоминаний. (Продолжение.) 85
 Ф. АБРАМОВИЧЮС. Ты увидишь зарю... (Из прошлого.) 103

● ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

- Л. АНТОПОЛЬСКИЙ. Корни человека 67

● НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- Эм. КАЗАКЕВИЧ. Письма к детям 71

● СРЕДИ КНИГ

- Маленькие рецензии и аннотации 96

● НАУКА И ТЕХНИКА

- Сергей АВЕРИНЦЕВ. Похвальное слово филологии. (Предисловие Эвальда Ильенкова.) 98

● СПОРТ

- Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. До и после сенсаций 107

● «ПЫЛЕСОС»

- Михаил КАТЮШЕНКО. Еще один гол Пеле Галка ГАЛКИНА. Каков вопрос — таков ответ 110
 С. ЛИВШИН. Самолет на соседнюю улицу 111

На 1-й — 4-й страницах обложки рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и А. МАКСИМОВА.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Тел. 255-17-83.

Рукописи не возвращаются.

А 00529.

Подп. к печ. 30/XII 1968 г.

Формат бумаги 84×108¹/₁₆.

Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л.

Тираж 2 000 000 экз.

Изд. № 18.

Заказ № 2776.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
 Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)



Юрий Рытхэу

НА ДАЛЕ- КОМ СЕВЕРНОМ МЫСУ



Рисунки Н. Воробьева.

РАССКАЗ

Селение Ватырка расположено на высоком берегу Берингова моря. В этом месте мыс выдается далеко в море и маленькие приземистые яранги видны издали. Проезжающие из Анадыря на Камчатку или обратно всегда сворачивали к ярангам, а летом редкий корабль миновал обжитой мыс.

Отец Василий, когда объезжал обширные пространства своей епархии, естественно, не мог проехать мимо Ватырки.

Он прибыл с огромным караваном из пяти собак нарт. На улице тихой Ватырки стало шумно, словно на птичьем базаре. Лаяли собаки, переругивались каюры, женщины пронзительными голосами зазывали детей в яранги, опасаясь, как бы их не покусали чужие псы. Отец Василий, о котором были много наслышаны ватырцы, в огромной, свободно ниспадающей до пят оленьей кухлянке, прошелся по селению и выбрал самую большую ярангу.

В этой яранге жил морской охотник Анканро, отец одиннадцати детей. Затмив на мгновение дневной свет, отец Василий протиснулся в дверь и густым, сочным голосом, похожим на застывающий моржовый жир, провозгласил:

— Доброго здоровья, дети мои!

— Етти, поп,— ответили все, кто в это время находился в чоттагине.

— Кто тут хозяин? — спросил святой отец.

Анканро, немного понимавший русский язык, выступил вперед и сказал:

— Это буду я.

— Однако службу будем служить в твоей хижине,— объявил ему отец Василий и тут же приказал каюрам внести в чоттагин все необходимое для священного действия. Возле полога, в глубине чоттагина, соорудили алтарь и зажгли свечи. Запах воска и ладана причудливо смешивался с запахом прогорклого тюленьего жира, и бормотание священника иногда прерывалось повизгиванием встревоженной суки, лежащей со своими новорожденными щенятами.

В конце службы, которую любопытствующие жители Ватырки прослушали внимательно, пытаясь вникнуть в таинственный смысл произносимых отцом Василием слов, было объявлено, что поп будет крестить всех желающих. Перешедший в христианскую веру получит связку крепкого табаку, белую рубашу, металлический крестик на шнурке и икону Николая Угодника.

Желающих сначала не находилось. Наконец, подзадориваемый товарищами, к попу пошел Выквувье, озорной и легкомысленный парень. Обрадовавшись, отец Василий долго разговаривал с ним на непонятном наречии русского языка. В голосе святого отца слышались доброта, любовь, увещание, а порой даже нотки угрозы. Глаза Выквувье благоговейно были обращены на связку табака. Напоследок отец Василий заставил парня пригнуться над лоджью, наполовину наполненной талой снежной водой, и слегка помочил ему голову.

— Крестится раб божий Михаил Выквувье! — провозгласил отец Василий и затаял божественную песню, которую тут же подхватили каюры, испол-

няющие при попе роль не только собачьих погонщиков, но и церковного хора.

Улыбающийся и довольный раб божий Михаил Выквувье вышел из задымленного свечами и ладаном чоттагина на вольный воздух, и тут же его окружили односельчане, наперебой спрашивая, не страшно ли при этом обряде, не чувствовал ли он какой-нибудь боли и беспокойства.

— Ну, а ощущаешь, что веру переменил? — прямо спросил охотник Чайвынто.

Выквувье наморщил лоб, замолчал, словно прислушиваясь к своему внутреннему состоянию, и весело заявил:

— А ничего! Какой был, такой и остался!

— Покажи-ка бога! — попросил старик Гэвынто, человек, вечно сомневающийся и относящийся недоверчиво к любому слову и действию белого человека.

Выквувье протянул икону Николая Угодника. Таковыми иконами отец Василий одаривал всех крещеных чукчей по побережью Тихого и Ледовитого океанов. Вокруг лица святого было изображено сияние. Удлиненное, раскосое лицо кого-то напомнило Гэвынто. Он наморщил лоб и вдруг заявил:

— Какой это бог! Это эскимос с острова Святого Лаврентия.

Обступившие икону загалдели, и кто-то даже с твердостью сказал, что на иконе нарисован не кто иной, как Нанухтак, китобой-островитянин.

После Выквувье креститься пожелали еще несколько человек — уж очень заманчивым было ни за что получить целую связку табаку, рубашку и металлический крестик, из которого легко было смастерить рыболовный крючок.

К концу дня все жители Ватырки стали христианами и обладателями табака, рубашек, крестиков и икон Николая Угодника.

Правда, Выквувье чуть было все не испортил, решив креститься вторично. Отец Василий уже успел окропить его водой, но, когда надевал на шею крестик, приостановился и заорал:

— Окаянный! Да ты уже раз крестился!

Не удалось Выквувье стать дважды христианином, и по этому поводу он разразился страшной бранью по адресу отца Василия и русского бога, которого он тут же отдал ребятишкам.

Однако остальные крещеные жители селения Ватырка оставили литографированного Николая Угодника и даже поставили его в ряд с другими богами. Вместе с деревянными идолами Николай Угодник удостоивался жертвоприношений, под ним клали лоскутки моржовой и тюленьей кожи, мазали его губы жиром и кровью. От такой еды через некоторое время у русского бога прорвалась непрочная бумага. Вскоре от Угодника остались лишь раскосые глаза островного китобоя Нанухтака.

Если бы отец Василий приехал на следующий год в селение Ватырка, он даже при очень тщательном обследовании не смог бы обнаружить никаких следов христианской веры: рубахи оказались такими же непрочными, как бумага на литографированной иконе, а табак был выкурен.

Но вместо отца Василия явился анадырский чуванец Куркутский, который заявил, что прибыл по поручению новой власти, которая называется Советская. И опять все собрались в чоттагине большой яранги Анканро.

— Вся власть отныне принадлежит трудовому народу! — горячо говорил посланец Советской власти. — Не будет больше места тем, кто живет за счет работающих. Вождь пролетариата Ленин ведет мир к новой жизни. Советская власть объявляет все на-

роды России — большие и малые — равноправными. Все вместе мы будем строить новую, счастливую жизнь. Вы тут живете на отшибе и ничего не знаете о том, что происходит в мире. Ленин свалил Солнечного Владыку — царя и вместе с большевиками взял власть в свои руки. Прослышав о том, что на далекой Чукотке бедствует народ, он послал сюда большевиков — Мандрикова, Берзина. В Анадыре мы тоже взяли в свои руки власть и организовали ревком. Но купцы и белогвардейцы обманом захватили первый ревком и расстреляли его. Я уцелел потому, что был далеко — создавал Советы на Севере. Но недолго держалась власть колчаковцев и белогвардейцев. Снова пришли большевики, и в Анадырь вернулась Советская власть. Вся власть бедным! — воскликнул Куркутский и продолжал: — Пройдет немного времени, и на далекой Чукотской земле будут построены настоящие города. Ваши дети станут грамотными и культурными. Вы сами будете управлять своей жизнью, за прилавками новых факторий будут стоять ваши сородичи. Цены на пушнину будут справедливые. Скоро в Анадыре собирается съезд представителей всех жителей Чукотки. Председатель ревкома товарищ Чекмарев расскажет о ленинских идеях. Приедут эскимосы Уныина, морские зверобои Уэлена и тундровые пастухи. Вы должны послать человека, которому доверяете и который пользуется среди вас почетом и уважением.

Долго выбирали представителя люди Ватырки. Сначала назвали имя старика Гэвынто, но первый христианин Выквувье выразил опасение, что во время такого дальнего пути старик рассыплется по косточкам.

— Гэвынто посылать не надо, — сказал Выквувье. — Здоровье у него неважное и память плохая. Не доведет от слова Ленина, растеряет, выдует их у него тундровым ветром.

Гэвынто страшно рассердился на Выквувье и напомнил об обычае уважать, чтить и беречь стариков.

— Поэтому я и говорю: тебя посылать не надо, — стоял на своем Выквувье. — Беречь тебя надо.

После долгих споров выбор остановили на Анканро. Во-первых, собирались в его яранге, во-вторых, он хороший охотник, человек сильный, здоровый. А что он бедняк — это видно сразу. Даже если бы он и очень захотел разбогатеть, с этим у него ничего бы не вышло — уж очень большая семья, а жена рождает чуть ли не каждый год.

И Анканро отправился в далекий путь, в бывший уездный город Анадырь.

Перед отъездом односельчане дали ему наказы: попросить у новой власти устроить факторию, чтобы не мотаться за каждым пустяком в соседнее селение, в лавку американского торговца, и, главное, попросить у Советской власти защиты от разбойничьих нападений шхун японских пиратов.

С уходом ледового припая и началом моржовой охоты у жителей Ватырки начиналось тревожное время. В первый раз это было похоже на неожиданное стихийное бедствие, ураган или сильный прибой, когда в море смывает ближайшие к волне яранги.

Шхуна появилась на рейде Ватырки на рассвете, и люди, увидев ее, обрадовались: будет торговля! Во всех ярангах готовили пушнину, добытую в короткие зимние дни, когда в сумерках лишь острый глаз может отличить белизну песцового меха от снега. Те, кто в свободное время резал по моржовой кости, поставили на видное место свои изделия, а женщины — расшитые бисером и белым оленьим

волосом тапочки из нерповой кожи. Приготовившись к долгому торговому дню, мужчины Ватырки собрались на берегу встретить гостей.

Они уже плыли на двух больших вельботах. Торговцев было так много, что суда сидели глубоко в воде и медленно продвигались к прибойной черте.

— Глядите, у некоторых есть ружья! — обрадованно воскликнул Выквувье, который давно мечтал купить хорошее ружье.

В полной тишине вельботы одновременно коснулись носами прибрежной гальки, и на берег толпой выпрыгнули низкорослые большезубые люди. Они подчинялись командам пожилого человека в больших роговых очках. По его приказу они окружили мужчин Ватырки. Очкастый что-то прокричал, но люди Ватырки ничего не поняли, даже старый Гэвинто, который немного знал американский разговор. Часть моряков двинулась к ярангам.

— Что они собираются делать? — встревоженно спросил Гэвинто у Анкарно.

— Похоже, что собираются грабить наши яранги, — ответил Анкарно и хотел прорвать кольцо окруживших. Но те стояли плотной стеной, направив дула винчестеров на жителей Ватырки, словно это были не люди, а стадо моржей. У некоторых моряков в руках были маленькие, совсем крохотные ружья. Когда Анкарно увидел их впервые, он решил, что это не успешные вырасти дети больших ружей.

Заметив, что Анкарно пытается вырваться из окружения, главарь отдал какую-то команду. Грянул выстрел, и над головой чукчи просвистела пуля.

— Назад! — закричал старик Гэвинто. — Они перестреляют нас, как куропаток!

— А что они делают с нашими женщинами и детьми! — крикнул Выквувье. — Может быть, их уже нет в живых?

— Прислушайтесь!

Бессильные что-либо сделать, мужчины стыдились смотреть в глаза друг другу. Выквувье сделал попытку прорваться, но тут грянул выстрел, и парень упал с простреленной ногой.

— Что вы делаете, разбойники! — закричал Анкарно.

Гэвинто схватил его за рукав и зашептал, словно японцы могли понимать чукотский язык:

— Спокойно! Если хочешь остаться в живых, стой и не шевелись!

Старик наклонился над упавшим парнем, ощупал ногу, осмотрел рану и сказал:

— Ничего страшного. Задето только мясо.

Оторвав рукав камлейки, он туго перевязал раненую ногу Выквувье.

— Видишь, что наделало твое безрассудство...

На галечном холме появилась растрепанная Ванэнау, жена Анкарно, и закричала:

— Это воры и разбойники! Они хватают все! Что вы стоите, как будто замерзли?

Несколько японцев вскинули винчестеры и стали целиться в женщину.

— Уйди! — страшным голосом закричал Анкарно. — Они тебя подстрелят! Иди домой, к детям!

Ванэнау взглядела в толпу и увидела нацеленные на нее дула винчестеров. Шатаясь от страха и бесильного гнева, она ползла к своей яранге, где на разные голоса орала десять ребятишек — сыновей и дочерей Анкарно.

Со стороны яранг показались моряки, нагруженные пушиной, оленьими, пыжиками, моржовыми клыками. Некоторые тащили уже сшитую меховую одежду. Люди Ватырки молчаливыми взглядами провожали их. Лежащий на земле Выквувье увидел, как

один из пиратов волочил по земле его нерповые меховые брюки. Эти брюки недавно сшила его молодая жена, и это был ее первый подарок мужу.

— Сволочь! — прошептал Выквувье. — Даже мои штаны не пощадил!

Японцы направились к своим вельботам. И те, кто держал под прицелом людей Ватырки, не опуская ружей, пятась задом, тоже стали отходить к вельботам. Даже отплыв на значительное расстояние, они продолжали держать на прицеле ватырских мужчин.

Лишь возле самой шхуны, почувствовав себя в безопасности, японцы опустили ружья, и ватырские мужчины бегом бросились к своим ярангам.

Зрелище, которое предстало перед их глазами, больно ударило по сердцу: все было разграблено, а некоторые яранги были даже наполовину разрушены. Плачущие женщины вышли навстречу своим мужьям, орала дети, выли и стонали собаки.

Японцы забрали из яранг все, что представляло малейшую ценность. В иных пологах не досчитались даже оленьих постелей. Хорошо, хоть не унесли старые винчестеры охотников, гарпуны и копья.

С тех пор ватырские жители, едва завидя на горизонте корабль, забирали женщин и детей, оружие и ценные вещи и уходили за лагуну, в тундру. Там они и пережидали, пока грабители шарили по опустевшим ярангам, перетряхивали кожаные мешки, где хранились погребальные одежды. Казалось, не на что польститься в опустелом стойбище, но грабители всегда находили что-то им нужное.

— Алчность их не знает границ! — возмущался старик Гэвинто, обходя яранги после нашествия непрошенных морских гостей.

Правда, не все корабли занимались грабежом, но теперь ватырцы видели в каждом паруснике морского разбойника и сразу же покидали яранги, предпочитая не выяснять, намереваются ли грабить моряки или зашли просто так, потрговать. Разбойничьи корабли появлялись и в других селениях, но почему-то чаще всего они наведывались в Ватырку. Может быть, оттого, что селение стояло на высоком мысу и яранги были заметны издали.

Уезжая на съезд представителей инородцев Анадырского уезда, Анкарно обещал своим односельчанам просить у ревкома защиты от пиратских набегов.

Провожали его в Анадырь всем селением. Оглядываясь, Анкарно долго видел свое многочисленное семейство во главе с Ванэнау, которая держала на руках очередного младенца.

2

Анкарно ехал знакомой дорогой, вдоль морского берега. По правую руку громоздились торосы, а с левой стороны шли то скалистые берега, то длинные, спрятавшиеся под толстым слоем снега галечные косы.

Тишина сопровождала одинокого путника. Она шла следом за нартой, и по вечерам, когда Анкарно останавливался на ночлег, она накрывала его вместо одеяла, а на небе, как сторожевые огни, горели яркие зимние звезды.

Он объехал с морской стороны гору святого Дионисия, и Анадырь открылся ему устремленными в небо дымами. В студеном воздухе слыли голоса, и даже звонкий собачий лай доносился до Анкарно глухим старческим кашлем.

5

На берегу лимана белой жестью сверкали приземистые длинные здания торговой компании Гудзон бай. Инеем покрылись опустевшие вешала для рыбы, принадлежащие японскому рыбпромышленнику Сооне.

Домишки Анадыря утонули в снегу. Иногда посреди улицы прямо из снежного сугроба вдруг возникла дымящая труба.

Дом, в котором раньше помещалось уездное правление, стоял на таком месте, где движение снега отклонялось, поэтому здание никогда не заносило.

Анканро привязал собак на берегу, покормил их захваченным моржовым мясом и отправился в ревком. Куркутский говорил, чтобы Анканро шел прямо в бывшее уездное правление. Над домом на длинном шесте висел лоскут красной материи и слабо шевелился на легком ветру.

В дом вела дверь, обитая разлохматившейся оленьей шкурой. Анканро толкнул ее и очутился в большой комнате. Здесь царил полумрак, и дым от множества курящих волнами плавал под потолком.

— Откуда, товарищ? — спросил молодой человек в толстом суконном бушлате, под которым виднелась полосатая рубаха.

— Ватырский я, — ответил Анканро. — Ваш посланец просил меня приехать.

— Очень хорошо! — обрадованно произнес молодой человек. — А меня зовут Чекмарев, я председатель нового Чукотского ревкома.

Анканро присел рядом с остальными делегатами у стены и вынул свою трубочку, сделанную из твердой березы и обрезка медной трубы. Глаза понемногу привыкли к полутьме, и Анканро разглядел на задней стене, прямо над председателем ревкома, портрет человека. Да, это был не бог, подаренный отцом Василием, а человек. Он был лысоват, и большой крутой лоб убежал назад, делая голову устремленной вперед. Под густыми бровями сидели глубокие, удивительно острые глаза. Острота взгляда была в глубине. Усы и маленькая бородка обрамляли твердые губы. Словом, это был просто человек.

— Кто это? — шепотом спросил Анканро у соседа.

— Нарисованный? — переспросил сосед. — Вождь.

— Чей?

— Большевиков.

— Ленин, что ли?

— Он.

Анканро недоверчиво поглядел на своего соседа и обратился к другому:

— Это Ленин?

— Председатель говорит, что Ленин, — подтвердил тот.

Анканро еще раз внимательно взгляделся в портрет. Действительно, это был портрет человека. В его взгляде сквозила лукавая улыбка, словно это был шутник и балагур Выквувье, который вот-вот разразится смехом и расскажет смешную историю.

Но ведь когда посланец ревкома рассказывал о вожде, он утверждал, что Ленин — необыкновенный человек, свершивший революцию, изгнавший со своего высокого золотого сиденья Солнечного Владыку, отнявший богатства у помещиков и капиталистов и передавший их бедным людям! Попробуй, отними что-нибудь у богатого! Зубами вцепится, не отдаст. А в России, наверное, жил не один богач. Что-то не верится, чтобы человек с такими глазами мог совершить великие подвиги. Наверное, и телом он не так мощен. «Нет, это не Ленин!» — решил про себя Анканро и отвел глаза от портрета.

Чекмарев что-то дописал за своим столом и обратился к делегатам:

— Товарищи инородцы и туземцы! Советская

власть прочно утвердилась на Чукотке. Отныне вся полнота власти переходит к трудовому народу.

И бывший тихоокеанский моряк Чекмарев рассказал делегатам о том, как был создан первый ревком Чукотки и как подло были схвачены и расстреляны белогвардейскими мятежниками первые большевики Крайнего Севера.

— Но враги просчитались! Революцию не остановить! Да здравствует Советская власть, да здравствует вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин!

При этом моряк обернулся к портрету.

«Да, пожалуй, верно, что на портрете изображен Ленин», — подумал Анканро.

После речи председателя ревкома делегаты стали задавать вопросы. Спрашивали, как поступить с товарами, конфискованными у торговцев, можно ли ставить сети на участках, принадлежащих рыбпромышленнику Сооне. На все вопросы Чекмарев отвечал обстоятельно и терпеливо. Переводил его анадырский житель Куркутский, один из уцелевших членов первого ревкома, потомок древних казаков, причисленных на берега далекой реки еще во времена Семена Дежнева.

Когда подошла очередь Анканро, он передал председателю указы своих земляков. В ответ на просьбу открыть факторию Чекмарев ответил, что этот вопрос скоро будет улажен. А что касается защиты от японских разбойничьих шхун, то здесь он тоже обещает что-нибудь сделать, но пока советует самим организовать оборону побережья.

— Царское правительство не обращало внимания на далекие окраины России, — говорил Чекмарев. — Оно предоставляло всякому право грабить и убивать инородцев. Теперь этому настал конец. Мы сами берем охрану границ Советской республики. Вы все, — Чекмарев обвел пристальным взглядом собравшихся, — хорошие охотники. В каждой яранге по два-три ружья. Надо встречать огнем грабителей!

— А если кто-то будет убит? — осторожно спросил Анканро.

— Поделом ему! Пусть не лезет!

— В человека нельзя стрелять. Он не зверь, — Анканро повторил слова старика Гэвинто.

— Бывает, что люди поступают хуже зверей, — ответил Чекмарев. — Товарищи! Наша республика еще очень молода. У нас многого не хватает, но люди, взявшие власть в свои руки, не должны падать духом. У нас есть трудовые руки и большая страна! И мы сделаем эту страну прекрасной и сильной! Крейсера будут плавать вдоль наших берегов и охранять границы Советского государства!

Последние фразы Чекмарев произнес очень громко. Он почти кричал, словно говорил не в маленькой комнате, где сидели десятка полтора человек, а на огромной площади перед тысячной толпой.

Наконец все вопросы были заданы, ответы получены, и люди стали расходиться, чтобы отправиться в разные края большой земли Чукотка.

Один за другим выходили охотники Уэлена, китобой Лорина и Уныина, рыбаки с Колючинской губы... Некоторым из них добираться до дома больше месяца.

Когда все вышли и из делегатов остался один Анканро, он сказал:

— У меня есть еще один вопрос.

— Что же ты молчал раньше?

— Может быть, другие все понимают, а я нет, — виновато произнес Анканро.

— Ну, что за вопрос? — спросил председатель ревкома.

Анканро помялся, потоптался на деревянном скрипучем полу и, подняв глаза на портрет, спросил:

— Как он мог сделать революцию?

— То есть как — как? — опешил Чекмарев. — Странный вопрос.

— По виду он простой человек, — пояснил Анканро, — откуда у него такая сила?

— Ах, вот ты о чем! — улыбнулся председатель ревкома. — Иди сюда, садись вот на этот стул.

— Можно, я сяду на пол? — попросил Анканро. — Не привык сидеть на подставке.

— Ну, устраивайся, как тебе удобнее, — разрешил председатель ревкома.

Анканро придвинулся к столу и скрестил ноги.

— В чем, значит, ты спрашиваешь, сила Ленина? — произнес председатель ревкома и задумался. — Вот слушай. Лично я Ленина не видел, но встречался с людьми, которые не только видели его, но и разговаривали с ним. Так вот, говорят они, что Ленин — это прежде всего ум. И сила Ленина в его уме, в том, что он видит дальше и лучше, чем иной другой человек.

Куркутский медленно и старательно переводил.

— Это мне понятно, — сказал Анканро. — Я хотел спросить тебя о другой силе — почему его боятся богатые люди, эти, как их...

— Эксплуататоры? — подсказал Куркутский.

— Они! — вспомнил Анканро.

— Почему? — Председатель ревкома на секунду задумался и, словно что-то вспомнив, быстро сказал: — Потому что за Лениным массы. Понимаешь — целые народы и прежде всего рабочий класс. Почему Ленин победил в Октябре семнадцатого года? Рабочие и крестьяне были за него. Самые многочисленные люди на земле, и особенно в России. Вот на них Ленин и опирался. Главная сила в революции, товарищ Анканро, — такие люди, как мы с тобой.

— Это правда? — недоверчиво спросил Анканро.

— Точно! — подтвердил Чекмарев. — И, кстати, Ленин это говорил.

— Но откуда он знает обо мне? — усомнился Анканро.

— Может быть, по имени и не подразумевает именно тебя, но знает, что живут на далекой окраине России чукчи... Семья есть?

— Жена и одиннадцать человек детей, — ответил Анканро.

— Тем более, — Чекмарев встал со стула, словно собирался сказать речь. — Так вот, Ленин и думал: там живет чукча, не знаю пока, как его по имени зовут, но живет тяжело и в темноте...

— Сейчас у нас много жиру... Пламя в жирниках горит ярко...

— Я имею в виду темноту неграмотности, — уточнил Чекмарев и продолжал: — И размышляет Ленин, что нужно сделать. Прежде всего послать большевиков, чтобы они разъяснили людям Севера, что такое Советская власть. А Советская власть, товарищ Анканро, опять же мы с тобой и товарищ Куркутский тоже. И чтобы большевики с помощью таких людей, как я, товарищ Анканро и Куркутский, положили конец грабежу со стороны иноземных капиталистов, торговцев, а также местных богатеев. Установили справедливые цены на пушнину, рыбу и оленье мясо. Одним словом, взяли управление государством в свои руки. А дальше нужно строить новую жизнь, соответственную мечте человечества, — социализм.

Куркутский старательно переводил. Время от времени он обтирал рукавом матерчатой камлейки вспотевший лоб.

Анканро внимательно выслушал председателя ревкома Чукотки и попросил:

— А нельзя ли мне получить вот такой портрет?

Он показал на изображение Владимира Ильича Ленина, под которым сидел Чекмарев.

— У нас есть еще такой портрет? — спросил Чекмарев у Куркутского.

— Лишнего нет, — неуверенно ответил переводчик.

— Я не спрашиваю про лишний, а о том, есть ли у нас еще портрет Владимира Ильича?

Куркутский с укORIZНОЙ поглядел на Анканро и ответил:

— Однако есть... Но я хотел в мое родное село отослать, в Марково.

— Ничего. Для Маркова мы попросим другой портрет в Камчатском губернском ревкоме. А тот отдай товарищу Анканро. Пусть увидят товарищи морские охотники облик Владимира Ильича.

Куркутский куда-то отлучился и принес довольно большой портрет, завернутый в пыжик. Когда он развернул пушистую обертку, Анканро не мог сдерживать возгласа восхищения. Портрет был большой, в застекленной раме. Он был гораздо лучше того, который висел на стенке ревкома.

Анканро вцепился в портрет, боясь, что Куркутский и Чекмарев передумают.

— Отдай пыжик, — сердито попросил Куркутский.

Анканро поспешно отдал пыжик и торопливо вышел из здания ревкома, держа портрет обеими руками. Он поспешил к своей нарте, оставленной на берегу лимана, закутал портрет в оленьи шкуры и крепко привязал к нарте.

Перед отъездом он зашел в факторию, ранее принадлежавшую русскому купцу Караеву, понес несколько песцовых шкурок, чтобы купить на них гостинцы для своих многочисленных детей.

В тесном торговом зале толпились приезжие. За прилавком стоял незнакомый русский парень, которому помогал знакомый Анканро чуванец Парфентьев, хорошо знающий чукотский язык.

— Говорят тебе, что ты больше не должен! — убеждал Парфентьев низкорослого оленевода с горностаевой шкуркой на спине кухлянки.

— Как же так? — недоумевал оленевод. — Я должен! Я записан в книгу! Не может быть, чтобы мой долг исчез.

— Не исчез бы, — пояснял Парфентьев. — Его уничтожил ревком своим постановлением.

— Это невозможно! — заявил оленевод. — Я честный человек. Я обещал вернуть долг и хочу отдать его торговцу. Пусть он выйдет сюда.

— Не выйдет, — устало ответил Парфентьев. — Он отсюда далеко. Уехал в Америку.

— А когда вернется?

— Не вернется он больше сюда. Уехал навсегда. А ты ему не должен, не волнуйся. Наоборот, он тебе должен. Вся жизнь он обманывал чукчей и эскимосов и не давал за пушнину справедливой цены.

— Обманывал, говоришь? — Оленевод растерянно оглянулся. — Не может быть! Он так хорошо улыбался, радовался, когда я приезжал, и всегда предлагал: бери больше, бери в долг, сколько можешь увезти. Такой добрый человек...

— Этот добрый человек оказался самым настоящим волком! — с нетерпением сказал Парфентьев. — Ну, скажи, наконец, что тебе нужно?

— Ничего мне не нужно, — растерянным голосом ответил оленевод, — долг бы отдать...

— Опять заладил, — Парфентьев хотя и по-русски выругался, но его отлично поняли, в том числе и оленевод.

— Ты не сердись, — сказал он, — я не тебе должен.

— Следующий! — закричал Парфентьев и оттеснил от прилавка совестливого оленевода вместе с его пушницей.

Когда Анканро уходил из лавки, оленевод все еще пытался что-то выяснить у Парфентьева.

На ночь Анканро пристроился возле своих собак. Он уложил их вокруг себя, и в этом теплом меховом кольце он отлично выспался. На рассвете, когда над островом Алюмка разгорелась утренняя заря, он тронул собак, взяв курс на юг, в Ватырку, на берег Берингова моря.

3

Собаки чуяли, что держат путь обратно, в свое родное селение. Они бежали резво и ровно, сберегая силы для долгой дороги. Анканро сначала приторочил портрет впереди себя, но потом подумал, что можно ненароком задеть стекло тяжелым остолом и разбить. Остановив упряжку, он перевязал портрет позади себя. Хотя путь по морю был гораздо короче, Анканро направил упряжку по

в свою очередь, к людям. Может быть, именно оттого у Анканро была уверенность в том, что Чекмарев говорил дельно.

В самом деле, почему самим не устроить так, чтобы японские пираты больше не смели соваться в селение и прекратили свои грабительские набеги! Один раз не подпустить их близко к берегу, отогнать огнем — и слух об этом облетит все пиратские суда... Надо поговорить об этом со своими земляками. Похоже, действительно, начинается новая жизнь. Надо рассказать про того бедного оленевода, который так и остался должен сбежавшему американскому торговцу. А то, что цены стали другие, это хорошо видно по нарте самого Анканро, нагруженной сахаром, мукой, табаком, отрезами материи, патронами... И все это за четыре далеко не первосортные песцовые шкурки.

Все вспомнил Анканро, каждое слово председателя ревкома. Он попытался представить себе на минуту, как его многочисленные дети идут учиться грамоте, но это было так неправдоподобно, что даже представить невозможно.

Вспомнил он свою нелегкую жизнь на берегу Берингова моря. Нелегко досталось ему прочное место



берегу, опасаясь, что в торсах нарты перевернется и драгоценный груз будет разбит.

Анканро поудобнее пристроился на нарте и стал обдумывать сказанное председателем ревкома Чекмаревым. Слова его были разумные и понятные, совсем непохожие на те, которые Анканро раньше приходилось слышать от приезжих русских. Если приезжал торговец, то его интересовали песцовые шкурки, пыжик и моржовые клыки. Даже отец Василий, посредник русского бога, и тот не гнушался мирским делом — торговлей с чукчами. Никто никогда не говорил о будущем, словно чукчи жили лишь в то мгновение, когда приезжали торговцы и поп.

А Чекмарев говорил уверенно и, главное, убедительно. Может быть, потому, что он не ссыался на богов, а говорил от имени человека — Ленина? А Ленин, как говорил председатель ревкома, обращался,

на земле. Анканро рос сиротой. Родители его умерли в одно время, когда по этим берегам путешествовали болезни. Старики говорят, что болезни ездят на нарте, запряженной вшами, поэтому, пока они медленно проедут одно селение, они успевают унести с собой много человеческих жизней. Маленькому Анканро повезло: он остался в живых и рос по чужим ярангам, пока не пришло время жениться. Он взял свою жену в соседнем селении и привел в родную Ватырку, в землянку, вырытую в дернистом холме. У молодого Анканро не было ни моржовых шкур, ни дерева, чтобы поставить настоящую ярангу, но он знал, что в древности их народ жил в точно таких землянках, и он решил временно вернуться в прошлое, чтобы оттуда устремиться в будущее. В этой землянке родились первые дети.

Анканро знал, что удача охотника — это его креп-

кие ноги, терпение и сила. Все это у него было, и поэтому не прошло и трех лет после его женитьбы, как на окраине селения выросла новая яранга, где копошились в одном дружном клубке щенята и де-тишки.

Ванэнау оказалась хорошей женщиной, работающей и любящей своего мужа и детей. Вот уже старшему сыну скоро понадобится собственная яранга, а она не потеряла молодости и женственности. И когда случается, что Анканро надолго уезжает из своего селения, через короткое время он начинает чувствовать тоску по жене, по ее голосу, по ее уютному, родному телу.

Вся жизнь была заполнена заботами о тепле, жилище и еде.

Каждый день Анканро хорошо знал, что он будет делать завтра, послезавтра, через месяц, полгода... Жизнь походила на огромный круг, который медленно вращался, и время от времени Анканро оказывался в сходных положениях и даже говорил те же самые слова, что произносил и раньше.

Все вокруг двигалось по этому кругу: зима после короткой весны сменялась летом, потом наступала осень, и снова зима с теми же морозами и ураган-ными пургами.

глубоких пронизательных глаз, какая-то усмешка, спрятавшаяся в зрачках.

Анканро осторожно протер стекло пыжиком, за-вернул портрет, привязал к нарте и крикнул на собак.

Еще издали на фоне ясного неба возникли яранги Ватырки. Они стояли на высоком мысу, уходящем далеко в море, и дымы над ними поднимались в ти-шине безветрия белыми столбами. Анканро без тру-да отыскал свою родную ярангу и свой родной дым.

Нарта шла по морскому припаю. Здесь он был ровен и чист. В свою очередь, жители Ватырки давно заметили путника и догадались, что едет Анканро, потому что в это время года никому нет дела до да-лекого заброшенного селения.

Почувявшие близкое жилище собаки налегли на постромки, и Анканро, беспокоясь за портрет, вы-нужден был притормаживать нарту. Мэйнывилю, сби-тая с толку странным поведением каюра, часто ог-лядывалась будто спрашивая Анканро, зачем тормо-зить, когда быстрая езда лучше медленной...

Зная, куда подъедет путник, встречающие собра-лись у яранги Анканро. Здесь же стояли и все его дети, способные самостоятельно передвигаться, и Ванэнау с грудным младенцем.



И вдруг — разговоры о новой жизни, о том, что бывое оказалось не той жизнью, которой достоин настоящий человек. И Ленин — человек. Не Солнеч-ный Владыка, не бог и даже не могущественный ша-ман. Просто человек. А может быть, в этом и си-ла его?

Анканро снова притормозил нарту. Мэйнывилю — передняя собака — оглянулась и осуждающе посмот-рела на хозяина: ее начали раздражать эти частые, по ее мнению, ничем не объяснимые остановки.

Анканро развернул портрет и пристально вглядел-ся в лицо Владимира Ильича. Он искал исключитель-ные черты, которые бы отличали Ленина от осталь-ных, обыкновенных людей, что-нибудь такое в его облике, что можно было бы объяснить только тем, что Ленин — необыкновенный человек.

Ничего особенного. И опять только взгляд этих

Анканро на полном ходу подъехал к своей яранге и притормозил.

— Етти, Анканро!

— Амын етти, Анканро!

Каждый из встречающих сказал свой «етти». Маль-чишки кинулись к своим любимым собакам и приня-лись их ласкать, разговаривать с ними. Ванэнау стоя-ла чуть в сторонке с другими женщинами Ватырки и изредка бросала на мужа взгляды, преисполненные гордости и нежности.

С помощью односельчан Анканро распряг собак и покормил их. Все это время мужчины разговарива-ли о пустяках — о дороге, состоянии льда в заливах и бухтах, о том, далеко ли до открытой воды, не встречались ли олени на пути.

А в чоттагине в большом котле уже клокотала еда и свистел чайник, боком прислоненный к горящим

дровам. Ванэнау положила ребенка в полог и принялась готовить мужу угощение. Она принесла самое большое деревянное блюдо — после такой поездки муж не станет есть в одиночестве: обязательно придут гости.

И действительно, закончив дела, Анканро ввалился в чоттагин в сопровождении доброй половины жителей Ватырки.

Хозяин прошел в глубину яранги, скинул с себя дорожную одежду и удобно расположился на изголовье полога, подстелив под себя лоскут оленьей шкуры. Остальные расселись кто где мог. Старикам достались китовые позвонки — самое удобное сиденье.

Никто не задавал вопросов о поездке: время для этого разговора еще не наступило. Ванэнау подала на длинном деревянном блюде вареное мясо. Каждый вытащил из-за пояса свой нож и выбрал кусок по вкусу. Разговор по-прежнему был далек от поездки Анканро. Теперь жители Ватырки отвечали Анканро. А он спрашивал о происшествиях за время своего отсутствия, о том, кто что добыл, какова ледовая обстановка южнее мыса. Отвечали ему обстоятельно, подробно. За обильным чаепитием Выквуье рассказал, как добыл белого медведя. Этот зверь не так часто бывает в южных районах Чукотки, и считается большой удачей для ватырца добыть его.

Когда опорожнили второй чайник, Анканро пустил по кругу пачку курительного табаку. Каждый набил свою трубку, а некурящие соорудили огромные рэ-лупы — табачные жвачки и засунули за щеки. Табачный дым вытеснил дым дровяного костра, и после недолгой паузы, во время которой каждый в одиночку наслаждался табачным ароматом, наконец заговорил Анканро:

— Доехал до Анадыря благополучно. За мысом Дальним мне попался олений помет, но он был уже холодный и затвердевший — стадо прошло давно. Иногда с берегового припая виднелась открытая вода. Снег был неплохой — в меру твердый, но полость катились легко и войдать приходилось не так часто...

Анканро глубоко задумался. Его примеру последовали слушатели, и облако дыма поднялось к отдушине и ушло через большую дыру на вольный простор.

— В Анадырь приехал вовремя. Собак, как водится, оставил на лимане, а сам отправился в дом, где раньше было уездное правление. Издали виден этот дом. На шесте красная материя — знак Советской власти.

— Красная материя! — слышалось первое замечание. — К чему бы это?

— Пришел я в дом, а там народу собралось, как будто кто-то умер или родился. Подставок для сидений не хватало, многие расположились прямо на полу. Говорил с нами председатель ревкома товарищ Чекмарев...

— Чей товарищ? — слышался вопрос.

— Большевики друг друга называют товарищами, — пояснил Анканро. — Переводил тот самый посланец, Куркутский.

— О чем же говорили?

— О будущей жизни, — ответил Анканро.

— Кто же может знать о будущем? — с сомнением покачал головой Гэвинто. — Разве эти большевики — прорицатели или предсказатели?

— Вроде нет, — продолжал Анканро. — Но самое любопытное — это то, что новая жизнь строится не для того, чтобы все жили бедно, а, наоборот, чтобы богатства, которые создает трудовой человек, принадлежали ему же, доставались тому, кто их делает.

— Это справедливо! — поддакнул Гэвинто.

— Так вот ради такого будущего и пришли на чукотскую землю большевики. А послал их сюда Ленин.

— Ленин? О котором говорил Куркутский?

— Он, — ответил Анканро. — Это просто человек. И я привез его портрет. Самый лучший портрет, который нашелся в Анадыре.

Он велел принести портрет. Осторожно развернув оленья шкуры, Анканро извлек портрет и поставил его так, чтобы он был виден всем.

В яранге воцарилась тишина.

— Значит, это Ленин, — проговорил Гэвинто.

— Так это просто человек! — с некоторым оттенком разочарования воскликнул Выквуье.

— Человек! Человек! Человек! — прокатилось по яранге.

— И сияния нет вокруг головы, как у тех, которые оставлял отец Василий, — заметил Выквуье.

— Потому что он не бог, а человек! — веско и торжественно произнес Анканро. — И этот портрет — портрет человека.

Анканро велел подбросить в костер дров, чтобы свету было больше. В отблеске пламени глаза Ильича светились, и лукавый огонек в глубине зрачков блеснул и сверкал.

— Веселый человек! — с удовлетворением заметил Выквуье.

— Такое лицо, словно встречал его где-то в тундре.

— Это вождь мирового пролетариата, — повторил Анканро слова Чекмарева, как свои собственные. — И мы, если хотим счастья своим детям, должны следовать его учению.

— А в чем его учение? — осторожно осведомился Гэвинто.

— В том, что все богатства принадлежат тем, кто их создает, — трудовому народу, что все народы равны и имеют одинаковое право даже на такую вещь, как грамота! — с воодушевлением произнес Анканро. — И еще говорит Ленин, что люди должны сами брать жизнь в свои руки и не ждать, пока помощь придет со стороны.

Последнее Анканро уже добавил от себя.

Далеко за полночь расходились люди Ватырки из яранги многодетного Анканро.

Догорел костер. Последний его отблеск еще долго отражался в стекле портрета, прислоненного к задней стене яранги. С величайшими предосторожностями Анканро снова завернул портрет в шкуры и убрал в укромное место.

На следующий день в ярангу Анканро опять пришли гости. Каждому хотелось еще раз взглянуть на Владимира Ильича. Анканро пришлось повесить портрет. Он его приспособил в верхней части полога прямо против входа в чоттагин. Первое, что видел человек, входя в ярангу Анканро, — это портрет Ленина.

Слух о том, что в яранге ватырского жителя находится портрет Ленина, разнесся по тундре и побережью. К Анканро потянулись гости из дальних и ближних стойбищ. Некоторые из них говорили, что у Анканро гостит сам Владимир Ильич.

Анканро разъяснял им, что Владимир Ильич в настоящее время очень занят и приехать на Чукотку не имеет возможности. Пока он прислал большевиков, своих помощников, которые привезли его учение и призыв сокращать богатей и торговцев.

Многодетный морской охотник из Ватырки и не подозревал, как глубоко его слова проникли в сознание соплеменников. В некоторых селениях чукчи

отобрали товары у торговцев и распределили между всеми.

А Анканро все больше входил в роль агитатора. Он часто вспоминал председателя чукотского ревкома Чекмарева и с гордостью отмечал, что и он, Анканро, сидит точно так же, как большевик, под портретом Ленина, и разъясняет приезжим его учение.

4

А линная ледяная сосулька оторвалась от моржовой кожи, покрывающей ярангу, и глубоко вонзилась в подтаявший мягкий снег. Ванэнау вынесла ведро со льдом и подвесила к стене яранги на солнечную сторону. В вечеру весь лед под солнечным теплом превратится в воду.

Подул западный ветер, и кромка льда, оставшаяся от зимы, оторвалась от берега, и морские волны встретились с берегом, лизнули нагретую гальку и откатились обратно в море, чтобы набраться новой силы.

Охотники Ватырки выходили в море на кожаных байдарках и возвращались к берегу, волоча за собой туши добытых моржей. В ярангах пылали костры, и густой дух вареного моржового мяса разносился далеко вокруг, возбуждая аппетит. Сытые собаки, свободные от упряжки до первого снега, лениво бродили по селению и уже не бросались на моржовую требуху, уступив ее ненасытным чайкам, белой тучей выющимися над возвращавшимися охотничьими байдарками.

Женщины уходили в тундру собирать зелень и коренья, а потом все это варили в огромных котлах и запрессовывали в деревянных бочках, делая запасы на долгую зиму.

Хорошее время — чукотское короткое лето, если бы не тревожное ожидание прихода корабля. На стыке воды и неба иной раз появлялись дымы далеких пароходов, белые паруса. И тогда в Ватырке замирала жизнь, женщины собирали вещи, чтобы быть готовыми уйти в тундру. Во многих семьях так привыкли к тревожному состоянию, что наготове держали кожаный мешок с необходимым запасом и одежды и пищи на случай вынужденного ухода в тундру.

Пока Ватырку миновали корабли — и пароходы и парусники.

Но тревога оставалась.

Возвратившись с охоты, Анканро вынимал из кожаного мешка портрет Ленина, протирал стекло и вешал на прежнее место. Мужчины, привыкшие собираться в обширном чоттагине Анканро, приходили к нему и за кружкой крепкого чая и трубкой обсуждали дела в селении, маршрут завтрашнего плавания в поисках морского зверя.

Иногда говорили о том, что лежало у каждого на сердце, тревожило, будило по ночам: о возможном приходе разбойничьей японской шхуны.

— Надо их встретить с оружием, — говорил Анканро. — Большевики, чтобы захватить власть из рук богатых, взяли винтовки.

— Может быть, так и было, — уклончиво замечал Гэвинто. — Но среди нас нет ни одного большевика. Ответный наш выстрел может стать последним выстрелом жителя Ватырки. Перебьют всех нас, как куропаток, а яранги сожгут.

— Но нельзя же каждый раз покорно отдавать наши яранги на разграбление! — горячился Анканро. — В прошлый раз они не постеснялись забрать даже детскую одежду.

Выкувье, который с годами обретал степенность и здравый смысл, сказал:

— Чтобы отогнать моряков от берега, надо иметь много патронов. А где мы возьмем столько? Пусть уж лучше берут детскую одежду и плешивые постели.

— Это унижительно — каждый раз покидать жилища и смотреть издали, как в наших ярангах орудуют разбойники, — мрачно проговорил Анканро.

— А что делать? — пожал плечами Гэвинто. — Надо быть терпеливым, чтобы выжить. А тебе, Анканро, вдвойне, если тебе дорога жизнь твоего многочисленного потомства.

— Мне стыдно смотреть в глаза детям, когда мы возвращаемся в разоренную ярангу, — вздохнул Анканро.

Шло время. Корабли обходили стороной Ватырку. Охотники стойбища начали успокаиваться, решив, что в этом году их минует беда.

Собрались на остров Аракамчечен, где на лежбище вылегли моржи. Лежбище принадлежало шаману Акру, который время от времени позволял жителям материковой Чукотки приплывать и бить зверя на галечной отмели, считавшейся личной собственностью Акра. На этот раз эта милость была предоставлена ватырским жителям.

Яранга Акра стояла на высоком холме. Шаман встретил байдары на берегу и пригласил в свою ярангу наиболее почтенных и уважаемых ватырцев. К нему пошли старик Гэвинто и Анканро.

— Четверть забитых моржей оставите мне, — сказал Акр, предлагая гостям свежее оленье мясо. Шаман держал на острове небольшое стадо.

За чаепитием шаман спросил Гэвинто:

— Какие новости на берегу? Это правда, что власть взяли бедные?

— Говорят такое, — уклончиво ответил Гэвинто.

— Я слышал, что Ленин приезжал на Чукотку и останавливался в вашем стойбище, — настаивал Акр.

— Такого не было, — ответил Гэвинто. — Не приезжал Ленин к нам.

— А кто такие большевики?

— Должно быть, белые люди, — ответил Гэвинто.

Тут Анканро не выдержал и вмешался в разговор:

— Большевиком, говорил Чекмарев, может стать любой человек, который разделяет учение Ленина. Независимо от того, белый ли, чукча или эскимос.

— А в чем учение?

Анканро сказал шаману то, что говорил всем, когда задавали этот вопрос.

Шаман Акр выслушал Анканро и с презрением заявил:

— Все это пустые разговоры. Жизнь изменять нельзя! Как жили раньше люди, так и будут жить, не нарушая порядка и течения жизни. И нечего загадывать в далекое будущее. Все равно того, что должно случиться, не миновать, а того, чего бы тебе хотелось, — это не в твоих силах.

— Но учение состоит именно в том, что человек может...

— Не кажется ли, Гэвинто, что твой земляк стал многоречив? — с подчеркнутой учтивостью спросил шаман.

Гэвинто кинул гневный взгляд на Анканро.

По дороге к своей байдаре Гэвинто сердито отчитал за несдержанность Анканро и с оттенком насмешки сказал:

— Вообразил себя большевиком!

Анканро стало обидно: как это разумные слова, сказанные председателем Чекмаревым, можно превращать в насмешку?

— А почему Акр владеет единолично этим островом? — раздраженно спросил он у Гэвинто.

— Потому что он великий шаман и только его молитвами держится моржовое стадо на островном лежбище.

— Это несправедливо, когда одному человеку принадлежит так много, — не отставал Анканро.

— Акр — справедливый человек. Он не единолично кормится моржовым стадом. Каждый год он позволяет тому или другому селению пользоваться его лежбищем. В этом году такая удача выпала нашему селению, — пояснил Гэвинто.

— А по-моему, он просто боится Ленина и Советской власти, — предположил Анканро. — Ведь если учение Ленина верно и справедливо, то у Акра надо отобрать его остров и заставить его трудиться вместе со всеми.

— Какие кощунственные вещи ты говоришь! — пророчал Гэвинто. — А кто удержит моржей?

Трудно было возразить на это, и Анканро умолк, хотя и чувствовал, как в душе у него копится раздражение и злость против шамана, который высмеял Анканро и объявил его пустословом.

Заполненные моржами байдары возвращались в Ватырку. И снова тревожились и волновались охотники за судьбу оставленных женщин, детей и немощных стариков. Но все было в порядке: на берегу собрались встречающие, и ребятишки носились наперегонки с собаками вдоль прибойной черты.

Казалось, опасность прихода разбойничьего судна миновала. Жители Ватырки успокоились, и многие даже распаковали загодя приготовленные для поспешного бегства мешки.

И все же корабль пришел. Он появился на рассвете, вынырнув из утреннего тумана.

Из яранги в ярангу побежала тревожная весть. У людей не было времени подготовиться к бегству, и женщины с детьми бежали в тундру, захватив с собой не то, что надо было бы взять в первую очередь.

Гэвинто бегал от яранги к яранге и покрикивал:

— Скорее, скорее! Они уже начинают спускать шлюпки!

Анканро едва успел разбудить и одеть все свое многочисленное семейство и отправить в тундру, на другой берег лагуны.

Вместе с Гэвинто Анканро обошел опустевшие яранги, чтобы проверить, все ли ушли, не остался ли кто-нибудь неразбуженным. Стойбище было пусто, и лишь ничего не понимающие собаки потерянно бродили между ярангами.

— Теперь и нам пора, — сказал Гэвинто и двинулся в тундру.

— А я останусь, — твердо сказал Анканро. — Пробую их остановить.

— Ты с ума сошел! — закричал Гэвинто. — Ты влечешь на всех нас гнев моряков!

— Я не могу уйти, — сказал Анканро. — Ты иди. Я должен встретить их. Обещаю не стрелять первым.

Две шлюпки, заполненные горлающими японскими пиратами, уже приближались к прибойной черте.

— Подумай о своих детях! — крикнул напоследок Гэвинто и трусцой двинулся следом за уходящими жителями Ватырки.

Анканро остался в своей яранге. Он еще раньше продумал план действий, и теперь никто не мешал ему. Первым делом он достал красную камлейку жены, разорвал ее и сделал огромный красный флаг, использовав для древка копье, которым недавно бил моржей на Аракамченском лежбище. Флаг он повесил у входа в ярангу, напротив портрета Ленина. Потом он зарядил полный магазин винчестера, положил оружие на колени и сел под портретом.

Яранга Анканро находилась на окраине селения, ближе к морю. Она была первой на пути высадившихся моряков, и грабители, естественно, прежде всего направились к ней. Кроме того, она выделялась величиной среди других хижин и обещала значительную поживу.

Анканро сидел под портретом.

Показалась чья-то тень, и вслед за тенью в проеме двери появилась человеческая фигура. Человек с большим плоским лицом и хищным оскалом больших желтых зубов осторожно заглянул в чоттагин и что-то пролаял стоящим позади него. В полумраке чоттагина он, должно быть, не заметил ни красного флага, ни сидящего под портретом Анканро.

Несколько человек, опасливо озираясь, вошли в чоттагин, и в это мгновение Анканро громко щелкнул затвором винчестера. Звук был ясный и громкий. Желтозубый остановился как вкопанный и уставился на Анканро. Из его рук выпало ружьецо и глухо стукнулось о земляной, подмерзший пол.

Но желтозубый видел не Анканро, а портрет над ним! Его узкие глаза расширились от изумления, раскрывался рот, обнажая ряд зубов и дрожащий язык.

— Ренин! — закричал японец. — Борсевика!

И стремглав бросился из яранги, выкрикивая какие-то слова. Следом рванулись и остальные.

Анканро, схватив красный флаг, выскочил за ними. Из остальных жилищ уже выбегали японцы, бросая на ходу награбленное. Они мчались на берег моря, где их ждали две большие шлюпки.

Размахивая красным флагом в одной руке и винчестером в другой, Анканро преследовал пиратов. Они бежали такой беспорядочной толпой, что ему ничего бы не стоило перестрелять их всех. Но Анканро не стал этого делать. Он остался на высоком берегу, дав возможность морякам сесть в шлюпки.

Когда моряки отплыли на некоторое расстояние, Анканро спустился к воде. Чуть отставив в сторону копье с красным лоскутом, он стал кричать в сторону уходящих шлюпок:

— Здесь Советская власть! Здесь Ленин и большевики! Если вы еще раз сунетесь — я открою огонь! Мы теперь не позволим больше грабить наши яранги!

Моряки изо всех сил гребли в сторону судна, на котором уже поднимали якоря. Они уже довольно далеко отплыли от берега и подходили к борту своего судна.

Торжествующий Анканро стоял на берегу и размахивал красным флагом, продолжая выкрикивать проклятия по адресу убегающих грабителей.

— Уходите и больше не возвращайтесь. Я большевик, и Ленин со мной!

Он не видел, как долго и тщательно целился в него желтозубый японец, и не слышал звука выстрела. Он только почувствовал, как его грудь словно ударила о невидимую скалу, ноги подогнулись, и Анканро упал на флаг.

Анканро увидел близко, перед самыми глазами, красный кумач, который все больше и больше алел, разгорался, пока не запылал огнем и не опалил его лицо. Кровь заливала красный флаг, но Анканро еще ничего не понимал и только удивлялся и радовался разгорающемуся красному флагу.

Он так и умер, не почувствовав боли, сжимая в руках древко — копье красного флага.

Он не видел, как удирала шхуна со всеми поднятыми парусами, а из-за лагуны в стойбище на звук выстрела бежали люди и среди них его дети и жена Ванэнау с грудным младенцем на руках.



А. Шаров

ДВА РАССКАЗА

В журнале «Юность» № 6 за 1955 год были напечатаны рассказы А. Шарова «Друзья мои коммунары». Автор познакомил молодого читателя с тем, как в двадцатые годы в нэповской России создавались первые очаги коммунизма — школы-коммуны. Об одной такой школе и написал А. Шаров, в прошлом сам коммунары. В этих школах-коммунах жили, учились и работали ребята, потерявшие родных на фронтах гражданской войны или в тифозных бараках; у многих родители пропали без вести или еще продолжали воевать.

Прошло почти четырнадцать лет. За эти годы А. Шаров написал новые книги, а «Друзья мои коммунары» неоднократно издавались и, вероятно, известны многим нашим читателям.

Сейчас писатель вернулся к теме школы-коммуны. Мы предлагаем вниманию читателей два рассказа из его нового цикла о детстве.

Рисунки Л. Корсакова.

РАСПЯТЫЙ

Странное дело — все люди, которых ты знал в детстве и которые тогда играли значительную роль в жизни, а потом больше не встречались тебе, возникают в памяти почти великанами, а Елизавета Савельевна видится мне маленькой, худенькой, слабой, словно нуждающейся в защите, даже в моей защите: хотя чем может помочь взрослой, мудрой женщине десятилетний или одиннадцатилетний мальчик?

Но так говорит память, а с памятью спорить нельзя. Нельзя искажать картины, запечатленные ею, и втискивать их в сегодняшние представления: память святая! Она сберегает человеку не только собственное его прошлое, но хранит от смерти и забвения образы всех близких, пересекших когда-либо его жизненный путь; всех, создавших его таким, каков он есть. А нет, мне кажется, ничего важнее для души, чем сберечь от забвения все таким, каким оно было, и всех — такими, какими они были.

И нет ничего труднее.

Тяжелые волосы, сплетенные в тугие каштановые косы, уложенные узлом на затылке, оттягивали голову Елизаветы Савельевны; казалось, будто она,

наша учительница, смотрит своими темными глазами вверх, выше всех других людей, в иной, особенный мир.

Она и действительно вглядывалась в особый, до сих пор неведомый и таинственный для меня мир математики; и той, которую она преподавала у нас в школе, и той недоступной обычному человеку, законами которой управляются неведомые Вселенные.

Как бы мне хотелось — но ведь это невозможно — увидеть мир хоть на миг не своими, а ее, все приводящими в высший порядок глазами.

Лицо у нее было без единой кровинки, только глаза блестели среди матовой белизны; и не как обычные человеческие глаза, а как светила.

Шея у нее была высокая, по-девичьи тонкая, с неяркими голубыми жилками — похожая на стебель цветка. И видно было, что ей так же трудно прямо держать голову с этим каштановым узлом волос, как стеблю — огромный и прекрасный цветок.

На уроке она стояла расмурившись — лоб ее прорезала еле заметная поперечная морщинка — и выводила математические формулы или, чаще, ве-

ла своей особой дорогой к самостоятельному открытию формул.

Когда я читаю о мучениках науки, вообще — о мучениках правды, которые и сделали сообщество людей человечеством и не дают ему перестать быть человечеством, о мучениках, которые всегда были в мировой истории, от Джордано Бруно до Януша Корчака, из мглы детства передо мной выступает лицо по-детски миниатюрной и хрупкой на шей учительницы математики Елизаветы Савельевны, хотя она ведь вовсе не была мученицей, была, как мне кажется, счастлива.

Она не воспитала ни меня, ни большинство других своих учеников математиками, но всем нам на всю жизнь сумела внушить убежденность в существовании непреложных, доказуемых опытом и разумом истин, сумела убедить в невозможности жить в мире, где эти истины попираются.

Так я думаю о Елизавете Савельевне сейчас, но тогда, в детстве, все это отступало на задний план, а поражающим казалось совсем иное: то, что муж Елизаветы Савельевны, которого мы никогда не видели, жил на Кавказе и был горцем.

Мне казалось, что она и голову держит закинув, как горянки, — я видел такой рисунок в учебнике географии, — когда они несут высоко, в горное селение, к границе вечных снегов, кувшины с родниковой водой; или как гречанки гомеровских времен, несущие глиняные амфоры.

Казалось, что и на уроке она ведет нас бесстрашно, как по горной крутизне — вверх и вверх.

И, конечно, я много думал о ее муже. И он мне представлялся то свирепым Казбичем верхом на красавце скакуне, то тонким и стройным Азаматом в черкессе с газырями, со старинным кинжалом в ножнах из серебра с чернью.

Иногда во время урока Елизавета Савельевна останавливалась у окна, замолкая даже на середине фразы, и долго смотрела сквозь стекло, сплошь покрытое льдом. Я знал, что она в эти мгновения видит мужа: видит его на коне, переносящемся с одной снежной вершины на другую через широкие ущелья.

— Итак, — говорила она, все еще глядя в окно, еле слышным шепотом, похожим на шелест последней листвы, в предзимье падающей с деревьев на скованную холодом землю.

Конь приближался; скакал с вершины на вершину, будто до самой Москвы протянулась горная страна.

И, приближаясь, фигура всадника становилась все больше. Поперек седла лежал Пифагор — маленький, худой, такой древне-старый, какие бывают только в сказках; две тысячи лет не шутка. Горец бережно поддерживал старика рукой. Пика, которой он, муж Елизаветы Савельевны, расшвыривал врагов, вонзалась в небо. И горы были похожи на прямоугольные треугольники.

Елизавета Савельевна отворачивалась от окна и вызывала меня к доске.

А я не мог доказать, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, хотя Пифагор — замерзший, завернутый в косматую бурку — был совсем близко.

Не мог доказать потому, может быть, что слишком ясно видел треугольные горы, и гипотенузу пики, вонзенную в небо, и скачущего на коне горца; а может быть — это всего вероятнее — просто потому, что математика давалась мне труднее других наук.

Горная страна удалялась, исчезала за льдом, покрывающим окна, за горизонтом, тонула в вечной

печали неудачника, стоящего у доски с опущенными в бессилии руками. Степи, заснеженные леса и снова снежные степи, война, голод лежали между нами и Кавказом, между сказкой и правдой, Елизаветой Савельевной и ее мужем. Смерть летела над страной.

Горец не приезжал.

— Да, — грустно говорила Елизавета Савельевна, взглянув на меня. — Ну что ж, иди...

К доске подходил Мишка, любимец Елизаветы Савельевны, мальчик с легким, изящным умом; с насмешливой улыбкой, он в одну минуту выводил знаменитую формулу.

Однажды под вечер горец приехал; весть об этом сразу разнеслась по Коммуне.

Ранним утром я выбежал во двор, чтобы увидеть красавца скакуна. Тонкая пелена снега, не тронутого следами, устилала все вокруг.

Я заглянул в сарай — и там было пусто.

Но горец приехал — это знали все.

После уроков Елизавета Савельевна сказала Мишке:

— Приходи вечером. Я познакомлю тебя с мужем: он пробудет в Москве всего один день. Приводи с собой друзей.

Так неожиданно счастье коснулось и меня.

После ужина мы впятером во главе с Ласькой ввалились в маленькую комнату Елизаветы Савельевны; она жила тут же, в Коммуне, на первом этаже.

Вначале мой взгляд приковал круглый стол, покрытый скатертью, уставленный сладостями: рахат-лукумом, разрезанным на маленькие квадратики, грецкими орехами, тарелочками с тонкими ломтями невиданно белого хлеба, намазанного, как выяснилось, маслом и медом.

Было нелегко оторваться от всей этой роскоши, но я сделал усилие и огляделся. У стола, лицом к нам, неловко столпившимся в дверях, стояла Елизавета Савельевна, а рядом с ней крошечный человечек, кажется, еще меньше ростом, чем она сама, в куцем пиджачке поверх солдатской гимнастерки.

— Заходите же! Рассаживайтесь, ребята, будем пить чай, — приглашала Елизавета Савельевна.

Она была сегодня совсем иной. На матово-бледном лице выступал чуть заметный румянец. И глаза блестели иначе, чем обычно, — теплее. Голова не была закинута вверх, так что мне не казалось, будто она видит недоступные миры.

— Да, да! Будем пить чай. Это великолепно! — вслед за Елизаветой Савельевной проговорил маленький человек в пиджачке.

Оказывается, это было любимое его слово — «великолепно»; он то и дело повторял его.

Голос у него был слабый, как у ребенка. Он часто снимал очки, чистым платочком протирал стекла и водворял очки на прежнее место.

Он и в очках видел плохо; во всяком случае, когда он шел к нам, чтобы поздороваться, то по дороге, на коротком пути, опрокинул стул.

И походка у него была неуверенная, как у слепого.

Здороваясь, он почти вплотную приблизил свое лицо, так что я почувствовал его теплое дыхание. А протягивая руку Лаське, он поднялся на носки и насколько возможно вытянул тонкую шею с большим некрасивым кадыком, потому что Ласька был на голову выше его.

— Знакомьтесь: мой муж! — сказала Елизавета Савельевна. Она стояла рядом с человеком в куцем пиджачке, поддерживая его за локоть, будто



он мог упасть. На губах ее по-прежнему светилась еле различимая улыбка.

«Так это и есть горец», — подумал я не с обидой даже, а почти с презрением или с горем, которое испытываешь, потеряв нечто дорогое, ставшее необходимым. Потеряв совсем, навсегда.

Я чувствовал себя жестоко обманутым, хотя ведь никто не обманывал меня, кроме собственного воображения, а оно делало это при каждом подходящем случае, и раньше и позже.

Я почувствовал, как это тяжело, когда правда, пришедшая из жизни, вышвыривает вымысел, послушный и подвластный тебе. Пройдет много лет, пока я начну понимать, что это хоть и горько, но необходимо — может быть, больше всего другого на свете. И что только это и дает счастье ясности.

Муж Елизаветы Савельевны разливал чай, низко наклоняясь над чашками. Руки у него дрожали, чай расплескивался.

И хотя я первый раз в жизни пробовал тягучий рахат-лукум и мелкими глотками, чтобы продлить наслаждение, пил сладкий чай и ел бутерброды с маслом и медом, обида не уменьшалась.

Порой, отрываясь от чашки, я встречался взглядом с горцем. Лицо у него было смуглое, очень худое, с высоким лбом, покрытым розоватыми шрамами, затянутыми тонкой кожей, с круглым, тоже чуть розоватым пятном над переносицей.

— Я часто падаю, — сказал он, виновато и растерянно улыбаясь, уловив, несмотря на близорукость, мой взгляд и подливая мне чаю. — Иду, иду по тропинке и вдруг падаю. У нас там зимами скользко... Да что вы, ребята, робеете: это же великолепно вкусно; и есть еще... Особенно перед школой скользко. Там намерзла ледяная горка. Надо бы сколоть лед... Все не соберусь.

Он растерянно развел руками.
Мы ушли от Елизаветы Савельевны часа через два.

Коммуна спала, в коридоре не горел свет. Мы шли, взволнованные противоречивыми впечатлениями, но первые секунды молчали.

— «Горец»,— с непередаваемым презрением проговорил наконец кто-то из нас.

— «Горец!» — повторил и я тем же презрительным тоном.

Ласька остановился и, круто повернувшись, ударил меня в грудь так сильно, что я отлетел к стене темного коридора.

— Что вы понимаете, мелюзга! — сказал Ласька. — Он ведь был ранен осколками, и беляки расстреливали его — видали на лбу след пули? Оттого он и падает и подслеповатый такой.

Было трудно дышать не только из-за Ласькиного удара, но и оттого еще, что меня душили слезы.

Ребята ушли, забыв обо мне.

Я прижился к стене; в ушах звучал мой собственный голос, произнесший так позорно и нелепо: «горец».

Я знал, что надо вернуться и сейчас же, обязательно сейчас же, сказать этому маленькому человеку, что я совсем ничего не понимаю в жизни.

И, главное, сказать, как я горжусь им.

Да и это не главное. Надо о чем-то спросить его, узнать что-то известное ему одному, но важное, важнейшее для всех.

Что спросить? О чем я хотел посоветоваться?

Этого я не помню. Да, вероятно, и тогда неясно себе представлял.

Ступая тихо, на носках, я вернулся к комнате Елизаветы Савельевны.

Из-под оторванной дверной филенки сквозила

слабая полоска света, как бы проведенная по линейке светящимся карандашом.

Там не спали. Время не было упущено.

«Иду, иду и падаю»,— вспомнились слова горца.

...Я стоял у двери Елизаветы Савельевны долго, не решаясь постучаться.

Глухие голоса, доносившиеся из-за двери, замолкли, световая линия погасла.

Я поднялся на четвертый этаж в спальню, где тоже все уже спали.

А рано утром, еще до завтрака, муж Елизаветы Савельевны уехал.

Прошло много лет. Я шел по залам Эрмитажа впервые после конца Отечественной войны, после демобилизации, и остановился перед картиной Рембрандта «Снятие с креста».

Кровь от тернового венца темнела на лице распятого.

И вдруг между мной и картиной встал, шагнул из детства и из могилы — он давно уже умер, — тот маленький, близорукий человек, первый из виденных мною Распятых нашего века.

Кровь стекала по его печальному, робкому и ласковому лицу, заливала глаза. Теперь я видел его яснее, чем в детстве.

Кровь от пули, от осколков стекала по лицу. «Иду, иду и падаю»,— говорил он тонким, слабым голосом. И еще он часто произносил слово «великолепно» и всякий раз улыбался.

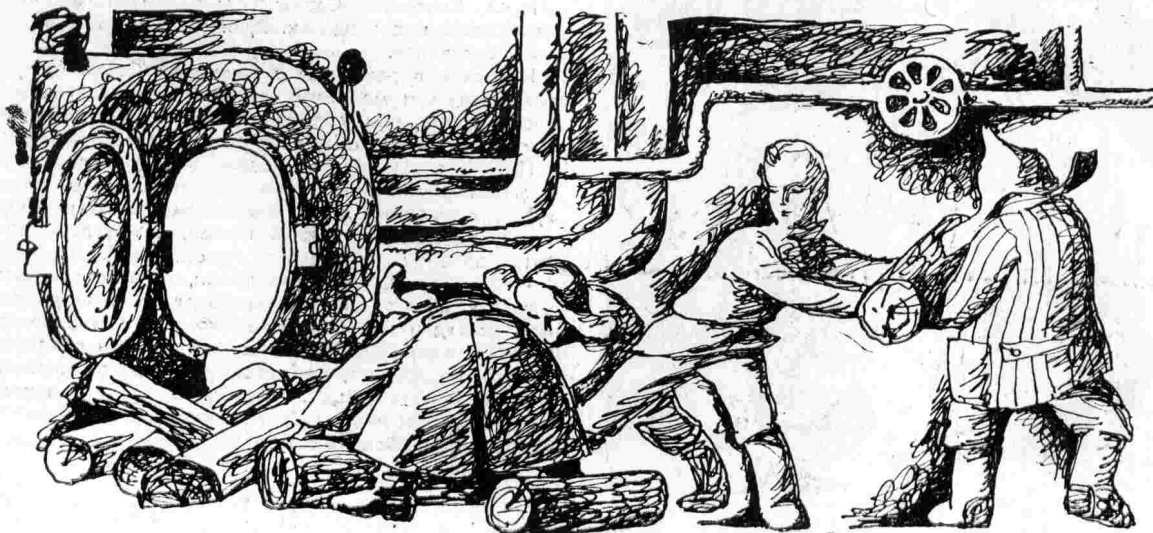
...Это очень трудно — узнать Распятых, даже когда они проходят рядом, разговаривают с тобой, протягивают тебе руку.

Когда они проходят, вырвавшиеся из одной смерти, чтобы, если придет срок, встретить вторую смерть, последнюю — без воскрешения из мертвых.

В МОРОЗ

Мы, я и Сашка, выбежали из здания Коммуны, которое не отапливалось недели две, и стоим у ворот — невыспавшиеся, хмурые. — Замерзшая планета! — уныло говорит Сашка, взглянув на школу.

Снегопад все не ослабевает. Из-за снежной завесы показывается тощая лошадка, впряженная в сани, доверху груженные дровами. Рядом шагает возчик в тулупе и валенках. Борода его кажется седой из-за снега, а может быть, она и в самом



деле седея. Весь мир сейчас «белый свет». Только небо мутно-серое от низко нависающих туч. Просвечивает белесый диск солнца, как бы впаянный в лед.

— Тпр-р-ру!

Лошадка охотно останавливается.

Вереница саней — они размытыми пятнами углубляются в глубине переулка — тоже замирает.

Забросив вожжи на спину лошади, возчик достает из кармана сложенный вчетверо листок и протягивает Сашке.

— Прочитай адресок! Теперь все ученые, — говорит он как бы с укоризной.

Медный звон наполняет воздух. Я поднимаю голову и вижу, как мерно раскачивается язык колокола церкви Василия Кессарийского. Богомолки в черных салопах и черных платках поднимаются по ступеням паперти и исчезают в церковных вратах.

Там, в глубине, светятся красновато-золотые огни. Сашка подносит к глазам листок и сразу же, явно не успев прочитать ни одного слова, обрадованно вскрикивает:

— Это же нам! Ну, конечно, Второй Ильинский переулок, Школа-Коммуна.

Я поднимаюсь на носки и заглядываю через Сашкино плечо. На листке совсем другой адрес: «Бутиковская текстильная фабрика».

Хочу сказать Сашке, что он ошибся, но замолкаю, встретив его взгляд.

— Разводи ворота! Живо! — командует Сашка.

Мы недавно читали с Ольгой Спиридоновой «Бориса Годунова», и все происходящее напоминает мне сцену в корчме. То место, где беглый монастырский послушник Лжедмитрий, чтобы запутать погоню, читает: «А лет ему... от роду... за 50» вместо «А лет е-му от ро-ду... 20».

Сашка тащит правый створ, а я, напрягая все силы, тяну левый створ, вязнувший в снегу ворот.

«Сцена в корчме». «Сцена в корчме», — повторяю я сам себе, чтобы заглушить другие мысли.

Но ведь это происходит не в театре.

И Бутиковская фабрика наша, она шефствует над Коммуной.

И раньше мы два раза в неделю отрабатывали полмены в ткацком, прядильном или красильно-декатировочном цехах. Сейчас фабрика стоит оттого, что нет топлива.

И фабрика тклет шинельное сукно для красноармейцев.

Я думаю об этом, продолжая тянуть створ ворот. Он поддается с трудом, загребая чистойший утренний снег. Обоз втягивается во двор.

Потом я стою в цепи, и мы с молниеносной быстротой перебрасываем дрова с рук на руки с сачком в сарай, пустующий две недели.

«...Какое же громадное расстояние между вами: мысль и дело», — думаю я сейчас, когда со дна памяти поднимается эта страничка былого.

Как мало людей, как редко люди — большие и маленькие — находят силы преодолеть расстояние между осознанием несправедливости и борьбой против нее.

Мысль и дело — только у совсем маленьких ребята они нерасторжимы, а потом, неведомая сила часто разделяет их, разводит дальше и дальше, как мы с Сашкой разводили створки ворот.

И когда это расстояние растет, дальность его становится невыносимой, человек — взрослый, — должен либо бороться, либо убивать в себе мысль.

Как часто люди выбирают второй путь, куда более легкий.

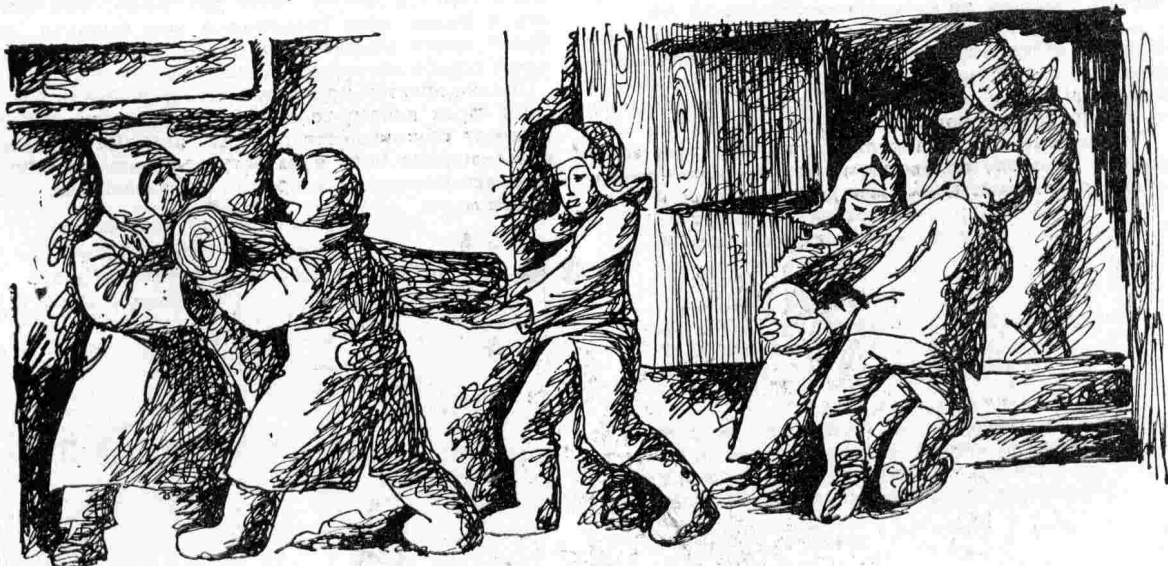
И те, кто жил рядом с лагерями, пусть даже не рядом, но одновременно, те же немцы из сел и городов, окружающих Освенцим, заставляли себя не смотреть на небо, застланное черным дымом крематориев. Или же, вскидывая голову, заставляли себя не думать о том, откуда взялся дым, отчего так изменился цвет неба, откуда едкий запах, поглотивший все другие запахи — и трав и цветов.

Не думать, хотя даже птицы изменили свои сотнями тысяч лет проложенные маршруты и огромной дугой огибали Освенцим.

— Птицы? Нет, мы не видели птиц... — говорили те немногие, еще живые, которых мы застали в освобожденном Освенциме.

— Птицы? Мы не знаем, что такое птицы! — говорили дети, самые маленькие из близнецов, оставленных фашистами для опытов, совсем забывших или просто не испытавших жизни вне лагеря.

...Но все это не имеет решительно никакого отношения к рассказу, к случаю, который я описываю. И пришло на ум просто потому, что есть вещи, которые не выходят, не могут и не смогут выйти из сознания нашего поколения и часто вспоминаются, иногда до очевидности некстати, а все-таки вспоминаются.





**Кайсын
Кулиев**



Надежда

Оскорбить, ославить человека,
Хлеба и воды лишить его
Лучше, чем оставить человека
Хоть на миг без света моего.

Я — гора, чистейшая на свете,
Небосвод над вашей головой,
Самый теплый, самый легкий ветер,
Пахнущий пшеницей и травой.

Птица, я бела, лечу высоко,
Может, потому и хороша.
Видная из всех на свете окон,
Я маю вас, крыльями шурша.

Как рассвет, и облака, и море,
Я от гибели защищена.
Что я тем, кого не мучит горе!
Тем, кто знает беды, я нужна!

Есть во мне неистребимость неба,
Вечное стремление к любви.
Есть во мне необходимость хлеба,
Я бессмертна, я у вас в крови.



☆

Я слово почитаю искони,
Как хлеб земной
и доброту людскую.
Ни в светлые,
ни в горестные дни
Никчемным словом не грешил я всеу.

Пока я жив,
светить мне будет свет
Живого слова радости и боли,
Без коих жизни человеку нет,
Как нету жизни
без воды и соли.

Но я скажу и повторю опять:
Будь проклято
отныне и до века
То слово,
что способно растоптать
Надежду или веру человека.

И да не будет слову суждено
Нести кому-то
гибель и смятенье,
Да будет наше слово,
как зерно,
Первоосновой жизни и цветенья.

Скорей, людское слово, успокой
Всех слабых, всех, кто в горе,
кто в тревоге.
Будь над дорогой
светлою звездой,
Путь указуй идущим по дороге.

☆

«Поэт, коль хлеба у соседей мало,
Не будет жирной пусть твоя еда»,—
Сказал мудрец, которому, бывало,
Ума хватало, хлеба — не всегда.

Порой он грустным был, порой веселым,
Но благодарный жизни в час любой.
Укладываясь спать на камне голом,
Он все же славил звезды над собой.

☆

Когда приходит ночь, кричит сова,
А птицы певчие поют с рассвета...
Чинары и другие деревья
За свой некроткий век постигли это.

И в зимние безрадостные дни
Не гнутся их стволы под вьюгой снежной,
За долгий век свой поняли они,
Что смена зим и весен неизбежна.

И даже если жизнь не хороша,
Уйдя корнями вглубь, в родную землю,
Стоят деревья, злобой не греша,
Мороз и зной, как должное, приемля.

И хоть не все деревьям трын-трава,
Но потому покой их бесконечен,
Что в час ночной, когда кричит сова,
Поскрипывая, мыслят дерева:
«Настанет час, и птицы защебечут».



Я много жил, но что я понял, кроме
Того, что ночь черна и светел снег,
Что и собака в опустевшем доме
Скулит и плачет, словно человек!

Я понял, как позорно злое дело,
Неправый суд, который мы свершим,
И понял я блаженство быть умелым
И делать дело, нужное другим.

Дерево и топор

Есть дерево и тень на склоне гор.
Оно шумит, своей листвою гордится.
Есть дерево и тень, и есть топор.
«Но дерево — мой дом», — щебечет птица.

Топор стучит:
«Я дом разрушу твой,
Моим владельцам нужен дом для счастья!»
Щебечет птица:
«Дом из камня строй!»
Стучит топор:
«Мне камень не подвластен!»

Стучит топор:
«Срублю, свалю, сгублю!»
А птица стонет близ родного дома:
«Постой, топор, я дерево люблю!»
Стучит топор:
«Любовь мне незнакома!»

Есть дерево и тень на склоне гор,
И птица есть, но в этом мире старом
Есть, кроме птиц и дерева, топор
И спор извечный щебета с ударом.



«Пока есть жизнь, и смерть на свете
будет!» —
Твердит мудрец, степенен и суров.
Он прав, но почему не могут люди
Себя утешить правдой этих слов!

Мудрец, он прав, с ним спорить — труд
напрасный,
Но ясно и без слова мудреца:
«Заходит солнце, но огонь не гаснет.
И кто б ни умер, жизни нет конца!»

И вновь твердит мудрец неторопливо:
«Все в рамках сроков и границ своих».
Я знаю, хоть печальны, но правдивы
Твои слова, и мы в плену у них.

Ни жизнь, ни гибель не содержат чуда,
Я знаю все, но как мне быть, когда
Сейчас я поднял теплого покуда
Птенца, который выпал из гнезда!



Усталый, он хлебнул вина глоток,
Он отщипнул от корки хлеба малость,
И расстоянье пройденных дорог
Как будто бы короче показалось.

И стало небо голубей тотчас,
Скала вдали приветливей намного...
Мы — люди, все, как у людей, у нас:
Коль есть вино и хлеб, так слава богу.

Не лаяла собака у дверей,
А может, лаяла, да он не слышал,
Недобрый взгляд соседа стал добрей,
Осенний дождик стал слабей и тише.

И даль осенняя была светла,
И улыбался человек устало...
Вина немного, хлеба и тепла...
Мы — люди, нам на свете надо мало.



Я брат траве, и камню брат,
И раковине прихотливой,
В которой до сих пор звучат
Приливы моря и отливы.

Я брат вам, ласточки, чьи гнезда
Не разорял я никогда,
Я брат вам, деревья и звезды,
Тебе, журчащая вода,

И ручейку, и океану,
И светлячку в вечерней мгле.
Без чувства братства чем я стану,
С чем я останусь на земле!

В моей душе любовь таится,
Душа любить обречена
Гонимого зверька и птицу,
Всех, кто не может защититься,
Кому любовь моя нужна.

Любовью малой иль великой
И хлеб и песня рождены.
А без любви мы все безлики,
Беспомощны и безъязыки.
На что годны!
Кому нужны!

Перевел Н. ГРЕБНЕВ

Анатолий Алексин

ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ

От автора

Судьбе было угодно, чтобы я родился в семье инженерно-технического работника, в самом начале второй половины нашего века. Это была дружная трудовая семья. Я был последним ребенком в этой семье. Первым ребенком был мой старший брат Костя. Всего, значит, нас было двое. Сейчас уже Костю трудно назвать ребенком, потому что он бреется и учится в университете.

Родители наши сумели дать своим детям хорошее образование: Костя, как я уже сказал, студент, и я тоже учусь.

У нас с братом были совершенно разные характеры. Они и теперь абсолютно разные, но я пишу «были», потому что предисловия «От автора» всегда пишутся в прошедшем времени, как воспоминания. Брат увлекался техникой, а я любил читать детективные повести и романы. Потом, в более зрелом возрасте, я внезапно почувствовал тягу к творчеству.

У меня не было старой няни, которая бы рассказывала мне в детстве сказки и так, понемножку, приучила бы меня любить литературу. Мама сама вела хозяйство, поэтому ни няни, ни домработницы у нас не было.

Но зато на меня как на будущего автора детективных произведений огромное влияние оказали мои родители.

Когда я еще был во втором или в третьем классе, мама вышила на мешке для галош мою фамилию: «Деткин».



детектив-
ная повесть,
которую
сочинил
Алик Деткин

Рисунки
Е. Шукаева.

Это был самый обыкновенный мешок, но он сыграл в моей жизни необыкновенную роль! Судьбе было угодно, чтобы последние три буквы стерлись, исчезли: нитки порвались то ли от старости, то ли оттого, что мешок служил мне верным оружием в коротких, но решительных схватках, которые вспыхивали время от времени в раздевалке. Так или иначе, но от моей фамилии остались лишь три первые буквы: «Дет...»

— Галоши ДЕТЕктива! — крикнул один старшеклассник.

С этого и началось: меня прозвали Детективом. А если бы мама не вышила те буквы на моем синем мешке?..

Но положительное влияние родителей было не только в этом. Мама и папа часто отбирали у меня затрепанные приключенческие повести и романы. «Жалко тратить на это время!» — восклицали они. А потом я находил свою книгу под подушкой у мамы или случайно замечал ее в папином портфеле. Таким образом, с их помощью я понял, что все нормальные люди любят читать детективные книжки, но многие любят тайно. А тайная любовь, как известно, самая интересная и самая сильная!

Итак, я начал творить!.. Родители были против: «Жаль тратить на это время!» Тогда я вспомнил все известные мне случаи, когда отцы выгоняли из дому и даже лишали наследства будущих великих артистов, композиторов и писателей. Эти примеры подействовали на папу и маму.

— Ладно,— сказал папа,— раз тебе не жалко времени, которое можно было бы потратить на изучение иностранного языка, на чтение полезных книг или, скажем, на спорт, пусть будет по-твоему! Но позволь и мне обратиться к классическим примерам...

Он достал первый том собрания сочинений Лермонтова, прочитал вслух два стихотворения и сказал:

— Эти стихи были написаны Михаилом Юрьевичем, а точнее сказать, Мишей, в четырнадцатилетнем возрасте. Ты всего на полтора года моложе. Только на полтора. А если учесть, что дети сейчас взрослеют гораздо раньше, можно считать, что вы одного возраста!

— Ну и что? — спросил я.

— А то,— ответил мне папа,— что нельзя высчитать повесть из пальца. Прежде чем сесть за стол, надо изучить человеческие характеры. А сюжет? Его должна подсказать тебе сама жизнь!

Я стал изучать характеры своих приятелей, соседей, учителей. Но сюжета жизнь подсказывать мне не хотела.

И вдруг случилось такое!..

Никогда я бы не смог придумать истории страшнее той, которая случилась на самом деле и которую я всю распутал от начала и до конца, доказав, что Детективом меня прозвали не зря!..

ГЛАВА I,

в которой мы знакомимся с героями повести, не все из которых будут героями

Когда в прошлом году у нас в классе стали создавать литературный кружок, никто не представлял себе, что из-за этого может случиться. Какое таинственное, жуткое событие произойдет!..

Но я расскажу обо всем по порядку, не забегая вперед, хотя мне очень хочется забежать. Вы легко поймете меня, когда дочитаете до конца...

Итак, все началось год назад на самом обычном уроке, в самом обычном классе. Это была комната с четырьмя стенами, выходившая двумя своими стеклянными окнами прямо во двор, а одним окном — прямо на улицу.

Наш новый классный руководитель, Святослав Николаевич, сказал:

— Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе, где учится Глеб Бородаев.

Мы все повернулись и посмотрели на последнюю парту в среднем ряду: там сидел тихий, пригнувшийся Глеб.

Это был человек лет тринадцати. Нежная, бархатная кожа его лица часто заливалась румянцем. Ростом он был невысок, учился посредственно и очень любил собак. Карманы его самых обыкновенных мятых штанов всегда оттопыривались. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что там кусок колбасы, или горбушка хлеба, или сосиска. Глеб от каждого своего завтрака оставлял что-нибудь для собак. И собаки платили ему той же любовью.

Мы тоже любили Глеба. Он был добрым не только к собакам, но и к людям. Особенно если их постигала беда. Например, если кто-нибудь падал и расшибал коленку, Глеб сразу подбегал и говорил:

— Как все это... Ты не очень того... Я сейчас постараюсь...

Он, когда волновался, не договаривал фразы до конца. Фразы его неожиданно обрывались, как звуки неисправного мотора, который глохнет и опять начинает работать, глохнет и опять начинает... Но мы уже знали, что через минуту-другую Глеб притащит из докторского кабинета, с первого этажа, йод, а из уборной, с нашего этажа, платок, смоченный холодной водой.

В его груди билось скромное, благородное сердце!

— Конечно, Глеб такой же ученик, как вы все,— сказал Святослав Николаевич.— Не его заслуга, что он внук Бородаева, писателя, творившего во второй четверти этого века в нашем с вами родном городе. И все же я рад, что Глеб учится именно здесь! Я думаю, что пристальный интерес к творчеству одного писателя обострит ваш интерес к литературе в целом. И тут Глеб может оказать нам неоценимую помощь!..

Все опять повернулись к Глебу... Когда на него смотрел один человек, он и то пригибался от смущения, а тут уж совсем лег на парту.

— Как-то все это... — тихо сказал он, не договаривая фразу, будто кто-то рядом расшиб коленку.

Мы знали, что в городе жил когда-то писатель Гл. Бородаев: портрет Гл. Бородаева висел в зале на доске «Наши знатные земляки».

Внезапно догадка озарила меня: «И его тоже, наверное, звали Глебом!»

Мы не знали, что тот Глеб — родной дедушка нашего Глеба. Наш Глеб никогда никому об этом не говорил.

Но классный руководитель Святослав Николаевич раскрыл его тайну... Это был человек лет пятидесяти девяти (он говорил, что если мы решительно не изменимся, то он через год сбежит от нас всех на пенсию). Ростом он был невысок. Глаза его глядели устало, об усталости свидетельствовала и бледность его не всегда гладко выбритых щек. Но внешность Святослава Николаевича была обманчива. Энергия в нем была ключом!

— Мы присвоим нашему кружку имя Глеба Бородаева! — воскликнул он. И в глазах его исчезла усталость.

— Как-то это... — тихо сказал Глеб со своей задней парты.— Меня ведь тоже зовут... Некоторые могут подумать... Которые из других классов...

Он не договаривал до конца ни одной фразы: значит, он волновался, как никогда.

— Есть ведь и другие... — продолжал он.— Почему обязательно дедушку?.. Хотя бы вот Гоголь...

— Но внук Гоголя не учится в нашем классе,— возразил Святослав Николаевич.— А внук Бородаева учится!

С того самого дня к Глебу приклеилось прозвище: Внук Бородаева. Иногда же его звали просто и коротко: Внук.

Всюду ребята любят придумывать прозвища. Но у нас в школе это, как говорили учителя, «стало опаснейшей эпидемией». А что тут опасного? Мне кажется, прозвище говорит о человеке гораздо больше, чем имя. Имя вообще ни о чем определенном не говорит. Ведь прозвище придумывают в зависимости от характера. А имя дают тогда, когда у человека еще вообще нет никакого характера. Вот если меня назовут просто по имени — Алик! — что обо мне можно будет узнать? А если по прозвищу — Детектив! — сразу станет понятно, на кого я похож.

Жаль только, что некоторые ребята путают и вме-

сто «Детектив» кричат «Дефектив»! Но я в таких случаях не отключаюсь.

— Занятия кружка ни в коем случае не должны быть похожи на наши уроки. Никто там не будет учиться! — заявил Святослав Николаевич. И всем сразу захотелось вступить в этот кружок. Но на пути возникли неожиданные преграды.

— Творческая направленность будет лицом кружка, — сказал Святослав Николаевич. — А рекомендацией будет литературная одаренность!

Оказалось, что такой рекомендации нет почти ни у кого в нашем классе. Только Андрей Круглов, по прозвищу Принц Датский, и Генка Рыжиков, по прозвищу Покойник, сочиняли стихи.

Прозвища их на первый взгляд могли показаться несколько странными, но это только на первый, легкомысленный взгляд.

Круглова прозвали не просто Принцем, а именно Датским, потому что он любил сочинять стихи к разным школьным датам и даже к семейным: к началу учебного года и к концу учебного года, к дням рождения и если кто-нибудь умирал.

Когда нашей школе исполнилось десять лет, он сочинил:

В этот день, когда мы отмечаем
Нашей школы славный юбилей,
Мы с большим волнением замечаем,
Что на сердце как-то веселей!

Однажды, первого сентября, пионервожатая прочитала нам на линейке стихи Принца:

В этот день, когда мы начинаем
Путь к вершинам знаний и наук,
Мы с большим волнением замечаем,
Будто стало солнечней вокруг!..

А перед летними каникулами в стенгазете появилось такое стихотворение Принца Датского:

В этот день, когда мы завершаем
Свой нелегкий, свой учебный год,
Мы с большим волнением ощущаем,
Будто слезы выльются вот-вот...
Нет!
Хоть мы со школой расстаемся,
Места нет для грусти и тоски:
Все равно сердцами остаемся
Возле школьной парты и доски!

Святослав Николаевич сказал однажды, что «настоящий поэт не изменяет себе». Принц Датский не изменил себе просто ни разу в жизни!

Это был человек лет тринадцати. Ростом он был высок, в плечах был широк. Если Принц Датский узнавал, что у кого-нибудь дома происходит важное событие, он хватал бумагу и карандаш, убежал, чтобы побыть в одиночестве, а потом возвращался и говорил:

— Вот... пришли на ум кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?

Он совал в руки листок со стихами и убежал. Большая физическая сила сочеталась в нем с детской застенчивостью.

Однажды, как сейчас помню, он узнал, что мои родители празднуют годовщину свадьбы. Принц Датский подошел ко мне на перемене, сунул в руку листок и сказал:

— Вот... пришло кое-что на ум. Может, тебе будет приятно?

И убежал. На листке было написано:

В этот день, поздравив папу с мамой,
Обстановку трезво оцени;
Страшная была бы в жизни драма,
Если бы не встретились они!
Если бы твой папа не женился,
Никогда б ты, Алик, не родился!..

В его груди билось доброе, благородное сердце! Я читал, что поэты часто дружили между собой: Пушкин с Дельвигом, Шиллер с Гете... А Принц Датский дружил с Генкой Покойником.

Покойник писал стихи о любви... Это был человек лет тринадцати. Ростом он был невысок, в плечах неширок, лицо его было покрыто мертвенной бледностью. И вообще он очень хотел умереть.

Жить не стоит,
В том нету сомнений!
Сердце в муке сгорело дотла,
Когда ты на большой перемене
К старшекласснику вдруг подошла...

Над этим стихотворением стояли две буквы: А. Я. А в поэме, первое чтение которой состоялось у нас в уборной, на втором этаже, были такие слова:

Умереть, умереть, умереть!
Мне во прах превратиться не жалко,
Чтоб уже никогда не смотреть,
Как с другим ты идешь в раздевалку...

Под названием поэмы тоже стояли две буквы: Б. Ю.

Нам очень хотелось узнать, из-за кого Покойник так ужасно страдал. Мы проверили по классному журналу: девчонок с такими инициалами у нас в классе не было.

— Может, из другой школы?.. — высказал кто-то предположение.

Внезапно меня озарила догадка:

— Нет! Они обе из нашей школы: иначе бы он не видел, как А. Я. на большой перемене подошла к старшекласснику и как Б. Ю. спустилась с другом в гардероб!

— Это верно!.. Настоящий Детектив: какая сила логического мышления! — стали восторгаться ребята.

Только Принц Датский сказал:

— Не трогайте Покойника!.. Кто его тронет, тот будет иметь дело со мной.

И хотя большая физическая сила сочеталась в нем с детской застенчивостью, все знали: Покойника он в обиду не даст. Он уважал его, потому что сам не умел писать стихов о любви.

— А только это и есть истинная поэзия! — воскликнул как-то Принц Датский. — Все классики с раннего детства писали о любви. Таланты надо беречь! Это было его яркой особенностью: восторгаться другими.

— Почему же ты сам сочиняешь стихи к разным датам? — спросил я Принца.

— Людям приятно, когда их поздравляют... Особо в рифму, — ответил он.

— А ты пиши и о любви тоже!

— Чтоб писать о ней, надо ее испытать, — ответил Принц Датский. — К Покойнику уже пришло это счастье, а ко мне еще нет.

К Покойнику это счастье приходило уже в третий раз. Вообще он вел рассеянный образ жизни. Все свои последние стихотворения он посвящал какой-то В. Э. Она еще не спускалась с другим в гардероб, но Покойник все равно жить не хотел:

Умереть мое сердце готово,
Разорваться в груди, как снаряд,
За одно твое нежное слово,
За один твой доверчивый взгляд.

Я набрался мужества и спросил:

— Скажи: кто она... В. Э.?

— Разве это не было бы чудовищно?..

— Что... чудовищно?

— Разве я могу открыть ее имя?

— А почему?

— Тебе непонятно?

Это было его яркой особенностью: отвечать на вопрос вопросом.

— Но почему же? — настаивал я.

— Разве мужчина имеет на это право?

В его чахлой груди билось пылкое, благородное сердце!

Принца с Покойником сразу приняли в литературный кружок.

Попросилась в кружок и Валя Миронова.

Это было белокурое существо лет двенадцати с половиной. То есть в прошлом году, когда создавался кружок, все мы были на год моложе... Но в той страшной истории, которую я хочу рассказать, это не играет существенной роли.

Миронова была самым белокурым и самым старательным существом у нас в классе. Она, казалось, всегда думала об одном: как бы ей в чем-нибудь перевыполнить норму.

Если учительница задавала на дом решить семь арифметических примеров, Миронова поднимала руку и спрашивала:

— А восемь можно?

Если другая учительница просила сдать домашнее сочинение через четыре дня, Миронова поднимала руку и спрашивала:

— А через три можно?

Думая о человеке, всегда мысленно представляешь его себе в самой характерной для него позе. Ну, например: Глеб Бородаев вынимает из своих растопыренных карманов бутерброд с колбасой и кормит собаку; Принц Датский, несмотря на свой огромный рост и свою силу, застенчиво протягивает листок со стихами, которые кому-то должны быть приятны; Покойник ходит по коридору с бледным лицом и мечтает погнубить... А Миронову я всегда представляю себе с поднятой рукой: она хочет, чтобы ей разрешили перевыполнить норму.

Если врач поликлиники скажет: «Тебе нужно сделать десять уколов!» — Миронова, я думаю, обязательно спросит: «А можно одиннадцать?»

Как только Святослав Николаевич объявил о кружке, Миронова сразу подняла руку и сказала:

— Можно мне записаться?

— А что ты будешь сочинять?

— Что вы скажете... — ответила Миронова.

Это было ее яркой особенностью: подчиняться приказам.

— Поэзия, — сказал Святослав Николаевич, — это сфера чувств, там конкретность не обязательна. Проза — другое дело. В прозе каждый должен писать о том, что он лучше всего знает. А с чем ты, Миронова, сталкиваешься ежедневно? Со школой, с уроками, с домашними заданиями, со своими соседями и одноклассниками. Вот об этом и напиши. Начни, к примеру, с литературных зарисовок: «Мое утро», «Мой вечер»...

Миронова подняла руку и спросила:

— А можно «Мой день»? Это ведь будет и утро, и полдень, и вечер — все сразу!

Она и тут хотела перевыполнить норму.

— Пожалуйста, — сказал Святослав Николаевич. — Если тебя влечет такая именно тема, не возражаю. Зачем же наступать на горло собственной песне? Но только побольше конкретных деталей, подробностей. Пусть острая наблюдательность подскажет тебе все это. Принеси зарисовку дней через пять.

— А можно через четыре? Или через три дня? — спросила Миронова, предварительно подняв руку. По привычке она, как на уроке, поднимала руку, даже если разговаривала с кем-нибудь в коридоре или на улице.

Через три дня она принесла зарисовку «Мой день». Начинала Миронова так:

«Я проснулась в семь часов десять минут по местному времени. Было утро. Я умылась на кухне, потому что в ванной комнате мылся сосед. На кухне у нас стоят два стола, потому что в квартире живут две семьи: у каждой по одному столу. На кухне два окна: одно выходит лицом на улицу, а другое — лицом во двор. В семь часов тридцать минут по местному времени я съела одно яйцо всмятку, один бутерброд с сыром и выпила один стакан чая с сахаром. Так начался мой трудовой день...»

Святослав Николаевич похвалил Миронову:

— Много конкретных, тебе одной известных деталей!..

Миронову приняли в литературный кружок.

— Ну, а над чем ты будешь работать дальше? — спросил Святослав Николаевич.

— Над чем скажете...

В ее груди билось послушное женское сердце!

Трех человек уже приняли. Но этого было мало. И тогда Святослав Николаевич предложил вступить в кружок Наташе Кулагиной.

Это было самое замечательное существо в нашем классе. И во всей школе. И во всем городе!

Ростом она была такой, как надо... Да что говорить!

От самого дня рождения я никогда не был ветренником. И никогда не вел рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой особенностью: Наташа нравилась мне с первого класса.

Она была полна женского обаяния. На переменах девчонки липли к ней со всех сторон: каждой хотелось походить с ней по коридору под руку. Это меня устраивало: если уж не со мной, так пусть лучше с ними!

Наташа часто записывала что-то в толстую общую тетрадку. Когда Святослав Николаевич пригласил ее в кружок, она сказала:

— Я не сочиняю, а просто записываю мысли. Так, для себя. О фильмах, о книгах...

— Это должно быть любопытно, — важно изрек Покойник. — Ты ведь и классные сочинения всегда пишешь оригинально, по-своему.

— Старик Покойник нас заметил и, в гроб сходя, благословил! — сказал я с плохо скрываемым раздражением.

Мне не понравилось, что Покойник хвалил Наташу. Не хватало еще, чтоб над очередным его стихотворением появились новые буквы: Н. К.!

— О книгах, о фильмах?.. — переспросил Святослав Николаевич. — Значит, у тебя критическое направление ума! Вот и прекрасно. Нам нужны разные жанры. Поэзия и проза уже представлены. А теперь вот и критик! Будешь оценивать произведения членов кружка. Если острая наблюдательность подскажет тебе недостатки товарищей...

— Но я ведь просто записываю свои мысли... Что ж, я буду высказывать их вслух?

— А ты высказывай не свои, — посоветовала Ми-

ронова.— Поговори со Святославом Николаевичем, еще с кем-нибудь. Учебники почитай.

Наташа словно бы не расслышала ее слов.

— Нет, я не могу оценивать чужие произведения,— сказала Наташа.— С глазу на глаз могу. А так, в торжественной обстановке... Я не могу себе это позволить.

— Для начала послушай,— сказал Святослав Николаевич.— А потом творческий поток захлестнет тебя, увлечет в свое русло!

Она могла бы позволить себе все, что угодно, потому что ее считали самой красивой в классе. Но она не позволяла: в ее груди билось прекрасное сердце!

Через десять минут я попросился в литературный кружок.

— Ты тоже пробуешь силы в творчестве? — удивленно спросил Святослав Николаевич.

— Я хочу писать детективные повести...

— Прыгаешь через ступени?

— Как это?..

— Нужна постепенность: сперва зарисовки, потом рассказы, а потом уже повести. Впрочем, не хочу наступать на горло твоей песне. Ты уже что-нибудь сочинил?

— Предисловие... И еще кое-какие наброски.

Все это я показал сперва папе, а потом Святославу Николаевичу.

Тогда я еще не знал, какая страшная история вскоре произойдет, и в предисловии об этом ничего написано не было.

— Твои портретные характеристики несколько однообразны,— сказал папа,— а эпитеты, думается, крикливы. Ты подражаешь высоким, но старым образцам. Так уже нынче не пишут. Это не модно.

— Но ведь моды меняются,— возразил мой брат Костя.— Раньше носили длинные пиджаки, потом стали шить короткие, а теперь опять носят длинные...

В пиджаках Костя разбирался — у нас дома его считали пижонком.

— Да, я согласен,— сказал папа.— Моды — вещь переменчивая. И потом, первый опыт... Первый блин!

Святославу Николаевичу мой первый «блин» очень понравился.

— Кое-где ты продолжаешь благородные традиции рыцарских романов. В смысле стиля, конечно,— отметил он.— Могут сказать, что это несовременно...

— Мода — вещь переменчивая! — воскликнул я.

— Безусловно. К тому же я не хочу наступать на горло ни одной вашей песне! Острая наблюдательность тебе многое подсказала. И еще подскажет! Так что... Теперь в кружке уже...

— Пять человек! — быстро подняв руку, сказала Миронова.

Это было ее яркой особенностью: она любила подсказывать учителям.

— Нет, в кружке будет шесть членов,— поправил ее Святослав Николаевич.— Пять обыкновенных и один почетный: внук Бородаева!

Радость озарила усталые глаза Святослава Николаевича и его бледное, не всегда гладко выбритое лицо. Он не знал, к каким ужасным событиям это все приведет!..

И у меня на душе не было даже легкой тени тревоги. Даже смутное предчувствие чего-либо плохого не посетило, не коснулось меня в ту минуту.

Я радовался, как ребенок, что буду в одном кружке с Наташей Кулагиной! Я ликовал, как дитя!..

ГЛАВА II,

в которой мы неумолимо приближаемся к страшной истории, хотя этого можно и не заметить

Какие легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!..

Я всегда думал, что почетный участник чего-либо — это такой участник, который в отличие от обыкновенных участников может абсолютно ни в чем не участвовать. Но это было жестокое заблуждение.

Именно Глебу поручили организовать у нас в классе «Уголок Бородаева».

— Мне как-то... Самому-то... Это вроде не очень... — не договаривая фраз, отказывался Глеб.

— Заблуждение! — воскликнул Святослав Николаевич.— Неверное понимание... Дети и внуки выдающихся личностей всегда пишут мемуары, воспоминания, открывают и закрывают выставки. Одним словом, чтят память. Кому же и чтить, как не им?

Острая наблюдательность подсказала мне, что Глеб писать мемуары не собирался и вообще ему было как-то не по себе.

Но он все же принес фотографию, на которой его дедушка был изображен в полный рост.

Это был мужчина лет шестидесяти или семидесяти. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что в молодости люди меняются каждый год, а у старых людей трудно определить возраст. Ростом он был невысок, в плечах неширок.

— Почти все крупные личности выглядят хилыми и некрупными,— объяснил Святослав Николаевич.— Природа устремляет свое внимание либо на мышцы, либо на мозговые извилины. На то и другое у нее не хватает сил.

У Бородаева не было бороды. У него были усы.

— Отталкиваясь от своей фамилии, писатель мог бы отпустить бороду,— сказал Святослав Николаевич.— Но он не пошел по пути наименьшего сопротивления! Отсюда мы делаем вывод, что он не придавал значения внешним факторам, а только внутренним, то есть смотрел в существо, в глубь, в корень событий.

«Уголок Бородаева» расположился между подоконником и классной доской. Здоровенный Принц Датский один приволок огромный фанерный стенд.

В центре поместили фотографию писателя, под которой был указан год рождения и, через черточку, — год смерти. Черточка была короткая, а жизнь Гл. Бородаева была очень длинная: он скончался на восемьдесят третьем году жизни.

На стенде поместили любимые книги покойного писателя, которые Глеб тоже принес из дому. На каждой обложке стоял лиловый штамп: «Из личной библиотеки Гл. Бородаева».

Оказалось, что писатель любил детективы. И не стеснялся своей любви. Я сразу понял, что в его груди билось честное, благородное сердце.

Были тут и книги самого Гл. Бородаева. На них тоже стояли лиловые штампы. Опытный глаз смог бы безошибочно определить, что чаще всего у писателя брали почитать его повесть, название которой заставило меня вздрогнуть: «Тайна старой дачи». Она была самой затрепанной.

— Детектив? — шепотом спросил я у Глеба.

Он утвердительно мотнул головой.

— Дай почитать...

— Но это же экспонат! — вмешался стоявший рядом Покойник. И лениво кивнул на плакат, вывешенный Мироновой: «Руками не трогать!»

— Тебя не касается! — ответил я Покойнику с пло-

хо скрываемым раздражением. И вновь обратился к Глебу: — На одну только ночь!

— Хорошо, возьми, — сказал Глеб громко и внятно, как почти никогда раньше не говорил. Мне показалось, ему было приятно, что он может разрешить, а мог бы и запретить. Но потом я подумал: «Нет, у него такой гордый вид просто потому, что я хочу почитать книгу его дедушки. Я бы тоже гордился. Это вполне естественно!»

Повесть произвела на меня огромное впечатление. В предисловии было написано, что «она относится к позднему периоду творческой деятельности Гл. Бородаева». Значит, на старости лет он вдруг полюбил детективы. А мои родители уверяли, что увлечение детективами — «это мальчишество». О, какие легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем!..

Да, «Тайна старой дачи» меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе: убийство и расследование.

Зимой на даче пропал человек. Исчез, испарился, как будто его и не было! Это случилось ночью. Прямо под Новый год! Все окна и двери были заперты изнутри. Утром на снегу не нашли никаких следов. На протяжении трехсот двадцати трех с половиной страниц пропавшего искали следователи, собаки и родственники. Но напрасно... Это был единственный детектив из всех, которые я читал, где преступников не поймали.

В послесловии было написано: «Итак, преступников не обнаружили... Но зато обнаружила себя творческая индивидуальность автора! Он не пошел проторенным путем. В повести не найдешь «чужих следов», как не было их возле старой дачи после таинственного исчезновения... «Тайна старой дачи» так и осталась тайной. Зато читателю есть над чем поразмыслить!»

Я размышлял несколько дней.

Глеб сказал, что дедушка описал дачу, на которой прошли последние годы его жизни.

— Детективный период? — спросил я.

— Нет, он только одну эту книгу... Больше он ни одной... Это была последняя...

— Лебединая песня! — воскликнул оказавшийся рядом Покойник. Он любил встревать в чужой разговор.

— Вот бы съездить на эту дачу! — сказал я.

— Всего час... Если на электричке... — ответил Глеб.

— Экскурсия на место событий? — усмехнулся Покойник. Убийства Покойника не волновали: он привык думать о смерти.

Святослав Николаевич сказал, что «Уголок Бородаева» необходимо украсить семейными фотографиями.

На следующий день Глеб принес старую картонку, на которой усы у Гл. Бородаева почти совсем выцвели, лицо пожелтело. Он сидел в центре, а рядом стояли какие-то люди. Святослав Николаевич спросил у Глеба, кем они приходятся писателю. Глеб не знал.

— Вот наш кружок и прикоснется к поиску, к литературному исследованию! — воскликнул Святослав Николаевич. — Узнай дома, кто запечатлен фотографом на этой семейной реликвии.

Когда через три дня фотографию поместили на стенде, под ней была подпись: «Писатель Гл. Бородаев в кругу близких. Слева направо: сосед писателя, соседка (жена соседа), брат жены писателя, жена брата жены, друг детства писателя, жена друга детства (вторая), дочь друга детства, сын друга дет-



ства, сын сына друга детства...» Это были результаты исследования, которое провел Глеб.

— А сам-то ты где? — спросила у Глеба Миронова, которой поручили делать подписи под семейными реликвиями. У нее был самый разборчивый и красивый почерк.

— Я с дедушкой никогда... Я был еще маленьким... — ответил Глеб.

— Ну, что-о же ты? — печально протянула Миронова. — Ка-ак же ты так!

На следующий день Глеб принес фотографию, где он сидел в гамаке рядом с каким-то мужчиной. Опытный глаз мог бы заметить незаметное сходство между мужчиной и Глебом.

— Это папа, — объяснил Глеб. — А это вот я...

Под фотографией сделали подпись: «Слева направо: сын писателя, сын сына писателя».

Тогда Глеб принес еще три семейные реликвии: он был снят с дядей и тетей, с сестрой и братом, с двоюродным братом и двоюродной сестрой. Все его сразу узнавали на фотографиях:

— Вот он! Ну, как же... Вот он, присел на корточки! Почти что не изменился.

Миронова интересовалась, кем точно родственники, изображенные на фотографиях, приходится Гл. Бородаеву, и делала подписи.

Часто к нам стали забегать ребята из других классов.

— Кто это у вас тут внук писателя? — спрашивали они.

Мы указывали на Глеба. Сперва он пригнулся к парте, словно хотел залезть в нее от смущения. Но потом понемножку стал выпрямляться, уже не прятался, а протягивал руку и говорил:

— Очень приятно. Давайте знакомиться!..

Однажды на какой-то конференции старшеклассников Глеба выбрали в президиум. И объявили, из какого он класса. Чувство законной гордости возникло в наших сердцах! Если кто-нибудь теперь говорил, что не знает Гл. Бородаева, не читал его книг, мы возмущались: «Это позор! Каждому культурному человеку известно...»

На разных школьных собраниях нас начали ставить в пример другим:

— В этом классе умеют читать память знатного земляка! В этом классе любят литературу!..

— Каждый класс, как и человек, должен иметь свое лицо, свою индивидуальность, — объяснял Святослав Николаевич. — Раньше у нас этой индивидуальности не было. Теперь она у нас есть!

— Ты заметил, что Глеб стал говорить не хуже, чем мы с тобой? — спросила меня как-то Наташа Кулагина.

«...мы с тобой», — сказала она. Сердце мое забило. Я смотрел на нее с плохо скрываемой нежностью.

— Теперь он все фразы дотягивает до конца. Ты заметил?

Когда она обращалась ко мне, я всегда хотел сказать ей в ответ что-нибудь умное. Но ничего умного мне на ум в такие минуты не приходило. И я отвечал: «О, как ты права! Я думаю то же самое!..»

— О, как ты права! — ответил я ей и на этот раз. — Глеб стал говорить так же прекрасно, как мы с тобой. Я тоже заметил.

— Слава, оказывается, излечивает человека от застенчивости, от робости, — сказала Наташа.

А я подумал: «Эту мысль она обязательно запишет в свою тетрадку. Она рада, что Глеб излечился: ведь болезнь — это плохо, а излечение — всегда хорошо!»

— Он по-прежнему кормит собак? — спросила Наташа.

— Я не следил... Но я это узнаю! Клянусь: я это выясню для тебя! — крикнул я с плохо скрываемым волнением, потому что давно мечтал сделать что-нибудь для нее, выполнить ее задание или просьбу.

— Не надо узнавать, — сказала Наташа. — Может быть, ему сейчас некогда?

— О, конечно! Ведь его даже на общешкольные конференции приглашают!.. — воскликнул я.

И сразу же пожалел, что воскликнул. «Почему она так интересуется Глебом? Женщины любят знаменитостей. Я где-то читал об этом. Может быть, и она?..» — Эта мысль заставила меня похолодеть. Но лишь на мгновение. «Нет, она не такая!..» — сказал я себе. — Просто она патриотка нашего класса. А Глеб принес классу известность, вот она и интересуется». Ревность, которая готова была со страшной силой вспыхнуть в моей груди, уступила место доверию.

Однажды на уроке литературы, когда до звонка оставалось минут пятнадцать, Святослав Николаевич сказал:

— Сегодня Глеб по моей просьбе приготовил для нас всех небольшой сюрприз: он прочтет несколько писем своего дедушки. Они адресованы родным и близким писателя. Эти материалы из семейного архива представляют большую ценность: нам станет ясен круг интересов писателя, мы заглянем в мир его привязанностей, его увлечений.

Глеб, который раньше умирал от смущения, когда его вызывали к доске, на этот раз твердой, уверенной походкой прошел между рядами парт и сел за учительский столик: Святослав Николаевич уступил ему место.

О каждом письме Святослав Николаевич говорил, что оно «очень показательно». Если письмо было длинным, он восклицал:

— Как это показательно! Несмотря на свою занятость, писатель находил время вникать в мельчайшие проблемы быта. Отсюда мы можем понять, что он никогда не отрывался от жизни, которая питала его творчество.

Если же письмо было коротким, напоминало записку, Святослав Николаевич восклицал:

— Как это показательно! Краткость, ни одного лишнего слова... Отсюда мы можем понять, как занят был писатель, как умел дорожить он каждой минутой!

В другой раз, в конце урока литературы, Святослав Николаевич сказал:

— Давайте попросим Глеба Бородаева вспомнить какие-нибудь истории из жизни его дедушки.

Глеб опять прошел между рядами своей новой, твердой походкой, опять сел за учительский столик. Но ничего вспомнить не мог. Весь урок я боялся, что Святослав Николаевич вызовет меня к доске, и поэтому закричал:

— Подумай, Глеб! Вспомни что-нибудь!.. Это так интересно. Так важно!

— Вспомни! — стали умолять его и другие, которые боялись, что их вызовут отвечать.

— Вот видишь, какой интерес к биографии твоего дедушки, а значит, к литературе, — сказал Святослав Николаевич.

Глеб вспомнил, что однажды ходил с дедушкой в магазин.

До звонка оставалось еще минут десять.

— А что вы там покупали? — закричал я. — Это так показательно!

Глеб продолжал воспоминания...

В следующий раз мы с ребятами сами стали просить на уроке литературы:

— Пусть Глеб вспомнит еще что-нибудь. Пусть он расскажет!..

— Возникает живое общение с писательским образом! — сказал Святослав Николаевич.

Глеб вспоминал одну историю за другой. В его груди продолжало биться честное, благородное сердце, готовое прийти на помощь товарищам.

Ценность творчества Гл. Бородаева возрастала в наших глазах с каждым часом!..

ГЛАВА III,

в которой мы делаем еще несколько шагов навстречу страшной истории

Все, о чем вы прочитали в первых двух главах, было моим далеким воспоминанием: это случилось в прошлом году.

А в этом году Святослав Николаевич нас покинул.

Раньше, когда мы делали что-нибудь не так, как ему бы хотелось, Святослав Николаевич предупреждал:

— Я сбегу на пенсию, если вы решительно не изменитесь!

А прощаясь с нами, он был не в силах сдержать волнение. Слезы душили его и чуть было не задушили совсем.

Миронова подняла руку и спросила:

— Вам плохо?..

— Нет, мне хорошо! — ответил Святослав Николаевич. — Хорошо оттого, что я осознал чувства, которые испытываю к вам. Я знал вас всего год, но не забуду никогда... Никогда! Говорят, первая любовь — самая сильная, а я думаю, что последняя!..

Мы были его последней любовью! Чувство законной гордости возникло в наших сердцах.

Вместо Святослава Николаевича к нам пришла Нинель Федоровна.

Это было стройное существо лет двадцати пяти. Может быть, об учительнице так говорить нельзя? Но она была совсем не похожа на учительницу. И когда шла на переменке по коридору, ее вполне можно было принять за ученицу десятого или даже девятого класса. Выражение лица у нее было такое, что, казалось, она вот-вот расхохочется. Я никогда не встречал на лицах учителей такого странного выражения.

За глаза ее никто не называл по имени-отчеству, а все стали звать просто и коротко: Нинель.

Когда Нинель Федоровна пришла к нам в первый раз, она сразу обратила внимание на стенд, который был между подоконником и классной доской. Увидела огромную фотографию и спросила:

— А кто это такой, Гл. Бородаев?

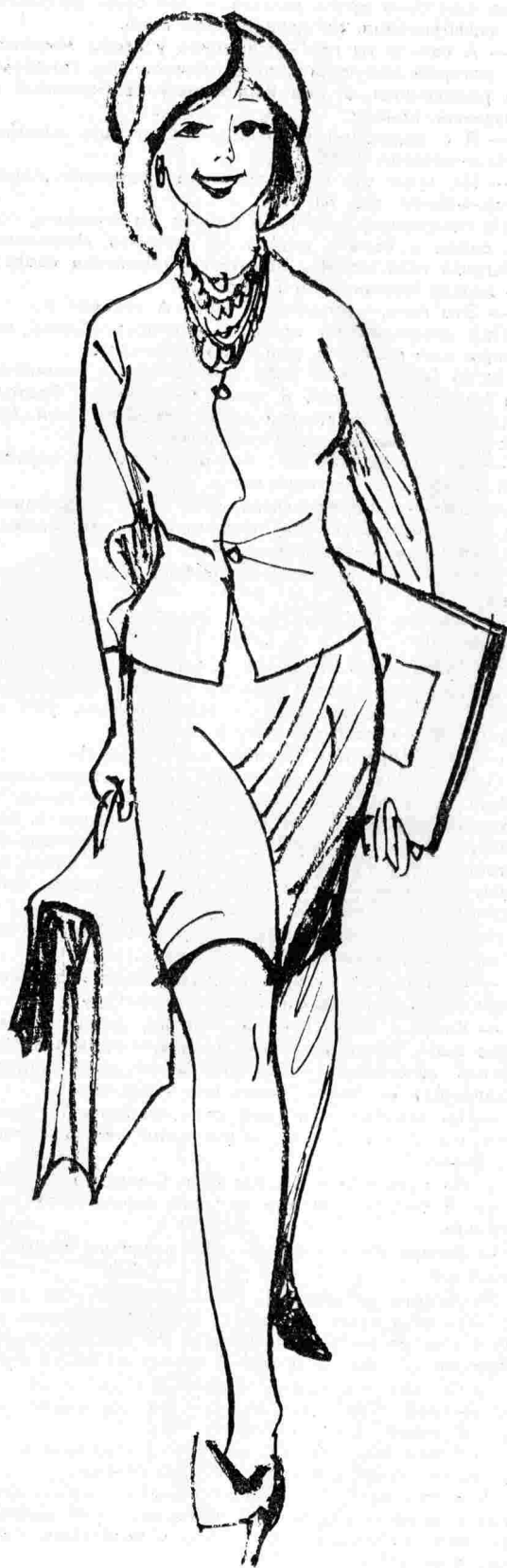
Мы просто похолодели и приросли к своим партам. Только Миронова не растерялась. Она любила подсказывать учителям. И тут тоже подняла руку, встала и объяснила:

— Бородаев — наш знатный земляк. Он творил во второй четверти этого века.

— А что он творил? — спросила Нинель Федоровна.

— Разные произведения, — ответила Миронова. — У нас есть литературный кружок его имени.

— Имени Бородаева? — Нинель Федоровна рассмеялась. Она была из другого города, до которого слава нашего знатного земляка пока еще не дотекла,



Миронова подняла руку и объяснила:

— У нас в классе учится внук писателя Бородаева. Он сидит на самой последней парте в среднем ряду. Он почетный член нашего литкружка.

— Почетный? Зачем такой громкий титул?

Нинель Федоровна заглянула в журнал.

— Пусть Глеб меня извинит. Я не читала книг его дедушки. Это моя вина. Когда выставка закроется, — она указала на стенд, — тогда я возьму все эти книги и прочитаю. Так что ты, Глеб, меня извини.

Мы еще сильнее похолодели. Во-первых, ни одна учительница никогда не просила у нас прощения. А во-вторых, она собиралась закрыть «Уголок Бородаева»...

Мне стало тоскливо: «Неужели старшеклассники не будут больше забегать к нам? И никто больше не скажет: «В этом классе умеют читать... В этом классе любят литературу!» Мы станем самым обыкновенным классом. Как все... Неужели?»

Другие ребята тоже затосковали. Я чувствовал это: все словно замерли, даже тетрадки не шелестели.

Миронова снова подняла руку.

— А мы готовим специальное собрание кружка, посвященное творчеству знатного земляка...

Она очень хотела помочь новой учительнице поскорей во всем разобраться.

— В какой четверти нашего века творил Бородаев? — переспросила Нинель Федоровна.

Миронова взметнула вверх руку и выпалила:

— Во второй!

Она любила подсказывать учителям.

— А мы давайте начнем с первой четверти прошлого века, — предложила Нинель Федоровна. — С Пушкина, например... Потом пойдем дальше. И так постепенно доберемся до Бородаева.

— У нашего кружка творческая направленность, — сказал Покойник. — Мы сами сочиняем.

— Я тоже пишу стихи, — сообщила Нинель Федоровна. — Когда-нибудь вам прочитаю. Если наберусь храбрости. Что вам еще хочется узнать обо мне? Я не замужем. Играю в теннис. Учителя никогда не рассказывают о своей личной жизни. А узнать интересно! Это я по себе знаю. Помню...

Она начала мне нравиться. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что и другие ребята ожили: они задвигались, зашевелились.

— В этом городе, — сказала она, — у меня нет ни родственников, ни знакомых, ни близких. Теперь вот вы будете... Если получится.

Раньше, когда раздавался звонок, все сразу выскакивали из класса. А тут стали медленно подниматься, будто отяжелели от разных дум и сомнений.

Я подошел к Нинель Федоровне и сказал:

— Знаете, у Бородаева есть повесть «Тайна старой дачи»... Потрясающий детектив! Весь наш кружок хотел съездить на эту дачу. Походить по местам событий... Это недалеко: всего час, если на электричке.

— Он писал детективы? — шепотом спросила Нинель Федоровна. И кивнула на фотографию Бородаева.

— А вы любите их?! — воскликнул я с плохо скрываемым волнением.

— Все любят. Только некоторые не сознаются. Стесняются!..

«У нас полное родство душ! — подумал я. — Она угадывает мои мысли!..»

Ребята начали выходить в коридор. Только Глеб остался сидеть на своем месте, пригнувшись к парте. Рядом стаял Принц Датский.

Нинель Федоровна подошла к ним. И я подошел.

— Мы решили поехать на старую дачу, — сказала она. — В одно из ближайших воскресений. Пока еще осень... Ты, Глеб, будешь нашим проводником?

— Я, пожалуйста... Если, конечно, вы... А я с удовольствием... — Он опять перестал договаривать фразы.

Когда Нинель Федоровна отошла, Принц Датский пообещал Глебу:

— Я напишу к этому дню стихотворение! Может, тебе будет приятно?..

И погладил Глеба по голове. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что физическая сила сочеталась в Принце с детской застенчивостью и добротой.

В коридоре меня остановила Наташа Кулагина. Это случилось так редко, что я буквально затрепетал.

— На твоём месте я бы в нее влюбилась, — сказала Наташа. И так пристально посмотрела, что внезапная догадка озарила меня: «Испытывает! Ревнует!..»

О, как часто мы выдаем желаемое за действительное!

— Влюбиться? — громко переспросил я. — Ну, что ты? Какие для этого основания?..

— Значит, у тебя нет вкуса. Она прелестна! «Неужели, и правда, хочет, чтоб я влюбился? Неужели ей все равно?» — С этой тягостной мыслью я слонялся по коридору всю перемену.

Примерно через неделю Нинель Федоровна сказала:

— Я готовлюсь к теннисным соревнованиям. На первенство города... Кто хочет, может прийти на тренировку. Я вас там встречу, на стадионе. Правда, это на краю города. Но вы доберетесь: троллейбус, потом трамвай. Знаете?

Приехали почти все. Она бегала по корту в белой майке и в белых трусах.

Не многие классные руководители решились бы бегать перед своими учениками в таком виде. А она решилась. Потому что она была молода и прелестна!

Все мы, выражая чувства, охватившие нас, орали: «Нинель Федоровна! Нинель Федоровна!..»

— Никогда еще не слышал, чтобы болельщики называли своих кумиров по имени-отчеству, — сказал пожилой человек в шляпе, который сидел впереди меня.

Через несколько дней созвали родительское собрание. Мама и папа были в тот вечер заняты. Пошел мой старший брат Костя. Он уже не первый раз ходил на такие собрания.

Я не ложился спать, пока не дождался Костю: он всегда подробно пересказывал мне, что говорили родители, а что учителя. Это было так интересно!

Когда Костя вернулся, мама с папой были уже дома.

— Ну, что?! — набросился я на брата.

— Защищал вашу Нинель!

— На нее напали?

— Еще как!

— Кто посмел?

— Ваши родители... Не все, конечно. Но некоторые.

— Что они говорили?

— Во-первых, она отобрала у вашего класса его лицо, его индивидуальность. Во-вторых...

— Во-вторых, ему давно уже пора спать! — сказал папа. Он считал, что нельзя в моем присутствии подрывать авторитет взрослых, особенно же учителей.

Костя махнул рукой.

— В общем, я ее защищал.

— Она ведь тебе понравилась? — спросил папа, тоном своим как бы подсказывая брату ответ. — Ведь понравилась?

— Да, очень хорошенькая! — ответил Костя.
Острая наблюдательность давно подсказала мне, что люди в трудную минуту хватаются за то, что у них болит: кто за голову, кто за сердце. Папа схватился за бок.
— А что такого? — спросил Костя. И пошел спать.

ГЛАВА IV,

в которой мы отправляемся на старую дачу

На следующий день опытный глаз мог бы почти безошибочно определить: никто в классе, кроме меня, не знал о том, что на собрании ругали Нинель.

«Все-таки лучше, когда на родительские собрания ходят не родители, а братья, — думал я. — Если бы папа не остановил Костю, я узнал бы все до конца!»
Утром я поймал брата в ванной.

— Скажи, за что они набросились на нее?

— Пожалуй, старик прав: ты разболтаешь об этом в классе. А она такая хорошенькая! Хорошая, я хотел сказать...

— Никто не узнает! Никто!..

— Знаю тебя!

Костя полез под душ.

Перед уроками ко мне подошла Наташа Кулагина. «На этой неделе она подходит уже не первый раз! — подумал я с плохо скрываемой радостью. — Это, значит, уже не случайность!..»

О, как часто мы выдаем желаемое за действительное!

— Мама вчера не была на собрании, — сказала Наташа. — Интересно узнать, о чем там говорили.

Ее желание было для меня законом! И я сказал:

— Там ругали Нинель.

— Кто ругал?

— Родители. Не все, конечно. Но некоторые...

Губы ее задрожали. Наташа сказала громко и возмущенно:

— А другие молчали?

— Мой брат не молчал! Он бросился на защиту Нинель. Она ему нравится.

— Значит, у него вкус лучше, чем у тебя.

О, если бы в эту минуту она могла взглянуть в зеркало, она бы поняла, какой у меня замечательный вкус!

— Мама больна... — сказала Наташа. — Она бы сумела им объяснить.

— Чем больна твоя мать?! — воскликнул я. — Может быть, надо помочь? Прикажи мне, скажи одно только слово, и я сделаю все.

Наташа взглянула на меня с испугом. И даже отступила на шаг.

— Ты сам-то здоров?

— О, не смейся! — воскликнул я с плохо скрываемой горечью и обидой. — Может быть, надо достать лекарство? Моя тетя работает в аптеке и всегда достаёт...

— Маме прописано только одно лекарство: не волноваться, полный покой! Это лекарство твоя тетя достать не сможет. Его в нашем веке просто не вырабатывают.

Я подумал, что эту мысль она непременно должна записать в тетрадку!

«Какой наша Нинель сегодня придет в класс? — размышлял я. — Наверно, никому уже не будет казаться, что она вот-вот расхохочется. Она будет взволнована. Что нам тогда делать? Успокаивать ее?

Нет, нельзя. А может быть, она будет так спокойна, как никогда?..»

Нинель Федоровна была абсолютно такой же, как раньше.

— Мы с вами должны будем посоветоваться. Как-нибудь после... — сказала она. — Может, в чем-то я была неправа. Кстати, и о старой даче пора уже вспомнить. Я вам обещала. Подышим, погуляем в осеннем лесу. Глеб будет нашим проводником.

«Мы поедем на старую дачу! Походим по комнатам, которые описаны в повести... Я увижу стол, за которым работал Гл. Бородаев. Это так интересно: ведь мы с ним, можно сказать, коллеги!» — так я мысленно ликовал, не подозревая в те радостные минуты, что страшная история была совсем близко, почти рядом...

«Уголка Бородаева» в нашем классе уже не было. На стенде, который притащил Принц Датский, была устроена выставка, посвященная Пушкину: мы как раз проходили его стихи. Верней, изучали... Нинель говорит, что «проходить» можно только мимо чего-нибудь.

Глеб принес мне из дому повесть Гл. Бородаева. И я прочитал ее еще раз. А полстраницы прямо-таки выучил наизусть:

«Никто не знал его имени, ни тем более отчества и фамилии. Все звали его просто Дачником. Это прозвище как нельзя лучше соответствовало его положению в ту зиму: он снял угловую комнату на втором этаже старой дачи, выходящую единственным окном своим прямо в сад. Дачник почти никогда не покидал эту комнату.

А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью! Сперва она явно заигрывала с Дачником: кокетничала ослепительными лучами, забиралась к нему в комнату студеным ветром, постукивала по стеклу обнаженными ветками... Но он не обращал на нее внимания, и она обозлилась: задула, засвистела, заулюлюкала. Обозлились и соседи по даче: он не пытался развлечь их разговором в монотонные зимние дни. Никто не видел, что он ест, что он пьет. Перед сном он прогуливался минут пятнадцать, не более... Последний раз в жизни он прогулялся в канун Нового года. Слышали, как в полночь он поднялся в комнату по ворчливо-скрипучей лестнице. А утром его не стало... Дверь, выходящая прямо на лестницу, была заперта изнутри. Окно, выходящее прямо в сад, было закрыто. На снегу — никаких следов. Дачник исчез».

Так начиналась повесть. Потом, как я уже говорил, на протяжении трехсот двадцати трех с половиной страниц Дачника искали следователи, собаки и родственники, которых у него оказалось ужасно много. От них-то он, как выяснилось, и скрывался на даче: они мешали ему что-то изобрести... «Он искал покоя, — было сказано в повести, — но не того, который нашел. Хотя... До сих пор ничего не известно. Поиски продолжаются».

— Дедушка хотел дальше... Продолжение... Но он... Понимаешь? — объяснил мне Глеб.

И вот мы должны были отправиться на место загадочного происшествия! Да, все, о чем рассказывалось в повести, оказывается, не было вымыслом, а случилось на самом деле. Об этом сообщил мне в то самое воскресное утро внук писателя. Он скрывал это раньше: думал, что мы побоимся ехать прямо на место свершенного преступления.

— Ты-то я знал, что нет... — сказал Глеб. — Ты Детектив! А другие?..

— Другим — ни слова! — сказал я.

Потом Глеб сообщил мне другую новость, и она

повергла меня во временное смятение: Нинель Федоровна заболела.

— Ясно: нервное потрясение, — сказал я. — Довели!

— Не-ет, — стал объяснять Глеб. — Ей комнату в новом доме... Переезжала... И вот! Простуда...

Мы разговаривали в школьной канцелярии, где все члены литературного кружка договорились собраться.

— С остальными я поеду за город в другой раз: зимою, на лыжах, — пообещала накануне Нинель. — Всем сразу на дачу являться неловко: все-таки там не музей. Там же люди живут...

Я пришел минут за тридцать до срока: мне не терпелось. А Глеб еще раньше.

— Дежурная передала... Еще вчера вечером... Я заходил... — пояснил Глеб. — Нинель Федоровна ей... По телефону...

— А почему ты вчера же не сообщил нам? Или хотя бы мне одному?

— Боялся, что вы того... Не поедете... Может, мы сами? Без нее? А?.. Как ты считаешь? Или нет?.. Там можно расследовать... Раскрыть... Понимаешь? Ты ведь у нас Детектив!

Я погрузился в раздумье. И в этом состоянии находился довольно долго. До тех пор, пока не показали Наташа Кулагина, Принц Датский с Покойником и Миронова.

Принц Датский прямо с порога сообщил:

— Сегодня утром пришли на ум кое-какие строчки. Может, вам будет приятно?

Он протянул тетрадный лист Покойнику. Принц никогда не читал своих стихов сам: он стеснялся. Покойник громко, нараспев, подражая настоящим поэтам, продекламировал:

Этот день для нас так много значит:
Мы давно стремились к старой даче!
И хотя закрыли тучи небо,
Едем мы под руководством Глеба!
Сквозь дождя и ветра кутерму
Он везет нас к деду своему!..

Добрый Принц учел, что уже давно никто не просил Глеба вспоминать истории из жизни его дедушки, читать письма. Давно уже никто не разглядывал фотографии из семейного архива Бородаевых.

Прослушав стихи, Глеб как-то приосанился, лицо его просветлело. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что Глеб вспомнил о тех днях, когда им интересовалась вся школа.

Добрый Принц призвал его руководить нами, и Глеб сразу заговорил громче и уверенней, чем обычно.

— Неизвестно, поедем ли мы, — сказал он. — Нинель Федоровна заболела.

— Чем? — спросила Наташа Кулагина.

— Переезжала в новый дом... И вот... Простудилась, — пояснил Глеб.

— Может быть, надо помочь?

— Где эта улица? Где этот дом? — лениво пропел Покойник.

— Адрес?.. Его, наверно, никто... — сказал Глеб. И твердо добавил: —...не знает!

Он старался дотягивать фразы до конца: ведь Принц назвал его нашим руководителем.

— Поедем на дачу сами! — твердо сказал я, обращаясь сразу ко всем.

Пока не было Наташи Кулагиной, меня полчаса терзали сомнения. Но как только она появилась, решимость немедленно овладела мною: «Не ехать нельзя! Когда я еще смогу быть целый день рядом с нею? Сама судьба буквально подсовывает мне этот счастливый случай! Смею ли я отказаться? А вдруг

я в ее присутствии и правда что-нибудь расследую, распутая что-нибудь такое, чего не расспутали следователи и родственники? Она поймет, что я ношу свое прозвище не из-за синего мешка с галошами, а по более серьезным причинам. И наконец-то оценит...»

— Люблю грозу в начале мая! — сказал Покойник. — Но в двадцатых числах сентября...

Вялым жестом он указал на окно.

— И еще неизвестно, как Нинель Федоровна отнесется, — сказала Миронова. — Она хотела сама лично погулять с нами по лесу. Подышать!

— Нас там очень... Я вчера вечером по телефону, по междугородному... — сказал Глеб. И решительно дотянул: —...предупредил, что мы сегодня приедем.

— Да-а, ехать или не ехать — вот в чем вопрос! — воскликнул Принц Датский.

Тут раздался телефонный звонок.

Глеб все еще чувствовал себя нашим руководителем и поэтому схватил трубку.

— Да! Кто? Это вы, Нинель Федоровна? — Нежная, бархатная кожа его лица покрылась румянцем. — Да... Мы все... Вот не знаем, ехать ли... — И он решительно дотянул: — ...или без вас не ездить?

Внезапно глаза Глеба вспыхнули немислимой радостью. Острая наблюдательность подсказала мне, что Нинель говорит ему что-то приятное.

— Ага, понимаю... Хорошо, мы поедем. Раз вы разрешаете... Передать трубку Алику?

Я выхватил трубку. Она была слегка сыроватой — так Глеб волновался.

— Слушаю вас, Нинель Федоровна! Ах, ангина? Ладно, я помогу Глебу. Обещаю вам! Спасибо, что доверяете!

Мне хотелось, чтобы Наташа Кулагина по ответам моим поняла: Нинель Федоровна именно меня попросила помочь Глебу, именно мне сказала, что доверяет. Чувство законной гордости переполнило мое сердце.

— Какая у вас температура? — крикнул я весело: у меня было отличное настроение. Но сразу же спохватился и с тревогой добавил: — Надеюсь, что невысокая?

— Тридцать восемь и пять, — сказала она. И повесила трубку.

— Мы должны оправдать доверие, — сказал Глеб четко и громко.

— Да? Ты считаешь? — промямлил Покойник.

— Теперь уже надо ехать, — сказала Миронова. — Раз она сама позвонила!..

— Слушайте все внимательно! — скомандовал Глеб. — Электричка уходит в девять пятнадцать. Все — за мной, чтобы не потеряться. Не отставайте! Куда я, туда вы!..

— Ты сказала как-то, что слава излечивает от робости и застенчивости, — пропентал я Наташе уже в вестибюле. — Верная мысль! Глеб опять излечился!..

— Очень жалко, — сказала Наташа.

Мы вышли на улицу.

А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью...

Погода была отличная! Лил дождь, ветер хлестал в лицо, земля размокла и хлопала под ногами... «Это создаст нужное настроение, — думал я. — Ведь мы едем не развлекаться, а на место таинственного преступления!»

— Пушкин любил осень, — сказал промокший Покойник. — Спрашивается: за что?..

ГЛАВА V,

которая подводит нас буквально к самому порогу страшной истории

Пока мы ехали на электричке, погода испортилась. Выглянуло солнце. Природа явно заигрывала с нами: она кокетничала осенними лучами, забиралась к нам под пальто прохладным ветерком, махала нам обнаженными ветками... Разве можно в такую погоду как следует настроиться на мысль о преступлении?!

Но я все же настроился... Накануне я услышал по радио, что, оказывается, когда композитор Бородин умер, его друзья закончили за него оперу «Князь Игорь».

Это было для меня абсолютным открытием! Оно натолкнуло меня на идею. И даже на несколько идей сразу... Может быть, мне удастся закончить повесть Гл. Бородаева? Вдруг я сумею разгадать тайну: куда девался тот человек? И напишу вторую часть «Старой дачи». Я прочту ее на литературном кружке. И Наташа Кулагина запишет в свою тетрадку какую-нибудь замечательную новую мысль. «Конечно, его нельзя сравнить ни с Покойником, — напишет она, — ни даже с Принцем. И вообще ни с кем!..»

Я не знал, не мог даже предположить, что в тот день, в то самое обычное воскресенье... Но не буду забегать вперед, хотя мне очень хочется забежать. Бледный Покойник ожил под солнечными лучами и произнес:

— «Да здравствует солнце!» — сказал как-то Пушкин. И в этом я с ним согласен.

Когда мы сошли с поезда на дощатую платформу маленькой дачной станции, Наташа стала оглядываться.

— Кого ты ищешь? — спросил я с тревогой.

— Вон расписание... Я должна вернуться к шести или семи часам. Не позднее! Чтобы мама не волновалась.

— Она все еще не встает?

— Нет, — сказала Наташа. — Сердце...

Я бросился к расписанию. Мне казалось, что кто-то хочет меня обогнать. Так всегда бывает, всегда: если какое-нибудь существо становится небезразличным, думаешь, что оно нравится всем вокруг и все испытывают те же чувства, что ты. Эта мысль не дает покоя!

— Есть электричка в 17.00! — доложил я. — А потом в 20.10.

— Нам надо в семнадцать! Мы успеем?

«Нам... мы...» — Я готов был слушать эти слова бесконечно!

— Идемте! — скомандовал Глеб.

От станции шли минут сорок, не более. Но и не менее, потому что я следил по часам. Специально взял у Кости часы, будто заранее знал, что они в этот день... Нет, забегать я не буду. Не буду!

— За мной! За мной! — командовал Глеб. Ему нравилось быть начальником. — Только не отставать!

Я его просто не узнавал.

Судьбе было угодно, чтобы дорога к даче была очень запутанной. Это мне нравилось: мы двигались, словно по лабиринту, — то сворачивали в лес, то шли между дачными заборами, то петляли вокруг каких-то сараев, то опять углублялись в лес... Казалось, удирая от кого-то, мы старались запутать следы.

Я подумал, что без Глеба нам ни за что не добраться обратно на станцию.

— За мной! За мной! — поторапливал Глеб. И вновь куда-то сворачивал.

Наконец он остановился. И мы тоже.

— Пришли! — сказал Глеб.

Я взглянул — и увидел ее. Она выходила одной стороной прямо на дорогу, а другой — прямо в лес. Меня сразу поразило то, что старая дача вовсе не была старой.

— Ее покрасили, что ли? — спросил я у Глеба.

— Нет, она всегда такая была.

— «Тайна старой дачи» — это звучит? — спросил у меня Покойник.

— Звучит.

— А «Тайна новой дачи»?

— Не очень.

— Теперь понял? Знаешь, что такое авторский домысел?

Принц Датский смотрел на Покойника с уважением.

А я лично терпеть не мог, когда Покойник начинал изъясняться «вопросами», будто устраивал кому-то экзамен.

— Почему не видно доски? — сказал он.

— Какой? — спросил Глеб.

— Мемориальной, конечно! «Здесь жил и умер...»

— А он не здесь...?

— Тогда по-другому: «Здесь жил и не умер писатель Гл. Бородаев»!

«Может, Покойник все-таки хочет поставить над своим очередным стихотворением буквы Н. К.? — подумал я. — Чего он вдруг в Наташином присутствии так старается?»

Принц Датский продолжал смотреть на него с уважением.

Я решил немедленно перехватить инициативу.

— Больше я не могу молчать. Вы должны узнать кое-что важное, — сказал я. — То, что написано в повести Гл. Бородаева, — это не авторский домысел. Здесь, на этой вот даче, исчез человек... Как будто его и не было! Мы с вами пойдем не по следам повести, а по следам преступления...

Покойник притих.

— На даче кто-нибудь есть? — спросил я у Глеба.

— Дачники все уехали.

— До одного?.. — прошептал Покойник.

— Ну да, это же видно! — бодро ответил я. — В поселке сейчас ни души. Кричи не кричи, никто не услышит.

— А зачем нам кричать? — спросила Наташа.

— О, не бойся! — воскликнул я. — Конечно, всякое может случиться. Но я... то есть мы тут, рядом. Все-таки исчез человек...

«Если бы мне представился случай от чего-нибудь ее защитить!» — подумал я в ту минуту.

Миროнова подняла руку.

— Нинель Федоровна сказала: «Подышим, погуляем в осеннем лесу!»

Острая наблюдательность подсказала мне, что Миროнова не боится: она просто и на расстоянии подчинялась классной руководительнице. Такой у нее был характер.

— Сначала подышим воздухом, которым дышал Гл. Бородаев! — ответил я ей.

— А как мы туда попадем, в эту дачу? — спокойно спросил Принц Датский.

— Дверь открыта, — сказал Глеб. — Я же предупредил, что мы будем. Вчера по междугородной...

— Пошли! — крикнул я. — Не бойтесь!

И первым вошел в дачу.

Там было тихо. Только сверху раздавалось какое-то бормотание. Все застыли. Я тоже вздрогнул... Но даже опытный глаз не смог бы этого определить: я вздрогнул внутренне, про себя.

— Это племянник хозяйки, Григорий,— сообщил Глеб почему-то не сразу.— Он сторожит все дачи в поселке. Он ждет нас... И все нам расскажет.

«Та самая лестница! — подумал я.— «Ворчливо-скрипучая», как написано в повести. По ней в новогоднюю ночь шел Дачник после своей последней прогулки. Больше он не гулял!..»

Мы стали подниматься по «ворчливо-скрипучей» лестнице. Она не скрипела. «Понятно: авторский домысел!» — сказал я себе.

Сверху, из комнаты, стали ясно доноситься слова: — Вы так?... А мы вас — бац по загревку! Вы все-таки трепыхаетесь? А мы вас по шее — трах!..

Покойник остановился. За ним и все остальные.

Сверху неслось:

— Ах, вы еще живы? Тогда получите! И еще, и еще, и еще!..

— Что там происходит? — спросил Покойник.

— Может быть, надо помочь? — воскликнул я. Бросил прощальный взгляд на Наташу и кинулся наверх.

Дверь угловой комнаты была приоткрыта. Племянник Григорий играл сам с собой «в дурачка». Он «ходил» и за себя и за противника, которого не было.

— Ах, вы еще дышите? Вот вам! Вот вам еще!

Он стал подкидывать «королей».

— Сюда! Смелее сюда! — крикнул я, словно взобрался на вершину горы, а остальные были еще где-то на склоне.

Миронова зашагала: она подчинялась командам.

Глеб тоже взбежал наверх. Поднялась и Наташа. Принц Датский прикрывал собою Покойника.

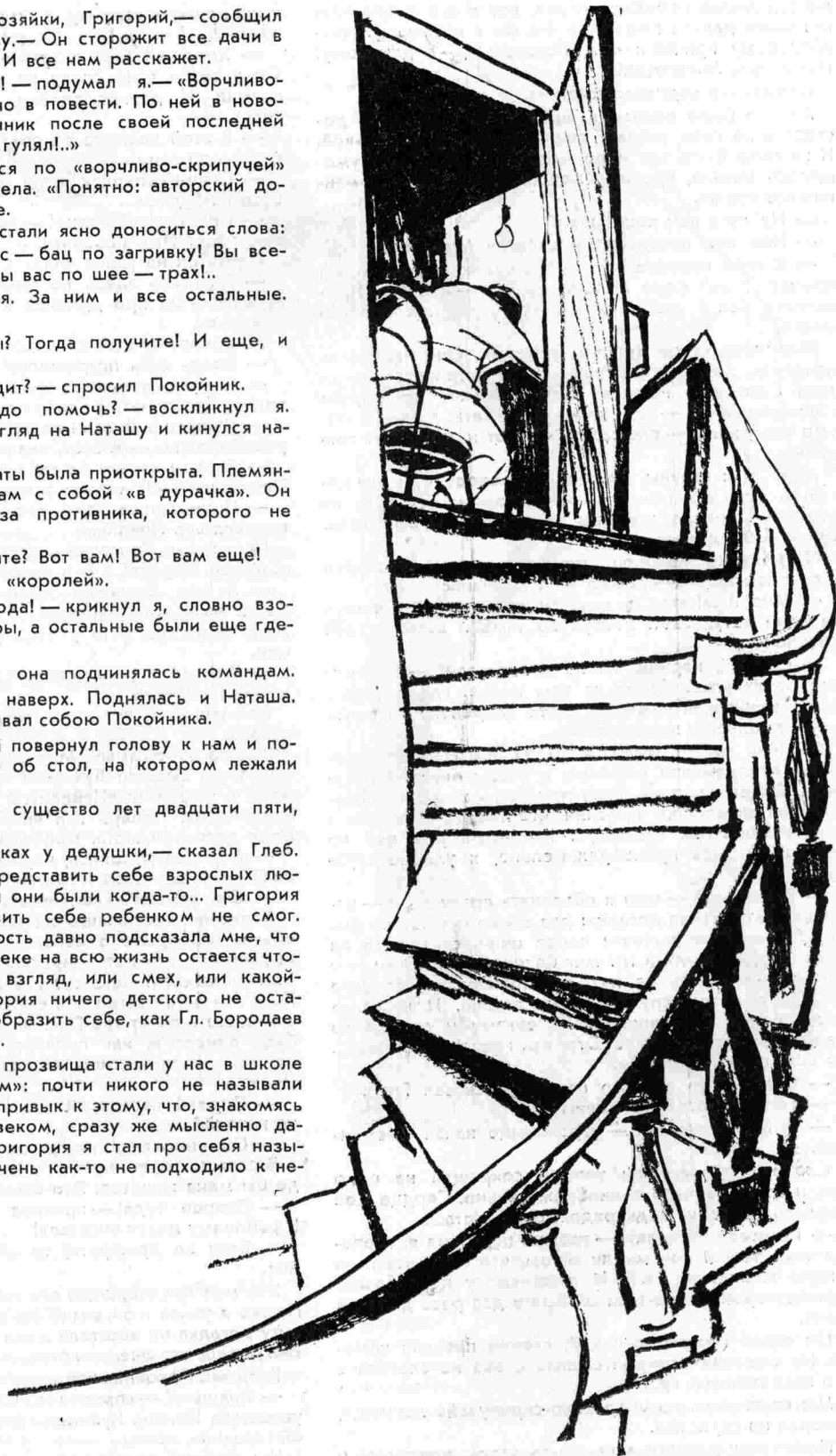
Племянник Григорий повернул голову к нам и погасил папиросу прямо об стол, на котором лежали карты.

Это было огромное существо лет двадцати пяти, не более.

— Он вырос на руках у бабушки,— сказал Глеб.

Я часто стараюсь представить себе взрослых людей детьми, которыми они были когда-то... Григория я почему-то представить себе ребенком не смог. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что почти в каждом человеке на всю жизнь остается что-нибудь детское: или взгляд, или смех, или какой-нибудь жест. У Григория ничего детского не осталось... И я не мог вообразить себе, как Гл. Бородаев таскал его на руках.

Я уже говорил, что прозвища стали у нас в школе «повальным бедствием»: почти никого не называли по имени. Я до того привык к этому, что, знакомясь с каким-нибудь человеком, сразу же мысленно давал ему прозвище. Григория я стал про себя называть Племянником. Очень как-то не подходило к не-



мы это милое семейное слово, вот я его и прозвал: мы часто давали прозвища как бы в насмешку. Низкорослому кричали: «Эй, Паганель!», — а длинному: «Пригнись, Лилипутик!»

Племянник поднялся со стула.

Можно было подумать, что ему от рождения досталась не своя голова: она была очень маленькой. И на лице было так мало места, что на нем не умещалось ничего, кроме усмешки. Усмехался Племянник все время.

— Ну, чего вам показывать?

— Нам все интересно! — сказала Миронова.

— В этой комнате тот самый чудак жил, который пропал. Залез сюда под Новый год — и баста. Провалился, как будто мать родная не родила. Собираете?

Миронова сразу стала записывать. Она на всяких докладах, лекциях или творческих встречах записывала буквально каждое слово. Скажет докладчик: «Здравствуйте!» — она начинает писать. Скажет он: «До свидания!» — она тоже запишет и захлопнет тетрадь.

«Туго, как струны, натянутые провода чуть не касались окна его комнаты...» — вспомнил я строки из повести. Провода, в самом деле, «чуть не касались». Тут не было домысла.

«Пора уже наконец по-настоящему оправдать свое прозвище!» — решил я. И произнес:

— Мне помнится, в повести сказано: «В полночь на даче потух свет. Утонул во тьме и весь дачный поселок...»

— Слушай, парнек, ты не высказывай!.. — Племянник отмахнулся, будто на том месте, где я стоял, вдруг зажужжал комар. В слове «парнек» он почему-то пропустил первое «е».

Я очень любил, чтобы на меня при Наташе Кулагиной поглядывали девчонки и чтобы она это замечала. Я был счастлив, если при ней ко мне обращались за помощью, просили что-нибудь объяснить: задачку или там теорему... Но когда при ней ко мне относились пренебрежительно, я ужасно страдал.

— Понимаете, — стал я объяснять сразу всем, — спрашивается такая догадка: раз электричества не было, Дачник мог вылезти через окно, схватиться за провода (они были в тот миг безопасны!), потом мог долезть, цепляясь за них, как циркач, до первого столба, а потом спуститься на землю. И навсегда скрыться от родственников! Поэтому и следов на дачном участке не было. Это, как говорят, гипотеза... То есть предположение.

— Окно было заперто изнутри, — сказал Глеб.

— Тогда гипотеза отпадает!

— Если ты, парнек... — угрожающе начал Племянник.

Слово «парнек» он упорно сокращал на одно «е», и слово звучало пренебрежительно. Сердце мое сжалось от боли: ведь рядом была Наташа.

— Гипотеза отпадает! — громко повторил я, треща всем телом при мысли о том, что он совсем уж унижает меня при ней. И я не смогу потребовать удовлетворения: все-таки он был в два раза длиннее меня.

Он снова махнул ручищей, словно прогнал комара. Но все-таки оскорбительные слова не слетели с его насмешливых губ.

Мы спустились по «ворчливо-скрипучей» лестнице, которая не скрипела.

Племянник распахнул какую-то дверь, пригнулся и вошел в комнату. Мы тоже вошли. Комната перехо-

дила прямо в террасу, а терраса выходила прямо во двор.

— Хороший был писатель, — сказал Племянник. — Он у тетки дачу сразу на полгода, а то и на год снимал. И деньги вперед платил. Хороший писатель!

— В этой комнате он создавал свою «Старую дачу»? — спросил я.

— Слушай, парнек, если ты будешь высказывать... Если ты будешь...

— Понятно! Понятно! — перебил я. — Я нарушаю ваш план? Это, поверьте, от нетерпения!

Опять он не успел унижить меня при ней.

— Писатель здесь не писал, — сообщил нам Племянник. — Он про Дачника в подвале писал. В подземе...

Миронова продолжала записывать.

— Здесь есть подземе? — шепотом спросил я.

— Он утром залезет туда — и баста. До обеда не видно, будто мать родная не родила... Собираете?

— Философ Диоген сочинял в бочке, — лениво изрек Покойник. — А этот, значит, в подвале?

— Он там страху на себя нагонял, — объяснил нам Племянник. — Там сыро, темно...

— Понимаю: входил в настроение! — продолжал выхвально Покойник.

Племянник Григорий почему-то не крикнул ему: «Слушай, парнек!..» — а рассказывал дальше:

— Я там бумажки какие-то нашел, листочки... Хотел выбросить, а тетка говорит: «Снеси-ка в музей!» Я и снес. Есть у нас музей на соседней станции.

— Видимо, краеведческий, — высказал предположение Покойник.

Племянник и тут не цыкнул на него, а спокойно сказал:

— Ага, этот самый. Мне благодарность в письменном виде выдали! Бумажки эти под стеклом разложили и написали: «Найдены и доставлены Григорием Шавкиным». Теперь все читают. Экскурсантам про меня рассказывают... Собираете?

— Еще бы: рукописи, черновики! — снова вмешался Покойник.

— Они самые! — согласился Племянник.

Я давно заметил, что личности вроде Племянника обычно выбирают одного какого-нибудь человека и начинают к нему придирается: «Ну, чего смотришь? Чего уставился? Чего тут стоишь? Чего тут сидишь?» Хотя все остальные тоже смотрят, тоже стоят и тоже сидят. Но типы вроде Племянника выбирают кого-нибудь одного и, как правило, самого симпатичного, самого интеллигентного человека. Племянник выбрал меня...

— Слушай, парнек, чего в пол уставился? Слушать не хочешь?

— Он, вероятно, задумался, — сказал Покойник.

Все посмотрели на него с благодарностью: он вроде бы меня защитил. Это было невыносимо!

— Скорее туда! — крикнул я. — В подземе!.. К рабочему месту писателя!

— Если не дрейфите, то айда! — сказал Племянник.

Это мое предложение его почему-то не разозлило. Позже я узнал почему! Но в ту минуту... В ту минуту догадка не захотела меня озарить, хотя вообще она делала это очень охотно.

Бледный Покойник топтался на месте.

— Боишься? — спросил я шепотом, но так, чтоб услышала Наташа Кулагина. Я должен был раскрыть ей глаза!

Мы стали спускаться по ступеням, на которых скользила нога: может быть, это была сырость,



а может быть, даже плесень... Радостное волнение охватило меня: по таким вот ступеням спускались в подполье настоящие сыщики. Они спускались, зная, что могут уже никогда не подняться!..

«О, если бы нас поджидала там какая-нибудь опасность! — мечтал я. — Наташа бы в страхе бросилась не к Покойнику, а ко мне, и я бы нашел выход из положения. Я спас бы ее! Но, к несчастью... Раз туда каждый день залезал Гл. Бородаев, значит, ничего опасного там быть не может. И я не смогу доказать ей...»

— Эй, парнек, опять ты того... поперед батьки в подвал лезешь! Я свет зажгу.

Он повернул выключатель. И сквозь приоткрытую дверь, обитую, как и полагается, ржавым железом, выползла полоска тусклого света. В повести Гл. Бородаева свет всегда «выползал» из приоткрытых дверей или «мрачно выхватывал» что-то из темноты, а потом, когда двери закрывались, он «уползал» обратно. Это я хорошо помнил.

Племянник с трудом раскрыл дверь до конца. Она завизжала на плохо смазанных петлях. В повести у Гл. Бородаева все дверные петли были обязательно плохо смазаны и визжали. Это я тоже помнил.

Итак, все было прекрасно, как в самых настоящих детективных произведениях!

— Валяйте! — сказал Племянник.

Миронова опередила всех: она любила выполнять приказания. Племянник пропустил нас в подвал. Последним вошел Покойник... На меня приятно пахнуло гнилью и плесенью. Я вдыхал полной грудью!

Внезапно дверь с визгом захлопнулась. Потом железо проехало по железу: это Племянник задвинул щеколду. Он остался по ту сторону двери, которая, как мне показалось, захлопнулась навсегда!..

ГЛАВА VI,

*из которой становится ясно, что мне
ничего не ясно*

Невольный страх овладел мною. Но лишь на мгновение. А уже в следующую секунду я отбросил его. Верней сказать, отшвырнул.

Тем более что Наташа сделала шаг по направлению ко мне. Совсем незаметный шаг, но я-то его заметил. Точнее сказать, почувствовал. Вообще, когда есть существо, которое тебе нравится, следишь толь-



ко за ним и говоришь для него, хотя делаешь вид, что для всех. И наблюдаешь, как оно на все реагирует. И подсчитываешь, сколько раз это существо на тебя посмотрело. Тот, кто любил, поймет меня без труда!

«В эту опасную минуту она хочет быть рядом со мной! — решил я. — Хочет, чтоб я уберег ее, заслонил собой!»

О, как часто мы выдаем желаемое за действительное!..

— Я должна уехать электричкой, которая в 17.00! — сказала Наташа.

«Должна уехать!...» Даже не сказала, что «мы должны».

«Волнуется за свою маму»,— подумал я. И вот удивительно: в ту минуту я позавидовал ее маме, хоть у нее было очень большое сердце, а у меня сердце было абсолютно здоровое, и, если как следует рассудить, ее мама должна была бы завидовать мне. Но я не подчинялся рассудку!

— Племянник Григорий шутит,— сказал я Наташе.— Неужели ты не видишь, что он пошутил?..

— Тогда пусть откроет,— сказала Наташа.

Ее желание было для меня законом! Но для Племянника оно законом не было.

— Откройте, пожалуйста,— попросил я его.

— Это ты, парнек? — послышалось из-за двери.— Опять тебе больше всех надо? Все сидят тихо, будто мать родная не родила... А ты один ерепенишься!

Он тихо и противно засмеялся.

— Откройте сейчас же! — приказал я ему. И посмотрел на Наташу. Она стояла, опустив голову. Лица ее я не видел, потому что тусклая лампочка, которую зажег Племянник, была где-то далеко, в глубине подземелья.

— Ты же хотел узнать, куда тот Дачник девался? — спросил Племянник.— Вот теперь и узнаешь!

— Что он хочет сказать? — Я толкнул Глеба в плечо.

— Не знаю,— ответил Глеб.

И вдруг мы услышали за дверью шаги: Племянник поднимался вверх. Он уходил, оставляя нас в подземелье...

Страшная история началась!

— Остановитесь! — умоляюще воскликнул Покойник.

Громкие шаги Племянника были ему ответом.

Я снова схватил за плечо Глеба.

— Верни! Задержи!..

— Разве его удержишь?

— Кричи! — шепотом, чтобы не выдать внутреннего волнения, сказал я Глебу.— Ори на всю дачу!

— Не услышит... Он ведь уже наверх... Там ни слова... Дверь-то железная... Кричи не кричи...

— А ключа у тебя нет?

— Ни у кого... Потеряли... Английский замок: дверь захлопывается — и все... Открывается с той стороны... Он ведь и на щеколду...

— Погребены? — тихо спросил Покойник.— Живьем?

Я вспомнил про Аиду и Радамеса, которых замуровали живьем. И снова взглянул на Наташу. Как мне хотелось, чтобы и она мысленно сравнила нашу судьбу с их судьбой! Но она думала только об электричке. Это мне было ясно. Да и можно ли было сравнивать? Ведь Аиду и Радамеса замуровали вдвоем, а нас было целых шесть человек.

— О, не печалься! — сказал я Наташе.— Я выведу вас отсюда. Вы снова увидите солнце!

Она взглянула на меня с легким испугом. И тогда я добавил:

— Все будет в порядке!

Мне так хотелось, чтоб опасность сблизилась нас. Но Наташа никак не сблизилась: она думала об электричке.

— Я должна быть дома не позже шести.

— И будешь!

Я огляделся...

Тусклая лампочка мрачно выхватывала из темноты отдельные предметы. Она выхватила таинственный круглый стол, который раньше, в дни своей молодости, я думаю, назывался садовым и стоял где-нибудь в беседке. У стола было три ноги, и он угрюмо крепился на ту сторону, где когда-то была четвертая.

Лампочка выхватила из темноты и таинственный стул, у которого тоже было всего три ноги, чтобы столу было не так уж обидно. Непонятная, жестокая сила зло разбросала по земле странные ящики... К одной из стен загадочно прислонился кусок фанеры, с которого на нас всех угрожающе глядели одни лишь злоеющие слова: «Опасно! Не подходить!» А чуть пониже свирепо чернели на фанерном листе череп и кости.

Проходя мимо фанеры, Наташа случайно коснулась ее,— и на пальто остался черный след краски, которая, видно, никогда не высохла в этой могильной сырости.

— Осторожно! Не подходите! — крикнул Глеб.

Все вздрогнули и подавленно замолчали. Даже не очень опытный глаз мог безошибочно определить, что настроение у всех было ужасное.

Я для вида пошептался с Глебом и громко, весело объявил:

— Вот Глеб говорит, что племянник Григорий часто так шутит: сначала запрет, а потом отпирет.

— И через сколько же времени он отпирает? — спросил Покойник.

— Через час. Максимум через два! — бодро сообщил я.— А пока давайте осмотрим окрестности! Познакомимся с достопримечательностями этого подземелья... Чтобы потом, когда мы выйдем наверх, было что рассказать!

— А мы выйдем? — спросил Покойник.

— Конечно! Когда мы увидим родных и близких, они спросят нас...

— А мы их увидим?

Лампочка все время выхватывала из темноты лицо Наташи Кулагиной. Вернее сказать, я то и дело смотрел на Наташу.

— Кого ты больше всех любишь? — внезапно спросила она.

«Тебя!» — хотел я ответить. Но она бы мне не поверила, потому что это была неправда. Больше всех я все-таки любил маму и папу. Потом Костю... А потом уж ее.

Не мог же я это сказать!

— Кого ты больше всех любишь? — повторила она.

— Вообще... или у нас в классе?

— Скажи еще: в нашем звене!

— А ты кого?

— Маму.

— Я тоже маму и папу.

— Нет, я не маму и папу, а именно — маму. Я могу за нее умереть. А ты можешь за кого-нибудь умереть?

«Могу! За тебя!» — рвался вперед мой язык. Но что-то ему мешало.

— Можешь? За маму?..

— Я как-то не думал...

— И правильно делал: самое страшное для матери — пережить детей своих...

— Эту мысль ты должна записать!

— Какая же это мысль! Это истина. Вот и все... Поэтому я должна уехать на электричке в 17.00!

— Так и будет! Я тебе обещаю!..

Но как я выведу ее из подвала — это было неясно. «О, если я что-то придумаю! — мечтал я.— Она будет считать меня избавителем, героем, спасителем своей мамы, за которую она готова отдать даже жизнь!»

— То, что было еще час назад, кажется сейчас таким замечательным. Даже прекрасным,— сказала Наташа.— Хорошее по-настоящему ценишь на фоне плохого. Ты замечал?

— Да! Конечно... Еще бы! Сколько раз! Эту мысль ты обязана записать!..

Наташа почти шептала. Но я улавливал каждое слово, потому что, когда она ко мне обращалась, слух мой становился каким-то особенным. И если бы рядом в такие минуты что-нибудь взрывалось и грохотало, я бы этого не услышал, а услышал бы только ее голос.

«Странное дело,— лезли мне в голову мысли,— маму я люблю больше, но не думаю целый день о том, что люблю ее. А Наташу люблю меньше, но думаю об этом все время. О, как много в нашей жизни необъяснимого!»

Острая наблюдательность подсказала мне, что Наташа разговаривала только со мной. И это вернуло мне силы, которые понемножечку начинали уже уходить. Я снова готов был жить, бороться, искать выход из положения. Верней сказать, из подвала!

Лампочка выхватила из темноты лицо Покойника. Но лучше бы она не выхватывала: бледные губы его дрожали.

Я решил оживить Покойника!

— Снаряжаем спасательную экспедицию,— объявил я.

— Сами себя будем спасать? — пролепетал Покойник.

— Да! И ты вместе со мной пойдешь впереди! Где-то здесь должен быть выход. В крайнем случае мы будем пробиваться сквозь стену. Как в «Графе Монте-Кристо». Ты помнишь, Покойник? Эдмон Дантес и аббат Фариа пробивались друг к другу. А ведь это было не на даче, а в замке Иф: там стены покрепче.

— Их обоих кормили. А мы умрем с голоду.

Принц Датский положил руку Покойнику на плечо. Глеб, казалось, изучал земляной пол, которого не было видно.

— Алик же сказал нам, что племянник Григорий будет шутить всего час или максимум два,— объяснила Миронова.

Она одна, мне казалось, сохраняла абсолютное спокойствие. Теперь она видела командира во мне, а команды волноваться я не давал: она и не волновалась.

— Конечно, Племянник откроет дверь. Ты права,— сказал я Мироновой.— Но мы не обязаны ждать его помощи. Освободиться своими силами — вот в чем задача!

Наташа улыбнулась — чуть-чуть, еле-еле, да еще было полутемно, но я заметил ее улыбку. Ну, конечно: я говорил, как с трибуны. Но ведь надо было ободрить, у всех поднять дух!

— А может, лучше кричать? — предложил Покойник.— Кто-нибудь да услышит...

— На даче же... И в поселке тоже... — сказал Глеб. Он вдруг снова перестал договаривать фразы.

— Идемте! Вперед! — сказал я. Взял Покойника за руку, и мы двинулись. Мне хотелось взять за руку и Наташу, но я не решился.

Мы двинулись по подземелью. Сверху падали леденящие капли. Ноги то и дело проваливались в коварные углубления. Кромешная тьма окружала нас, как заговорщица. Неверный свет тусклой лампочки остался в неясной, мрачной дали... Ядовитый запах сырости уже не радовал меня, и мне не хотелось дышать полной грудью.

«Читать детективные истории — это совсем не то, что участвовать в них,— рассуждал я.— Я хотел и играть во что-нибудь страшное, а тут самый настоящий кошмар обрушился на нас всех. Только я не должен показывать виду, что тоже волнуюсь... Придет ли племянник Григорий? Откроет ли дверь? И

зачем он ее закрыл? Зачем?! А что значат его слова: «Ты же хотел узнать, куда тот Дачник девался? Вот теперь и узнаешь!»

— Покойник!! — крикнул Покойник.

Он весь дрожал. «Наверно, рехнулся,— подумал я.— Нервы не выдержали».

— Протяни... Ты сразу... Как я... — Верхние его зубы не попадали на нижние. И он, как Глеб, не дотягивал фразы до конца.

Я протянул руку и нащупал... скелет. Он стоял в темноте. Ребра и череп... Уже не нарисованные, а самые что ни на есть...

— Назад! — крикнул я.

Мы бросились обратно, к неверному свету тусклой и мрачной лампочки. Но теперь она казалась нам целым солнцем.

Внезапно догадка озарила меня: «Так вот как погиб тот Дачник! Вот куда он исчез!..»

Неужели и нас ждала та же горькая участь?

ГЛАВА VII,

в которой мы снова знакомимся с героями повести, не все из которых будут героями

«И так, судьбе было угодно, чтоб я понял и разгадал страшную тайну старой дачи, но тайна погибнет вместе со мной», — эта мысль заставила меня похолодеть. Но уже в следующую минуту я отогрелся, поняв, что не имею права поддаваться страху ни на мгновение! Рядом была Наташа и остальные... Я должен был их спасти. А пока что поднять или хоть чуть-чуть приподнять их дух!

Никто не узнал о моей догадке. Я остался с нею наедине.

Приятно быть наедине с легкими мыслями. А вот когда приходят тяжелые, хочется, наоборот, не оставаться с ними с глазу на глаз, а с кем-нибудь посоветоваться, поделиться. Но посоветоваться я не мог! Я должен был скрывать правду.

— Никакого скелета не было! Покойнику показало...

— Как же не было? — промямлил Покойник.— А ребра?..

— Галлюцинации! Вот и все.

— Какие же галлюцинации... в темноте?

— Ты думаешь, бывают только зрительные галлюцинации? О, как ты наивен! Бывают и слуховые. И, как бы это сказать... осязательные.

— Зачем же ты тогда крикнул «назад»?

— Чтоб твои галлюцинации не передались другим. Дурные примеры, сам знаешь...

— Значит, я что же... сошел с ума?

Губы Покойника задергались.

Принц Датский обнял его за плечи.

— Все ненормальные считают себя нормальными,— сказал Принц.— А нормальным часто кажется, что они ненормальные. Так что не беспокойся. Вот послушай: мне на ум пришли кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно?

И он стал декламировать, хотя никогда прежде своих стихов вслух не читал.

В этот день,
когда мы все в подвале,
Среди вечной сырости и тьмы.

Мы ни капли духом не упали
И готовы радоваться мы!
Да, пусть даже это подземелье
Нам подарит радость и веселье!..

Принц Датский обвел всех застенчивым взглядом. Но никто не веселился. Никто, кроме меня.

— Замечательно! — воскликнул я. — Ты очень верно отразил наше общее настроение!

Вслед за мной улыбнулась Миронова. Остальные не улыбались.

— Какие же галлюцинации? А ребра?.. — продолжал сомневаться Покойник.

Я отвел его в сторону.

— Покойник, будь человеком! С нами женщины. Подумай о них.

— Значит, это тот самый... Дачник?

— Скелет Дачника. Так я думаю. Все, что осталось... Но держи это в тайне. С нами женщины... Найди в себе силы!

— Я поищу... — сказал бледный Покойник.

— Фактически мы с вами находимся в кабинете писателя! — воскликнул я, обращаясь сразу ко всем. — Покойник недавно сообщил нам, что один греческий философ сочинял в бочке. Вы слышали? А Гл. Бородаев творил в подвале! Пока Племянник еще продолжает свои глупые шутки, давайте устроим выездное заседание нашего литературного кружка. Прямо тут, возле рабочего места писателя. Возле его, если можно сказать, станка! — Я приподнял бывший садовый столик, потряс им в воздухе и поставил на место. — Покойник, Принц и Миронова пусть что-нибудь сочинят. На тему дня! Они это быстро делают.

Миронова подняла руку и сказала:

— Принц уже...

— Ничего, сочинит еще. Ему ведь недолго! А Глеб вспомнит какую-нибудь историю из жизни дедушки.

У Наташи на руке были часики. Другие ребята, которые носят часы, все время о них помнят, то и дело задирают руку, будто всегда куда-нибудь торопятся. А Наташа взглядывала на свои часики незаметно: просто опускала глаза — и все.

— Электричка — в семнадцать... — сказала она. — Я надеюсь на тебя, Алик!

Она на меня надеялась. Не на Глеба. Не на Принца. Не на Покойника. А на меня! В эту минуту я был благодарен Племяннику, который запер нас в подземелье. Ведь если бы он не запер, я никогда не услышал бы этих слов.

— Их надо отвлекать, — сказал я Наташе. — Пусть они сочиняют и не мешают мне думать. Искать!.. Поверь: я оправдаю твои надежды. Мы успеем на электричку!

Она ничего не ответила.

— Итак, начинаем заседание кружка, — объявил я громко. — Смотрите, у каждого будет свое рабочее место: ровно пять ящиков.

Миронова подняла руку и сказала:

— Но нас шестеро.

— Я не буду садиться. Я буду ходить...

Я читал, что у знаменитых сыщиков были разные привычки, которые помогали им мыслить и распутывать преступления. Один, например, обязательно курил трубку. Это ему помогало. А я должен был непременно ходить взад-вперед. И хотя говорят, что «в ногах правды нет», я докапывался до правды именно на ногах.

Заложив руки за спину, я стал бродить по подвалу. А все остальные присели на ящики.

Наташа просто отдыхала. Глеб пригнулся, будто сидел на своей последней парте в среднем ряду и

боялся, что его могут вызвать к доске. Миронова сразу же раскрыла тетрадку и стала писать. Я был уверен, что она делает очередную «зарисовку». Принц Датский шевелил губами, а длинные руки его двигались как бы в такт словам, которых не было слышно, которые оставались где-то внутри и там же складывались в рифмованные строчки.

Покойник был похож на покойника. Я подошел к нему.

— Все кончено... — сказал он.

— Значит, сбудется твоя мечта!

— Какая?

— Ты ведь давно хотел умереть.

— Пожить бы еще немного... — прошептал он.

— Я буду искать выход из положения. А ты возьми себя в руки. Отвлекись! Сочини стихотворение этой своей В. Э.

— Она не прочтет его...

— Почему? Может, когда-нибудь обнаружат наши скелеты, и рядом с твоим будет лежать стихотворение. Она прочтет — и вздохнет украдкой...

— Она не вздохнет.

— Почему?

— Потому что ее нету...

— Как нету?

— Так... Не существует. Я не могу лгать тебе в эти последние часы своей жизни.

— А другая? А. Я?.. Ее тоже нет?

— Тоже.

— А Б. Ю.?

— И ее...

— Ты что же, брал первые попавшиеся буквы?

— Почему первые попавшиеся? У меня была своя поэтическая система. Свой метод.

— Какой метод? Скажи. Раскрой тайну! Все равно нам немного осталось...

— Поэтому я и скажу. Да, был у меня свой принцип! Я брал первую букву алфавита и последнюю, потом вторую от начала и вторую от конца, третью от начала и третью от конца. Так и получались: «А. Я.», «Б. Ю.», «В. Э.» Понимаешь?

— Ты здорово выучил алфавит! А любви, значит, не было?

— Почему? Я влюблялся, хотел умереть, потом охладевал, возвращался к жизни и снова влюблялся!

— В никого?

О, сколько на свете неожиданного и необъяснимого!

— Разве это первый случай в литературе? Разве и другие поэты не придумывали, не воображали себе образы любимых? И разве не поклонялись им, как живым людям?

— Я об этом не слышал.

— И не догадывался?

— Нет, не догадывался.

— Ну, как же ты так? Разве это не ясно?..

— Что?

— А то, что выдуманный образ почти всегда лучше реального.

— Ну уж, прости...

— Разве я могу простить, когда ты не понимаешь элементарных вещей?

Он снова заговорил в своей любимой манере, вопросами, чего я просто не выносил. Он все время недоумевал: как это я не знаю, не слышал, не читал!

— Слушай, Покойник, хоть в этот последний час разговаривай по-человечески, — сказал я с плохо скрываемым раздражением. — Если хочешь, то объясни, а не хочешь...

— Почему бы мне не хотеть?

— Опять ты...

— Пойми, у каждого человека есть свой стиль разговора: это его индивидуальность. Разве это... Я решительно сделал шаг в сторону.

— Не уходи! — Покойник схватил меня за руку. — Я хочу все объяснить тебе... Может быть, ты случайно спасешься — и тогда откроешь тайну моих «посвящений»! Видишь ли, живые люди всегда обладают разными недостатками, слабостями. А вымышленный образ может быть без сучка и задоринки. Так сказать, идеальным! Ему как-то приятнее поклоняться. Как мечта! А люди всегда с недостатками...

— Зато ведь они живые!

— Разве это существенно?

— А разве нет?

Покойник взглянул на меня с жалостью:

— Когда-нибудь ты поймешь. В общем, если ты случайно... Тогда прокомментируй мои стихи, чтобы не возникли вопросы. А то станут разыскивать всех этих «А. Я.» и «В. Э.», наткнутся на кого-нибудь не того...

— Покойник, не будь таким мрачным. Твой вид действует на других.

Он изобразил на лице «последнюю улыбку».

— Вот видите, какое у Покойника хорошее настроение! — сказал я. — А у тебя, Принц? Что ты там сочинил?

Я тоски в сыром подвале
Не испытываю, нет!
Здесь, в подвале,

мы узнали,
Как прекрасен яркий свет!
Сердце радостное бьется:
Все в сравнении познается!

Принц Датский виновато развел свои огромные руки в стороны:

— Вот... Пришло на ум. Может, вам будет приятно?

Физическая сила упорно продолжала сочетаться в нем с детской застенчивостью!

Добрый Принц хотел доставить нам радость, но стихи его никому особой радости не доставляли, потому что все уже к ним как-то привыкли. Кажется, первый раз в жизни Принц почувствовал это и, спрятав за спиной свои руки (он всегда не знал, куда их девать), тихо произнес:

— Тогда простите...

— За что?! Ты очень точно выразил наше общее настроение! — воскликнул я с плохо скрываемым сочувствием.

Мое сочувствие не понравилось Принцу. Он вдруг разорвал стихи и выбросил в темноту. В ту самую, которая помогла ему оценить свет!

— Разве это не обычно? — задал свой очередной вопрос Покойник.

— Что? — не понял я.

— То, что произошло. Разве классики не уничтожали своих произведений? Не сжигали их?

— Но на это всегда были причины, — возразил я. — Их не признавали, не понимали... А мы Принца всегда понимаем. Но ничего... Заседание кружка продолжается!

Миронова подняла руку и сказала:

— Можно мне?

— Конечно. Чем ты нас порадуешь, Миронова? Зарисовкой?

Названия ее зарисовок всегда начинались со слов «мой», «моя» или «мое»: «Мой день», «Мое утро», «Моя сестра», «Моя комната»... Эта зарисовка называлась «Мое воскресенье»:

— «Обычно по воскресеньям я встаю в 9 часов 30 минут по местному времени, чтобы в 10 часов по-

слушать «Пионерскую зорьку». Но в это воскресенье будильник зазвонил как в обычные дни, то есть ровно в 7 часов 10 минут. Умылась я быстро, как всегда: в ванной комнате было пусто, все еще спали, никто не спешил на работу. В 7 часов 30 минут по местному времени я съела один бутерброд с колбасой и яичницу...»

«Ее последний завтрак!» — подумал я.

Миронова продолжала:

— «В 8 часов 30 минут я была в школьной канцелярии. Там собрались все члены литературного кружка, чтобы ехать на старую дачу, где творил писатель, имя которого раньше носил наш кружок. Глеб Бородаев, внук писателя по папиной линии, сообщил нам, что наш классный руководитель Нинель Федоровна заболела. Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась...»

— Перечитай последнюю фразу! — крикнул я громко, потому что судьбе было угодно, чтоб в эту минуту меня озарила одна догадка.

Миронова перечитала.

— Что такое? — Покойник схватил меня за руку.

— погоди, погоди! Кажется, я начинаю...

— Что?! — с надеждой спросил Принц Датский.

— Дайте время. Кажется, я уцепился за кончик веревочки... Теперь надо не упустить ее!

— Разве трудно тебе объяснить? — заныл Покойник.

— А разве трудно тебе подождать? — Подражая ему, я ответил вопросом на вопрос. — Читай, Миронова. Читай дальше!..

Она аккуратно сообщила нам всем о том, как мы сели на электричку, как сошли с нее, как добрались до дачи, как познакомились с Племянником и как «в одиннадцать часов сорок минут по местному времени за нами захлопнулась дверь...»

— Много конкретных, тебе одной известных деталей! — похвалил я Миронову.

Я был благодарен ей за ее удивительное спокойствие (команды волноваться не было, — она и не волновалась!). А главное, за ту фразу, которая натолкнула меня... Но не буду забегать вперед. Хотя мне очень хочется забежать.

— Заседание кружка продолжается! — объявил я.

— Разве не лучше нам помолчать? — спросил Покойник. — Я чувствую, что твоя мысль заработала. Мы помолчим, чтоб не мешать...

— В самом деле, Алик! Так, наверное, будет лучше! — сказала Наташа.

Значит, она продолжала надеяться на меня! Я снова похолодел, но уже от радости. «Теперь я должен уцепиться за тот кончик веревочки, который, кажется, у меня в руках!» — так я решил.

— О, не бойся вспугнуть мою мысль! Все эти детали, воспоминания питают ее и укрепляют... Пусть теперь Глеб расскажет нам какие-нибудь случаи из жизни своего дедушки. Как это бывало раньше...

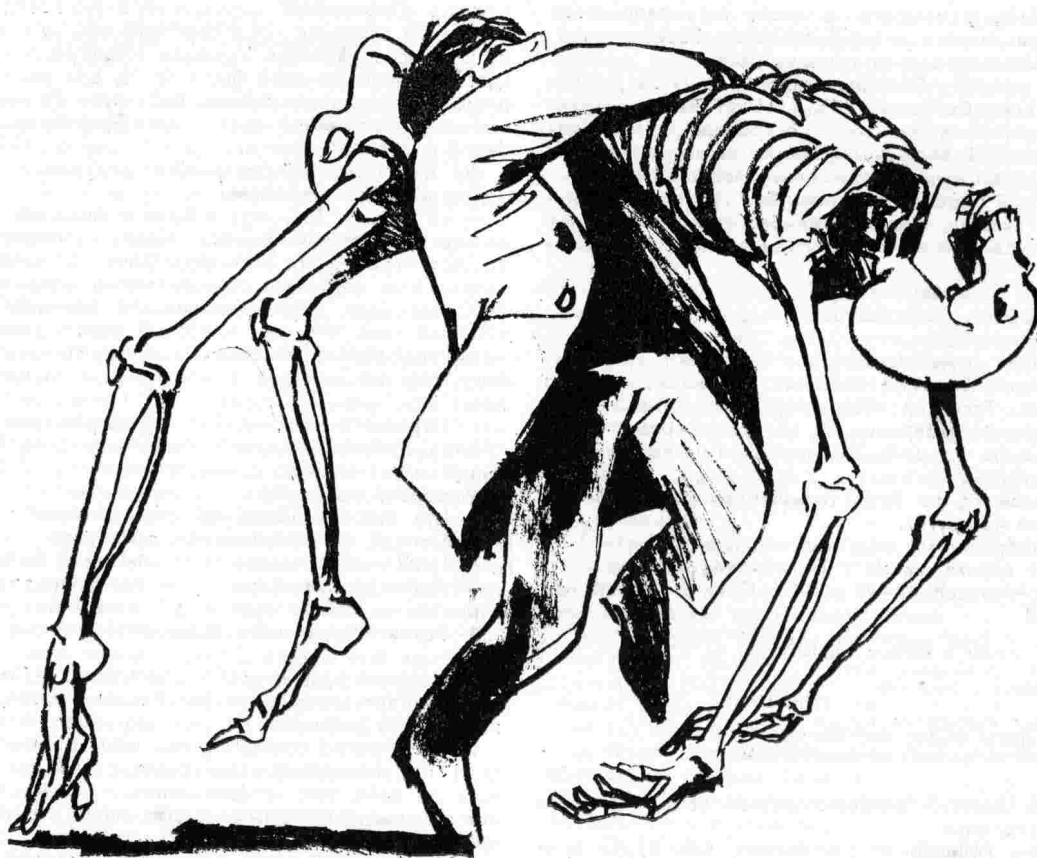
— Вот здесь, значит, дедушка... «Тайну старой дачи»... — растерянно начал Глеб. Он снова не дотягивал фразы. — В этом подвале... Там вот, на крышке стола...

Он отделил круглую крышку от ножек садового столика, переплетенных соломой.

На обратной стороне, внутри черной рамки, было что-то написано. Глеб прочитал: «Здесь в течение одного года, трех месяцев и семи дней была написана повесть «Тайна старой дачи».

— Мемориальная крышка, — сказал Покойник.

— Так, так, так... — произнес я задумчиво. Все сразу притихли.



Наташа Кулагина, которая стояла сзади, посмотрела на меня с надеждой. Я чувствовал ее взгляд затылком и сердцем. Он обжигал меня!

— Значит, дедушка здесь, в подвале, входил в настроение? — спросил я Глеба. — Не торопись, сначала подумай...

— Да... входил.

— Он нагонял на себя страх, как сообщил нам племянник Григорий? Подумай хорошенько, не торопись.

— Да... нагонял.

— Оставайтесь на своих местах! — скомандовал я. И храбро бросился в темноту...

ГЛАВА VIII,

в которой я наконец... впрочем, сами поймете!

Я крепко обнял скелет. И потащил его сквозь густую, непроглядную тьму к слабому, неверному свету лампочки.

Идти было недалеко. Но ведь длинный путь может показаться коротким и легким, а короткий, наоборот, длинным и тяжким. Все зависит от того, какая у тебя ноша. Если нет ничего, кроме веселых, радостных мыслей, тогда легко, а если в руках скелет...

О, сколько неожиданных и глубоких мыслей посетило меня в тот день! Некоторые из них, я думаю,

были даже достойны того, чтобы попасть в тетрадку Наташи Кулагиной. «Может, когда-нибудь ее общая тетрадка станет действительно общей (ее и моею!), — мечтал я. — И мы будем поочередно записывать в нее свои глубокие мысли. А потом будем читать... Не вслух, а каждый отдельно, про себя. И все будем знать друг о друге! Хотя совсем уж все знать, конечно, не обязательно, а вот самые заветные думы, которые касаются... чего касаются? «Движений души!» Эти последние слова я вычитал недавно в книге. Они мне очень понравились: «движения души!» Оказывается, душа может двигаться. Раньше я этого не предполагал.

«О, если бы я знал, в каком направлении движется ее душа, я бы обязательно повернул и свою в ту же сторону. И наши души столкнулись бы... Вернее сказать, встретились. Или соприкоснулись!» — так мечтал я, прижимаясь к скелету.

Он чем-то колот мне руку. А чем именно, я не мог разобрать во мраке.

«Когда-то это был человек! — думал я. — Он ходил в костюме, думал, удирал с уроков, сдавал экзамены... Может быть, даже любил. Как я! Неужели когда-нибудь...»

Внезапно передо мной выросло что-то большое и темное. Я пригнулся и взглянул на эту фигуру сквозь ребра, как сквозь планки забора.

— Кто это? — спросил я еле слышно: язык плохо слушался.

Мне ответил Принц Датский:

— Алик! Как хорошо! Я боялся, что ты заблудишься. Ты ведь один...

— Мы вдвоем со скелетом! — Его добрый голос вернул мне дар речи. — Что-то здесь колется... Помоги! Но осторожно: не поломай ему ребра.

Через минуту я уже объяснял Наташе Кулагиной, хотя не глядел на нее и делал вид, что говорю для всех остальных:

— Это не Дачник! Логический анализ убедил меня в том, что скелет, как и подвал, как и вообще вся эта муть, нужны были Гл. Бородаеву для вдохновения. Он сперва нагонял страх на себя, а потом уже на читателей. Таким образом, нет оснований думать, что нас заперли для того, чтобы... Чтобы мы дошли вот до этого состояния!

Я указал на скелет.

— Откуда такая уверенность? — спросил Покойник.

Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что Покойник очень боялся смерти. Нет, он не хотел унижить меня. Он хотел, чтобы я его убедил, успокоил. Когда на тебя надеются, ждут от тебя защиты, успокоения, это очень приятно. Но и трудно!

Сколько неожиданных наблюдений и выводов посетил меня в том подвале!

— Почему ты уверен, что это не Дачник? — снова спросил Покойник. И все ждали, чтоб я ответил на его вопрос.

— Откуда уверенность? Ну, во-первых, логический анализ. А во-вторых...

Тут я увидел то, что в темноте кололо мне руку.

— Смотрите! Смотрите все! Видите? Бирка с номером! И вот еще металлическая пластинка. Тут что-то написано...

Я приблизил планку к глазам и прочел вслух: «Любимому писателю в благодарность за выступление. От биологического кабинета подшефной школы».

— Это подарок! — воскликнул я. — Он шефствовал, выступал — и ему подарили. Может, в биологическом кабинете было два скелета... И вот поделились с писателем! Ведь ему это было нужно для вдохновения. Теперь убедились? Не мог же Дачник жить с биркой и планкой внутри! Да еще с проволокой, которой они прикручены!

Все смотрели на меня с благодарностью. Так мне казалось... А может быть, даже и с обожанием. В полутьме это трудно было определить.

Я тоже радовался, как ребенок! Еще недавно я мечтал раскрыть «тайну старой дачи», а теперь был счастлив оттого, что неверно раскрыл ее, что ошибся, что скелет принадлежал вовсе не Дачнику, а биологическому кабинету подшефной школы.

О, как часто жизнь меняет наши планы и настроения!

— Что значит иметь талант! — тихо, но с восторгом сказал Принц Датский. — С этим надо родиться!

Он уважал чужие таланты.

— А я вот... — Принц вытянул вперед свои руки, словно упрекая их за то, что они, такие длинные, ничем сегодня не помогли.

— Ничего, ничего... Они еще пригодятся! — Я приподнялся на цыпочки и похлопал Принца Датского по плечу.

— Но как же ты догадался? Еще до того, как увидел бирку и планку? — спросил Покойник.

— Когда Глеб перевернул крышку...

Я подошел к столу и тоже перевернул. Фразу я не закончил, потому что заметил на обратной стороне крышки... Я ничего никому не сказал. Но подумал о том, что в этот момент прибавился еще один важный факт. Очень важный! И что я приближаюсь к разгадке...

— Не держи нас в неведении, — приободрившимся голосом попросил Покойник. — Почему тебя так заинтересовала ничего не значащая фраза в «зари-совке» Мироновой? Помнишь, ты сказал о веревке, за которую ухватился. А в этой фразе абсолютно не за что было хвататься!

— Как кому! — сказал я. — Именно ничего не значащие факты подчас значат в расследовании все! А с виду значительные — не значат ничего.

Миронова подняла руку:

— Можно мне?

— Пожалуйста!

— Я подчеркнула эту фразу, — сообщила она.

— Да, твоя фраза осветила нам путь..

— К чему?! — гордо прошептала Миронова.

— К спасению! — ответил я.

Все перестали дышать... Но я ничего больше не объяснил.

— Дайте время, — сказал я. — Мне нужно изучить факты. Оценить обстановку! Продумать, взвесить... И обобщить!

Все тихо присели на ящики. Все подчинялись мне, надеялись на меня. Давно я мечтал, чтобы Наташа была рядом в какой-нибудь выгодный для меня момент. Но о таком моменте я даже и не мечтал. Он даже не мог мне присниться!

О, как оказывается, мудра поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!» Только в темноте подвала мои способности могли вспыхнуть так ярко. Свет вообще поражает главным образом тогда, когда внезапно появляется в темноте. Хорошо бы записать эту мысль Наташе в тетрадку!

— Дайте мне время, — еще раз попросил я.

— Но времени нет, — сказала Наташа.

— В каком смысле?

— До электрички осталось всего полтора часа.

— Я буду действовать ускоренным методом. Расследование начинается! Я должен побыть наедине!..

Миронова подняла руку:

— С кем?

— С мыслями, с фактами.

Я сел на ящик, стоявший в стороне от других, и погрузился в раздумье.

Я знал, что у каждого настоящего сыщика или следователя должен быть помощник, благородный такой и наивный человек, который говорит разные глупости и споря с которым следователь легче нападает на след. Я не собирался никому подражать. Но, конечно, мне бы хотелось, чтоб Наташа была этим помощником и наблюдала, как я логически мыслю. Но заставлять ее нарочно говорить глупости я не мог. Да у нее бы это и не получилось, если б даже я захотел!..

Итак, я начал анализировать в одиночку...

Мне было известно, что знаменитые сыщики и следователи, раскрывая преступления, прежде всего хотят выяснить: кому оно выгодно?

«Так, так, так... Я не пойду обычным путем! Буду действовать своим методом, — решил я. — Пойду от обратного, как иногда доказываются теоремы. Да, сделаю наоборот: продумаю сначала, кому невыгодно, чтоб мы сидели запертые в подвале».

Наверно, всем нам невыгодно. А больше всех? Наташе! У нее тяжело больная мама. И она обязательно должна сесть на электричку в семнадцать ноль-ноль! Так, так, так... Теперь надо выяснить, кому выгодно, чтобы Наташе было невыгодно. Сбиваюсь на чужой метод... Но ничего не попишешь! Кто же может Наташе мстить? И за что? Разберемся! Вернее всего, кто-то был отвергнут ею — и вот ре-

шил... Любовь часто толкает людей на преступления! Об этом и в пьесах говорят и в кинокартинах... Но кто же ей мстит? Племянник Григорий? Он мог быть только оружием мести! Так, так... Это ясно. Он не подходит: по возрасту и вообще... Вряд ли он способен на глубокое чувство. Но кто его сделал своим оружием? Кто?! Покойник? Он любит вымышленные образы. И вообще умирает от страха. Но, прежде чем вынести окончательное решение, я должен во всем сомневаться. А если Покойник притворяется? Если на самом деле он ничего не боится? Да нет! Достаточно взглянуть на него... Принц Датский? Он благороден. Физическая сила сочетается в нем с детской застенчивостью. Но я должен во всем сомневаться! А вдруг он притворяется добрым?

Как-то противно всех подозревать! Но все-таки... Я должен провести подробнейшее расследование! Так, так, так... Значит, надо проверить всех. Кроме Наташи... Может, Миронова? Допустим, она завидует Наташе. Нет, ерунда. Исключается! Она завидует только тем, кого учителя ценят больше, чем ее. А больше, чем ее, они никого не ценят! Значит, методом исключения, который иногда применяется при расследованиях... Опять пойду старым путем. Говорят, «старый друг стоит новых двух». Может, это относится не только к друзьям? О, как мудры народные поговорки!

Итак, я добрался до Глеба... Он опять запинается на каждом втором слове. А больше молчит. Но дело не в этом. Не поэтому он вызывает у меня наибольшие подозрения. Так, так, так... А почему? Впервые, он единственный из нас всех был раньше знаком с Племянником. Улика номер один! А вторых и в-третьих... Мои наблюдения, о которых никто не знает! Те две догадки... В них ключ! Я уверен... Но я должен во всем сомневаться. Так, так, так... Надо все доказать! Доказать! Доказать!..

Я обернулся. Все тихо сидели на ящиках. И ждали... А Миронова задремала. У нее был железный характер! Я всех обвел взглядом и остановился на Глебе.

Настала пора допроса! Поведу его осторожно, чтобы предполагаемый виновник ни о чем не догадался. И чтобы не обидеть его раньше времени подозрением. Прежде всего соблюдение законности! Об этом часто пишут. Я не должен ее нарушать. Должен во всем сомневаться, пока не будет доказано... И никакого насилия! Никакой грубости! Так, так, так...»

— Глеб, не хочется ли тебе подойти ко мне? Если тебе не хочется, не подходи. Я тебя не жду. Я сам могу подойти. Но если ты хочешь...

— Я что же...— сразу откликнулся Глеб.— Я пожалуйста...

Он не договаривал фразы. Но это не было уликой: он и раньше не дотягивал их до конца. Да, это и прежде было его яркой особенностью.

Однако острая наблюдательность подсказала мне, что он слишком уж быстро откликнулся, словно ждал, что я к нему обращусь. И слишком уж стремительно подбежал, будто боялся, что я спрошу его о чем-нибудь громко и услышат все остальные.

— Что? А?...— сказал он совсем шепотом, словно предлагая и мне вести разговор так, чтоб о нем знали только мы двое. Моя острая наблюдательность стала еще острее, будто ее только что наточили.

— Хочешь знать, как я догадался насчет скелета? Очень просто: когда ты перевернул «мемориальную крышку» и прочитал, что именно здесь была напи-



сана вся повесть от начала и до конца, догадка сразу озарила меня: не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения! Чтобы нагонять на себя страх... Я бросился в темноту, чтобы проверить свою догадку. Бирка и планка ее подтвердили. Но это не все...

— А что же еще?..

— Глеб, если тебе не трудно, переверни снова крышку стола и прочти, пожалуйста, еще раз, что там написано,— сказал я с плохо скрываемой вежливостью.

Мне хотелось, чтобы Наташа видела, как умно и тонко я веду дело, как с каждой минутой все больше оттачивается моя наблюдательность. Но нельзя было сделать так, чтоб Наташа слышала наш разговор, а все остальные не слышали. А если бы услышали все остальные, у них бы раньше времени возникли подозрения против Глеба. «Если же он не виновен? — рассуждал я.— Если мои предположения — всего только предположения? Нет, законность прежде всего!» И продолжал вести расследование шепотом:

— Там, при всех, не надо переворачивать крышку. Принеси стол сюда, если тебе нетрудно. Здесь переверни и тихо мне прочитай. А то у меня что-то рябит в глазах. Наверное, от окружающего нас мрака! Помоги мне, Глеб, если можешь.

— Я, конечно, переверну. Мне нетрудно...

Он подтащил стол к ящику, сидя на котором я анализировал события. Перевернул крышку и прочитал: «Здесь в течение одного года, трех месяцев и семи дней была написана повесть «Тайна старой дачи».

«Так, так, так...— сказал я себе.— Он прочитал так же, как в первый раз. Значит, это уже не случайность».

— Глеб, почему же ты пропустил одно слово? — прошептал я.— Объясни, пожалуйста, если тебе не трудно. Подумай хорошенько, не торопись.

— Я?... Слово?... Какое?

— Всего только одно. Но очень существенное! Я взял «мемориальную крышку» в руки.

— Написано так: «Здесь в течение одного года, трех месяцев и семи дней была придумана и написана повесть «Тайна старой дачи». А ты слово «придуманна» пропустил. Почему? Соберись с мыслями. Не торопись.

— Я не заметил... Не обратил...

— Оба раза? Одно и то же слово? Согласись, догадой, странное совпадение!

— Не обратил...

— Два раза?

— Два...

— А может быть, целых три?

— Нет... Только два...

— Прости, дорогой, тебе изменяет память. Первый раз ты не заметил это слово еще там, в городе. Когда говорил мне, что все было на самом деле: вся история с Дачником. А оказывается, Гл. Бородаев ее придумал. Зачем же ты мне сказал, что Дачник здесь действительно жил и пропал в новогоднюю ночь? Не тот, придуманный твоим дедушкой, а какой-то настоящий, живой, так сказать, человек? Взял и исчез... Зачем ты это сказал? И Племянника подучил сказать то же самое? Подумай хорошенько, не торопись.

Глеб не торопился. Он молчал.

— Так, так, так... — сказал я уже с плохо скрываемой угрозой.

— Хорошо... Я тебе... всю правду...

— Вот именно: правду, одну только правду! Ничего, кроме правды!

— Иначе бы ты сюда... А так тебе сразу стало... И другие поехали...

— Подведем некоторые итоги, — сказал я. — Значит, ты очень хотел, чтобы мы сюда приехали. И чтоб заинтересовать нас, сказал, будто все произошло здесь, на этой даче, в самом деле, а не было придумано дедушкой.

— Ну да...

— А почему ты так уж сильно хотел, чтобы мы приехали?

В это время подошла Наташа. И тихо сказала:

— Алик, осталось совсем мало времени.

— Считай, что ты уже на пути к своей маме! — воскликнул я. — Скоро она обнимет тебя...

Покойник услышал мои слова. И не то с надеждой, не то с сомнением произнес:

— Темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа...

Страх, значит, еще не отшиб ему память: он помнил стихи Пушкина, правда, не совсем точно, но помнил...

— Да, встретит! — подтвердил я. — Еще несколько минут — и я выведу вас отсюда...

— Как Данко? — спросил Покойник.

Острая наблюдательность подсказала мне, что он сомневается. Захотелось скорее поразить всех своими находками и открытиями.

— Ты помнишь фразу из «зарисовки» Мироновой? — спросил я у Глеба.

— Какую?..

— В ней не было ничего особенного. Но она кое-что напомнила и озарила меня догадкой. Я даже запомнил ее наизусть. Там было сказано про Нинель: «Накануне, то есть в субботу, она переезжала в новый дом и простудилась...» Значит, Нинель въехала в совсем новый дом?

— Мне дежурная в школе... А потом она сама... По телефону...

— Разве в совсем новых домах бывают телефоны? Их ставят уже потом, позже. Почти всегда так бывает. Откуда же она звонила? И разрешила нам ехать

сюда без нее? Или, может быть, она с температурой тридцать восемь и пять пошла в автомат?

— Я вам все... Я сейчас же...

— Нет времени! Мотивы преступления объяснишь потом. В электричке! А сейчас смотри мне в глаза. Говори правду, одну только правду, ничего, кроме правды. Где выход отсюда? Или прикажи Племяннику! Ведь это ты его подучил?

— Я сейчас же... Я вас... Не беспокойтесь...

«Все проанализировал я, а освободителем будет он?» — полоснула меня неприятная мысль.

Глеб уже хотел броситься в темноту. Но судьбе было угодно, чтобы очередная догадка молнией озарила меня. Стремительным движением руки я остановил его.

— Наташа! — воскликнул я. — Покажи свой рукав!

— Следствию нужны вещественные доказательства? — съехидничал Покойник с видом покойника. Он все еще не верил, что мы выберемся из подвала.

Я прикоснулся к Наташиному рукаву. Сердце мое заколотилось так сильно, что это услышали все и повернулись в мою сторону. А может быть, им просто было интересно, что я обнаружил на ее рукаве? Эта мысль пришла ко мне позже. А в ту минуту вообще никаких мыслей у меня не было: я держал ее руку в своей...

— Алик, нет времени, — сказала она.

Я не хотел торопиться. Но ее слова вернули меня на землю.

Решали минуты! До электрички оставалось совсем мало времени. Совсем мало! А Наташу ждала дома больная мама...

Мысль моя вновь заработала: «Раз эта краска испачкала ее рукав, значит, слова «Опасно! Не подходить!» были написаны кем-то незадолго до нашего прихода: краска еще не успела высохнуть!.. Так, так... И Глеб, помнится, крикнул тогда: «Не подходите!..» Значит, надо немедленно подойти!»

Я подбежал к фанерному щиту, отбросил его. Верней сказать, оттащил... Он заслонял собой дверь. Я толкнул ее, и она нехотя заскрипела. Старая, покосившаяся, она, видно, не закрывалась. В этом было наше счастье: Племянник не смог запереть ее. Дверь с трудом поддавалась, открывая нам путь к свободе.

— Пожалуйста! Выходите! — воскликнул я и взглянул на Наташу.

Она ответила мне взглядом, полным благодарности и даже... Но, может быть, это мне показалось.

Покойник бросился к выходу... Еле заметным движением руки я задержал его.

— Пусть первыми выйдут женщины!

«И дети», — чуть не добавил я по привычке.

Свет робко проник в подвал. Мне казалось, что это свет нашего полного освобождения!

Но как часто жизнь ставит на пути неожиданные преграды!

Подвал не хотел выпускать нас из своих цепких, сырых объятий. Старая дверь, обитая ржавым железом, не закрывалась, но и не открывалась тоже. Со скрежетом проехав чуть-чуть по каменной ступени, она словно вросла в нее и не двигалась дальше. Просвет между стеной и дверью был очень узким.

— Надо пролезть! — сказал я. — Первыми выйдут женщины...

И указал на Наташу. Она не стала спорить, уступить место другим, чтоб показать, какая она добрая и благородная. Нет, ничего и никогда она не делала напоказ!

Тонкая и стройная, она не «пролезала» и не «протискивалась» между дверью и кирпичной стеной, а

как бы освободилась, вырвалась из их плена и оказалась на улице. Она сделала это изящно, не напрягаясь и не смущаясь.

— Теперь Миронова! — сказал я.

Даже тут она действовала как отличница: обдуманно, серьезно, не торопясь. Сначала измерила внимательным взглядом просвет между стеной и дверью. Потом оглядела свою фигуру. Что-то прикинула, высчитала в уме... А потом подняла руку.

— Можно мне снять пальто?

Сняла и полезла... Миронова и здесь выполняла приказ: она аккуратно, старательно преодолевала препятствие и рапортовала мне, как начальнику:

— Осталось всего полспины... Осталось плечо! Осталась рука... Все в порядке: ничего не осталось!

Первым застрял Покойник. Он оказался самым толстым, а по его словам, «самым плотным» из нас.

— Много ешь, — сказал я. — А еще поэт!

— У меня неправильный обмен. Это болезнь! — сообщил Покойник.

— Тогда скинь пальто.

Он скинул. Но и без пальто снова застрял.

— Я помогу тебе, — предложил Принц Датский. И стал осторожно проталкивать Покойника.

— Что-то хрустнуло! — вскрикнул тот. — Кажется, не пролезаю...

— Тогда я нажму на дверь, — сказал Принц.

Он сильно навалился плечом на ржавое, мокрое железо. Дверь сдвинулась с мертвой точки, но лишь еле-еле. Хотя детская застенчивость сочеталась в Принце с большой физической силой, ему ничего не удалось сделать.

— Снимай пиджак, рубашку, штаны! — приказал я Покойнику.

— Разве это возможно? — промямлил он.

— У нас нет времени рассуждать!

— Разве осенью раздеваются?

От волнения он заговорил в своей любимой манере — вопросами.

— Он простудится, — сказал заботливый Принц.

— Лучше спастись простуженным, чем погибнуть здоровым! — воскликнул я.

Покойник разделся. Девочки отвернулись.

Голый Покойник (то есть почти голый: трусы оставались на нем) пролез сквозь узкое отверстие.

— Разогрейся! — посоветовал из подвала Принц Датский. — Побегай!

Покойник забегал.

— Сначала оденься, а потом уж... — сказал добрый Принц.

От холода Покойник дрожал и плохо соображал. Наташа и Миронова стали натягивать на него рубашку, пиджак и пальто. Брюки он надел сам.

— Теперь Глеб! — сказал я.

— Я потом... раз из-за меня... — тихо сказал Глеб. — Ведь все это...

— Расследование закончим потом, — шепотом перебил я его, хотя мне очень хотелось спросить прямо в упор: «Зачем ты все это сделал?» — Сейчас выяснять не время, потому что дорого время!

Глеб тоже скинул пальто и протиснулся.

Принц Датский указал на просвет.

— А теперь уж ты, Алик!

— Я покину подвал последним! — сказал я так, будто был капитаном гибнущего корабля: капитаны всегда покидают судно последними.

Принц Датский смущенно развел свои огромные руки в стороны.

— Мне ведь тоже придется... Как Покойнику...

Девочки отвернулись.

— И вы тоже, — сказал Принц мне, Глебу и Покойнику.

Большая физическая сила продолжала сочетаться в нем с детской застенчивостью.

Принц не был толстым, но мышцы вздувались у него на руках, на груди, даже на животе и могли застрять в узком проходе.

По-спортивному быстро он перекинул одежду на улицу, преодолел препятствие, оделся и сказал:

— Можете смотреть!

Он стал по-спортивному высоко поднимать ноги, совершать пробежку по пустому мокрому саду. Вслед за ним затрусил Покойник. Они согревались. А я?..

Я остался один по ту сторону двери, в подвале. С друзьями всегда приятнее, спокойнее, а в подвале особенно! «Что, если сейчас из другой двери появится племянник Григорий?» Эта мысль подтолкнула меня: я заторопился, сбросил пальто. И тут же подумал о другом: «Как я буду протискиваться сквозь узкую щель на глазах у Наташи Кулагиной?..»

Я всегда очень боялся предстать перед ней в невыгодном свете, в каком-нибудь смешном виде. Парикмахер сказал как-то маме: «У вашего сына сзади красивая форма головы. Благородная!» И я старался почаще поворачиваться к Наташе затылком... «А сейчас она увидит, как я буду краснеть и сопеть, пролезая с трудом между стеной и дверью!» — Эта мысль заставила меня похолодеть. Думаю даже, что мне было холоднее, чем Покойнику, когда он остался в одних трусах, потому что я похолодел в н у т р е н е.

К тому же оказалось, что мне нужно снять не только пальто, но и куртку: выяснилось, что я тоже довольно плотный. А под курткой была старая рубашка, которую мама заштопала на самых видных местах. Она была теплая, и поэтому я надел ее в тот день. Мне не хотелось, чтоб Наташа видела эту рубашку. «А все из-за Глеба! Зачем ему это было нужно?.. Зачем?! — Я, кажется, впервые взглянул на него со злостью. — И из-за Племянника! Как бы этому Племяннику отомстить? Хоть немного! Хоть чем-нибудь!..»

В тот же миг идея озарила меня.

Я нащупал в кармане карандаш и бросился обратно во мрак подвала: мне захотелось оставить кое-что на память Племяннику, какие-нибудь строчки, которые бы его разозлили.

— Куда ты?! — крикнул Покойник так, будто прощался со мной навсегда. Он боялся без меня оставаться. Это было приятно!

— Не бойся, вернусь! — успокоил я Покойника. Побегал к старому садовому столику — и вдруг...

С ужасом услышал я, что со стороны двери, запертой на щеколду, послышались шаги. Это спускался племянник Григорий. Он, наверно, хотел поздравиться над нами: спросить, как мы себя чувствуем, не соскучились ли или что-нибудь вроде этого. «Если ему никто не ответит, — подумал я, — он сразу поймет, что мы убежали, и устроит погоню. Выйдет во двор и снова захватит всех!»

События с головокружительной быстротой сменяли друг друга!

Сердце замерло у меня в груди, а может быть, вовсе остановилось. Каждый шаг за дверью, на лестнице, отдавался трагическим эхом у меня внутри, будто от ужаса там образовалась какая-то пуста...

Так и есть!

— Эй, гаврики! Что это вы молчите, будто мать родная не родила? Заснули? — крикнул Племянник.

— Так точно. Все спят! — громко ответил я.

— Это ты, парнек?

— Я!

— Опять выскакиваешь?

Он не знал, что выскочили как раз все остальные, а я остался.

— Куда же я выскочу, если вы дверь закрыли?

— Посидите еще немного! Закаляться надо. Ты как считаешь, парнек? Надо вам закаляться?

— Еще бы!

— Ты ведь хотел познакомиться с Дачником?

— Еще как!

— Теперь познакомился?

— Конечно!

— Ну, вот видишь! Может, и о тебе когда-нибудь книжку напишут.

— Если я дойду до его состояния.

— Ага!

Он засмеялся мелким и дробным таким смешком, будто монеты рассыпал по лестнице.

«Зачем ему нужно, чтоб мы сидели в подвале?— рассуждал я.— Да ни за чем! Просто он выполняет чужую просьбу». Я знал, чью именно! Но выполнял он ее с удовольствием: ему приятно было ко-то помучить. Такой у него был характер.

Племянник зевнул, длинно, словно завыл:

— Пойду-ка тоже вздремну...

«А не вздумает ли он перед сном погулять? Выйти во двор?..» — подумал я. И сердце опять замерло у меня внутри.

Все же я не стал торопиться, а вынул из кармана карандаш и крупными буквами написал на крышке садового столика: «Племянник! Передай привет своей тете!» И подписался: «Алик-Детектив».

А потом помчался обратно, к узкой полоске света.

«Как же мне сделать так, чтоб Наташа не увидела заштопанную рубашку? — думал я.— Пожалуй, как Принц с Покойником, разденусь догола и попрошу всех отвернуться!..»

— Что ты там делал? Куда убежал? — набросились на меня все, когда я высунул голову из подвала.

Соскучились! Это было приятно.

— Отвернитесь! — скомандовал я.

Было холодно, откуда-то с крыши падали капли... Дрожая всем телом, я протискивался навстречу свободе.

ГЛАВА IX,

в которой события опять с головокружительной быстротой сменяют друг друга

Когда мы наконец вырвались на свободу, нужно было немедленно бежать, мчаться на станцию, но я словно прирос к земле и жмурился, хоть солнца не было и даже начало уже понемножку темнеть. Мы отвыкли от света и радовались ему, как дети!

Неожиданные мысли заполнили мою голову. Они наталкивались одна на другую, потому что их было много. Да, жизненные испытания делают человека мудрее!

Я думал о том, что, если человек каждый день получает одни только радости, он, значит, их вовсе не получает. И о том, что если он с утра до вечера отдыхает, то, наверно, от этого устает. И о том, что, если человек каждый день видит деревья и небо, он их не видит, просто не замечает, а вот если он посидит в подвале... Может, я был не совсем прав, но мысли на то и мысли, чтобы в них можно было сомневаться.

Наконец спокойствие вернулось ко мне, и я заорал:

— На электричку!

— Мы все равно не успеем, — сказала Наташа.

— То есть как это? Почему?

— Потому что осталось всего двадцать три минуты, а до станции — сорок с лишним.

— Я вас... — начал Глеб.

Но тут раздался длинный, солидный гудок теплового. Электрички гудят по-другому: короче и как-то, я бы сказал, легкомысленнее.

Догадка внезапно озарила меня.

— Глеб!.. — воскликнул я, желая перекричать тепловоз, который уже умолк. — Глеб! Я чувствую по гудку, что станция совсем близко. Ты вел нас дальним путем... Запутанным! Ты хотел, чтобы мы... — Я не стал вслух объяснять, чего именно хотел Глеб: расследование еще не было закончено. — В общем, vedi нас кратчайшей дорогой. Самой короткой!

— Я и сам... Я вот как раз об этом...

Мы побежали. Предчувствие подсказывало мне, что станция должна показаться сразу же, как только мы обогнем сосновый лесок, в который упирался дачный забор. Но ведь, как я уже, кажется, отмечал, длинный путь может показаться коротким, а короткий — ужасно длинным, особенно если все время поглядываешь на часы и прислушиваешься, не шумит ли вдали электричка. «Иногда электричка на минуту-другую опаздывает, — думал я. — Но если нужно, чтоб она опоздала, то обязательно придет вовремя или даже немного раньше...»

Покойник все время отставал. Предчувствие подсказывало мне, что он может рухнуть, упасть: в тот день страх совсем измотал Покойника. К тому же ему пришлось голым вылезать из подвала. И это окончательно подкосило его.

Покойник не рухнул, он вскоре присел на пень. Наверно, среди молодого леса росла еще недавно могучая, старая сосна, но ее почему-то срубили: может, чтобы не выделялась или по какой-то другой причине. Пень был широченный, на нем вполне могли уместиться все шестеро. Но Покойниксел посередине, и никто, кроме него, не уместился. Впрочем, мы отдыхать и не собирались.

У Покойника все дышало: и нос, и грудь, и живот, и плечи... И даже ноги дышали. Вернее сказать, подрагивали.

Мы тоже остановились.

— Оставьте меня одного, — сказал Покойник таким голосом, словно был тяжело ранен. — Бросьте меня здесь. Нету сил...

— Я потащу тебя! — сказал Принц Датский и собрался уже взвалить Покойника на себя, но к ним подбежал Глеб.

— И я тоже его... чтоб легче...

В этот момент издали подала голос электричка.

— Из города... — сказал Глеб.

— Конечно. Для нашей еще рано, — согласился Принц Датский.

Наташа взглянула на свои часики.

— У нас есть семнадцать минут. Нет, шестнадцать...

Принц Датский и Глеб попытались схватить Покойника за руки, но он гордо отстранил их.

— Я сам!

— Пожалуйста, Гена... — тихо сказала Наташа. — Если можешь...

Покойник вздрогнул: давно уже никто из нас не называл его по имени. Мы просто даже забыли, что его зовут Генкой. Кажется, лишь в ту минуту Покойник по-настоящему понял, как волновалась Наташа.

таша. И он вдруг помчался вперед с такой быстротой, что мы с трудом за ним поспевали.

Ни одна детективная история не обходится без беготни и погони. И вот мы опять бежали... «Жалко, конечно, что нет погони,— успел я подумать.— Если б за нами по пятам гнался племянник Григорий, а мы бы успели вскочить в электричку и двери перед самым его носом захлопнулись, это было бы совсем здорово! Хотя ведь гнать человека, заставляя его мчаться вперед со всех ног может не только плохое, но и что-то хорошее, благородное!»

Одних из нас гнала забота о Наташиной маме. А других или, вернее сказать, другого, а еще точнее сказать, Глеба, я думаю, подгоняла совесть... Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что она в нем уже просыпалась. А предчувствие подсказывало мне, что скоро проснется совсем!

В тот день я все время о чем-нибудь думал, что-то замечал или предчувствовал... «Когда не происходит никаких интересных событий, то и интересные мысли не появляются,— рассуждал я.— Потому что нет никаких наблюдений... А когда происходит что-нибудь важное, мысли в голове прямо-таки теснятся. Поэтому в моей повести могло бы быть очень много лирических отступлений и разных раздумий. Но сюжет торопит меня, и от лирических отступлений приходится отступать... Да, именно события рождают умные мысли! Это я чувствую по себе. И это ведь тоже мысль! Мысль о мыслях!»

С этой мыслью я застыл, остановился как вкопанный.

Ноги мои сразу, без всякого предупреждения приросли к земле, и кто-то налетел на меня сзади. Но я даже не повернулся и не посмотрел, кто именно. А в того, кто налетел на меня, врезался еще кто-то... Все произошло так же, как бывает на шоссе, когда машина неожиданно тормозит.

Я смотрел вперед сквозь сосновый лесок. Он был молоденький, редкий, и сквозь него было ясно видно, что электричка подкатила к станции не из города, а с противоположной стороны. «Значит, та самая... которая в город. На которую мы спешим!» Я не успел еще как следует в это поверить, а электричка снова гуднула и тронулась.

О, как часто жизнь преподносит нам неожиданности! События продолжали с головокружительной быстротой сменять друг друга...

Наташа поднесла чашки к уху, и я заметил, что рука ее дрожит. Эта дрожь немедленно передавалась мне. Но я дрожал внутренне, про себя и не подавал виду.

В тот день дрожь уже не первый раз посещала нас всех. И было отчего подрожать!

— Идут...— сказала Наташа.— Я их утром по радио проверила.

Она оторвала часы от уха, на которое я смотрел. Никогда раньше я не замечал, что оно такое маленькое, аккуратное, плотно прижатое к волосам. Как мне хотелось, чтоб оно, это ухо, услышало что-нибудь приятное, радостное!

— Бывает, что электрички приходят раньше,— сказал я.— Особенно, если нужно, чтоб они задержались... Это я замечал. Но ведь не на четверть часа. Ну, на минуту, другую...

— Так что ж это было? — тоскливо вскрикнул Покойник.— Как тогда со скелетом? Галлюцинация?

— Не умничай,— сказал я.— Разберемся. Сегодня у нас...

Миронова подняла руку и торопливо, словно боясь, что ее кто-то опередит, подсказала:

— Воскресенье!

— Стало быть...

— ...выходной день! — подсказала Миронова.

Я медленно рассуждал:

— А в выходные дни бывают...

— ...дополнительные поезда! — поспешно закончила мою фразу Миронова. Когда нужно было подсказать учительнице или вообще начальству, она очень быстро соображала.

— Вот именно! — согласился я.— Это дополнительный поезд. Электричка в 17.00 придет. Я же сам видел расписание... На станцию!

Мы снова сорвались с места и побежали. Я мчался быстрее всех: мне хотелось первому убедиться, что это был действительно дополнительный поезд, а не самый обыкновенный, но тот, который подчиняется ежедневному расписанию.

Только Глеб пытался меня обогнать. Я понял: ему хотелось отличиться, чтобы хоть чем-нибудь похвастаться... Все-таки я раньше других подлетел к окошечку кассы. Желание мое сбылось. Но уж лучше бы оно не сбывалось!.. Возле окошечка висел металлический щит с колонками цифр и словами: «ежедневно», «по воскресеньям», «далее со всеми останковками»... Щит был разделен на две половины: «В город». «Из города».

Я забежал глазами по расписанию.

— Вот... Конечно! 17.00!

— Это из города,— раздался за моей спиной тихий Наташин голос.

— Как? Разве? Не может быть! — Слова вылетели у меня изо рта просто так, от волнения. Я и сам видел, что Наташа была права.

— А нам нужно было на 16.45! Эта электричка как раз и ушла...

— Разве? Не может быть! Как же так?

— Следующая будет через четыре часа,— сказала Наташа.— По этой ветке поезда ходят нечасто. Совсем редко... Особенно осенью. Поэтому я и просила тебя посмотреть, когда мы приедем...

«Как же это могло получиться?! — думал я, бессмысленноводя глазами по расписанию. Мне было стыдно обернуться и взглянуть на Наташу.— Утром я поспешил... Хотел поскорей выполнить ее просьбу. О, как мудра народная мудрость, которая учит нас: «Поспешись — людей насмешишь!»

Но никто не смеялся.

— Мы доберемся до дому не раньше одиннадцати,— сказала Наташа.— А я обещала маме в шесть или в семь... Не представляю, что с ней теперь будет. Не представляю... Как же так, Алики?

— Разве не ясно? Если б он утром внимательно посмотрел, мы могли бы успеть,— сказал тот самый Покойник, который еще недавно прощался с жизнью в подвале.— Мы бы поторопились.

Какие жестокие сюрпризы порой подсовывает нам жизнь! Теперь получалось, что я во всем виноват. О Племяннике успели забыть. Забыли и о том, что я, подобно смелому Данко, осветил всем дорогу к спасению (этот свет ворвался в подвал, когда я подошел к щиту со словами «Не подходить!» и отбросил его). Забыли, что я, именно я вывел всех из подвала, подарил всем свободу и независимость! Независимость от Племянника, который бы еще неизвестно сколько держал нас в страшном плену.

Давно я заметил, что люди помнят лишь о последнем твоим поступке. Можно совершить много больших и прекрасных дел, но если последнее дело (пусть даже самое маленькое!) будет плохим, его-то как раз и запомнят.

Путаница с расписанием произошла утром, но казалось, что именно это было моим последним поступком, и ошибка, моя случайная утренняя ошибка сразу как бы перечеркнула все. Теперь помнили

только о ней. Ощущение черной несправедливости больно ранило мое сердце... Но я не показал виду, что ранен!

О Глебе никто ничего не знал. Это тоже было несправедливо: ведь если бы он не попросил Племянника запереть нас, вообще не было бы никакой страшной истории. Но я не хотел позорить его. «Не делай чужое горе фундаментом своего счастья!» — учит нас народная мудрость. Так сказал папа моему старшему брату, Косте, когда тот хотел пригласить в театр девушку, которая нравилась его другу. И Костя не пригласил.

Расследование еще не было завершено. Мотивы преступления еще не были выяснены. «Зачем? Зачем Глебу понадобилось?» — этот вопрос жестоко терзал меня. И все же я не подал виду, что Глеб хоть в чем-нибудь виноват. Хотя делить вину на двоих всегда легче, чем принимать ее всю на себя. Глеб был рядом и, казалось, просил: «Поручи! Поручи мне что-нибудь трудное!» Он хотел искупить...

Наташа стояла возле окошка кассы и смотрела на расписание, будто все еще проверяла, надеялась... Выражение ее лица было таким, что капли дождя на щеках можно было принять за слезы. Решимость вновь овладела мною: «Я должен тут же, не отходя от кассы, что-то придумать! И осушить эти капли! И вернуть улыбку ее лицу! Да, я обязан. Тогда и она и все остальные снова увидят во мне спасителя: люди помнят о последнем поступке».

И тут... Идея, как яркая молния, сверкнула в моем мозгу. Но никто не заметил, потому что это было в мозгу.

ГЛАВА X,

в которой слышится крик из подвала

— У вас тут есть почта? — спросил я Глеба.
— За станцией, недалеко. По ту сторону... — торопливо и старательно, как Миронова, объяснил Глеб: ему хотелось, чтобы я позабыл о его темном прошлом.

— Там есть телефонная будка? — спросил я. — Для междугородных переговоров?

— Одна будка есть...

— Нам хватит одной! — крикнул я так громко и радостно, что все подбежали к нам.

— Я знал, что ты придумаешь... Что ты найдешь выход! Такой у тебя талант! — сказал Принц Датский, который продолжал ценить чужие таланты.

— Сейчас мы помчимся на почту, чтоб спасти Наташину маму и вообще всех наших родителей. Позвоним и скажем, что все в порядке: задержались, но к ночи будем. Глеб укажет дорогу.

— Это — великое дело! — сказал Принц, протягивая свои длинные руки, чтобы обнять меня. — И, как все великое, так ясно и просто: позвонить, успокоить. Это находка!

К чужим находкам он тоже относился с большим уважением.

Снова все посмотрели на меня с плохо скрываемым восхищением: люди помнят о последнем поступке.

Вдруг Принц помрачнел.

— Что случилось? — спросил я.

— Совсем забыл: у нас дома нет телефона... Но ничего. Мои родители, к счастью, здоровы.

И все-таки я погрузился в раздумье. Но не надолго! Когда я начинаю что-нибудь изобретать, возникает настоящая цепная реакция: одна идея цеп-

ляется за другую. Так было и в тот раз. Я поднялся на цыпочки и обнял благородного Принца.

— Дашь мне свой адрес! Я продиктую его старшему брату Косте, а он сбегает и успокоит твоих родителей.

В том, что у Наташи есть телефон, я не сомневался. Я это просто знал. Иногда я набирал ее номер и, если она подходила, молча дышал в трубку. «Что вы там дышите?» — сказала она однажды. С тех пор я перестал дышать.

— Веди нас, Сусанин! — обращаясь к Глебу, торжественно произнес Покойник.

Я бросил на Глеба мимолетный, но острый взгляд. Сам того не подозревая, Покойник попал в точку: утром Глеб, как Сусанин, сбивал нас с пути. Только Сусанин поступал так с врагами, а Глеб — со своими друзьями. В этом была принципиальная разница!

Мы побежали за Глебом. Почему мы спешили, трудно было сказать: до следующей электрички оставалось еще много часов. Просто мы в тот день привыкли бегать, будто нас все время настигала погоня. Но погони, к сожалению, не было!

А природа между тем жила своей особой, но прекрасной жизнью. То тут, то там виднелись лужи, в которые мы безошибочно попадали. Грязь напоминала густую, серую кашу, которая аппетитно чавкала под ногами. Дождь все усиливался, приятно освежая в пути. Деревья ласково протягивали нам свои кривые черные руки...

Глеб бежал впереди всех. И не только потому, что мы не знали дороги: он по-прежнему очень старался.

— Во-он там! — на ходу крикнул Глеб, указывая на одноэтажный домик, над которым была синяя с белыми буквами вывеска: «Почта. Телеграф. Телефон».

«Еще немного, — мечтал я, — и Наташа войдет в будку, из которой все будет слышно. И я уловлю слова: «Мамочка, не волнуйся!» Потом она выйдет и бросит на меня мимолетный, но благодарный взгляд. А потом и мы будем звонить... Денег хватит: ведь родители дали «на всякий случай», а в подвале тратить их было не на что».

Окна домика звали, манили меня к себе так сильно, что я обогнал Глеба. Эти окна казались мне близкими и родными до той минуты, пока я не увидел, что они с внутренней стороны плотно закрыты ставнями.

Я сразу немного отстал, и Глеб достиг домика первым. Но он не взбежал на крыльцо, а уступил мне дорогу. Я взбежал, дернул за ручку, которая оказалась холодной и мокрой. А дверь оказалась закрытой.

«Выходной день — воскресенье», — прочитал я на облезлой табличке.

О, какие печальные сюрпризы подсовывает нам жизнь!

Все смотрели на меня. В глазах не было и тени недавнего восхищения. Я был на крыльце, а чуть ниже стояли пятеро моих друзей — в пустом поселке, на мокрой земле, под дождем, возле закрытой почты. И они снова считали, что я виноват: если бы я утром не перепутал, они бы сейчас ехали в теплом вагоне к своим мамам и папам. Я перепутал... Это вновь стало для них моим последним поступком. А о том, что, если б не я, они бы все сидели в подвале, никто уже и не помнил!

Так я думал, пока не заметил в глазах у Наташи нечто иное. Я увидел в них ожидание и надежду. Как это было уже не раз в тот день. Она еще надеялась на меня!

И вновь началась цепная реакция: идеи одна за другой полезли мне в голову.

— А если добежать до соседней станции? Это далеко?

— Полчаса бега,— ответил Глеб.— Но районная почта здесь... А там нету будок...

— Воскресенье для всех воскресенье! — мрачно изрек Покойник.— Ты думаешь, там уже начался понедельник?

— Зачем же так? — неожиданно оборвал его Принц.— Зачем говорить под руку?

— Ну, если он будет думать рукой, наши родители обречены!

— Покойник, не трогай Алика! — сказал Принц так же грозно, как говорил раньше мне: «Не трогай Покойника!»

В его груди билось честное, благородное сердце! Поддержка вдохновила меня.

— А куда ты, Глеб, вчера звонил по междугородной? Чтобы предупредить Племянника... Ну, о том самом... о чем ты знаешь. Куда ты звонил?

— На дачу.

— Значит, там есть телефон?

— Да. Его дедушке... Он выступал на телефонной станции, и ему... Там даже табличка... на аппарате: «Гл. Бородаеву от благодарных читателей...»

— По этому телефону ты, Наташа, и позвонишь! — провозгласил я с крыльца, словно с трибуны.— А потом, если останется время, и мы позвоним.

— Нет... — сказал Глеб.— Ты не знаешь Григория. Он не позволит... Раз мы его...

Глеб еще не знал главного, — он не читал моей надписи на столе: «Племянник! Передай привет своей тете!» А если Племянник, в отличие от Глеба, уже прочитал эти слова? Тогда он и подавно не пустит нас к телефону! А то еще и загонит обратно в подвал... Встретаться с ним страшно!

Так я думал, а вслух сказал:

— Что нам Племянник! Шестеро одного...

— Не ждут! — подсказала Миронова. И первый раз в жизни, подсказывая, не угадала.

— Не боятся! — поправил я ее. И повторил: — Шестеро одного не должны бояться!

— Ты не знаешь Григория, — опять сказал Глеб.— Он же сидел... А мы не сидели... Нам не справиться...

— Посмотрим! — воскликнул я. Но по-прежнему стоял на крыльце: торопиться на «старую дачу» как-то не очень хотелось.

На выручку мне пришла цепная реакция: новая идея ярко вспыхнула среди рано спустившихся сумерек.

— Он нас пальцем не тронет!

— Пальцем, конечно, — занял Покойник.— А ты видел, какой у него кулак?

— Не видел! И ни один из вас не увидит, — сказал я уверенно.— И самого Племянника вы не увидите!

— Разве это возможно? — продолжал сомневаться Покойник.

— Возможно!

— Разве Племянник исчез? Испарился?

От страха Покойник опять стал изъясняться вопросами.

— Когда вы войдете в дачу, она будет пуста, — сказал я.— Вы верите мне?

— Верим, — сказала Наташа.

Это было мне скромной наградой.

— Бежим! — крикнул я.

И все опять побежали.

Если бы кто-нибудь в тот день наблюдал за нашими передвижениями со стороны, он бы решил, что происходит нечто весьма странное и подозритель-

ное. Сперва мы мчались от дачи к лесу. Остановились, помахали руками вокруг Покойника и снова помчались. Потом остановились на платформе, снова помахали, посоветовались и, обдавая друг друга брызгами грязи, устремились к почте. Опять остановились, опять помахали, посоветовались и со всех ног помчались обратно к даче... Теперь уж я все время бежал впереди, как вожак, который обязательно есть в любой стае — птичьей, собачьей и всякой другой. Мне не нужна была теперь помощь Глеба: я сам знал дорогу.

По пути к даче мы несколько раз отдыхали. Каждый по-своему. Покойник сразу бухался на пеню или на скамейку и дышал всеми частями своего тела: носом, ртом, животом и плечами. Принц Датский ходил, по-спортивному высоко поднимая ноги, вскидывая и опуская руки, глубоко и ровно дыша. Глеб начинал прогуливаться где-нибудь подальше от меня: он избегал моих глаз и вопросов. Казалось, он хотел, чтоб я позабыл о его существовании. И о раследовании, которое все еще не было закончено: у меня не хватало времени. Внезапно он поворачивал голову, словно за деревьями и за кустами его настигали мои мучительные сомнения: «Зачем ты, Глеб, это сделал? Зачем?!»

Миронова, с трудом переводя дыхание, все же поднимала руку и спрашивала: «Надо отдохнуть?» — давая понять, что, если потребуется, если будет отдано распоряжение, она тут же без остановки помчится дальше.

Но в общем-то у всех вид был потный, взъерошенный. Даже я еле заметным движением стираю со лба капли усталости. И только Наташе усталость была к лицу. Лишь по легкому, едва проступавшему румянцу да по блеску больших серых глаз, которые меня ослепляли, можно было догадаться, что она немного утомлена. Я был уверен, что не существует в жизни таких положений, которые бы застали Наташу врасплох и могли бы ей повредить. Все ей было к лицу, и от этого мне становилось страшно...

Когда показалась «старая дача», которая вовсе не была старой, мои друзья решили вновь отдохнуть. Они боялись к ней приближаться. Да, острая наблюдательность подсказала мне, что они робели.

Глеб всегда чуть-чуть пригнулся и, казалось, любил изучать землю у себя под ногами. Раньше это было от скромности, а в тот день, как я уже говорил, он боялся встретиться взглядом со мной. Со мной, который многое понял, многое знал о нем, но кое-что еще недорасследовал...

Однако на последнем привале Глеб подошел и сказал:

— Ты не знаешь Григория... Его все тут... как огня! Он ведь сидел... за драку... Сидел!

— И еще посидит! — сказал я.

— Где?

— Не там, где раньше, но посидит. Пока это тайна.

Остальные молча переминались с ноги на ногу, но глаза их старались остановить, удержать меня. «Умный в дачу не пойдет, умный дачу обойдет!» — говорили взгляды друзей. И хотя я в тот день убедился, как мудра народная мудрость, но на сей раз она меня не устраивала. Я вступал с ней в конфликт.

Наконец Принц Датский не выдержал и воскликнул:

— Ты смелый, Алик! Ты самый смелый из нас!

Он уважал чужую отвагу.

— Я знаю, что мои стихи не приносят никому особенной радости, — сказал он.— Но я никак не могу отвыкнуть...

— От чего?

— Высказывать свои чувства в стихах.

— Почему ты об этом заговорил?
— Потому что пришли мне на ум кое-какие строчки. Пока мы бежали. Отойдем на минутку. И я тихо прочту. Тебе одному! Хочешь?
Я понял, что ничего плохого Принц обо мне сочинить не мог. Поэтому мне захотелось, чтобы Наташа тоже услышала строчки, которые пришли Принцу на ум. Это ведь так приятно, когда тебя хвалят в присутствии любимого существа!
Я как бы по просьбе Принца отошел в сторону. Но в ту, где стояла Наташа. И сказал:
— Прочитай! Не обязательно мне одному. И не обязательно тихо. Зачем же наступать на горло собственной песне?

Понял я: не речи, не отметки
Остаются в памяти навек.
В этот день ты доказал нам, Деткин,
Что делами славен человек!
Чтоб хвалу могли воздать мы смелости,
Ты вернись в сохранности и целости!

Но и сам Принц Датский никогда не был трусом. Он предложил:

— Хочешь, я пойду вместе с тобой?
— И я пойду,— сказала Наташа.
В ее фразе было только три слова. И в двух из них было всего по одной букве. Всего по одной! Но слова эти обожгли меня (в положительном смысле).

Я не собирался, подобно Покойнику, говорить, что мечтаю погибнуть. Наоборот, после трех Наташиных слов мне захотелось продолжить свое существование, как никогда раньше! Но и, как никогда раньше, я готов был рисковать собой во имя высокой цели: спасти ее маму. И всех наших мам! Папы, мне казалось, меньше нуждались в спасении.

На том последнем привале я понял, что любовь способна вдохновить человека на многое.

— Мне понятно ваше желание разделить со мной трудности,— сказал я.— Поверьте: мне очень не хочется наступать на горло вашей песне! И народная мудрость гласит: «Один в поле не воин!»

Тут я подумал, что уже второй раз за какие-нибудь пять минут вступаю в конфликт со старой народной мудростью. «Наверно, ни одна мудрость не годится на все случаи жизни!» — решил я. В тот день мысли и обобщения буквально одолевали меня.

— В данном случае,— сказал я,— совершенно необходимо, чтобы воин был в поле один. Но вы все время будете рядом со мной! — Я взглянул на Наташу.— Ну, а если я не вернусь...

— Ты вернись в сохранности и целости! — сам себя процитировал Принц.

— Постараюсь,— ответил я.
— Ты уходишь? — с тоской сказала Мироньва: она боялась остаться без руководства. Все-таки командиром был я!

— Что ты задумал? — спросила Наташа.— Может быть, скажешь? Что ты задумал?..

— Я открою вам путь к телефону! Я устрою Племянника!

— Устранишь? В каком смысле? Физически? — испуганно прошептал Покойник.— В каком смысле?..

— В том смысле, в котором надо!
— Устранишь? — растерянно сказал Глеб.— Но ведь это... он, знаешь... Его все тут... как огня!

«Уж ты бы помалкивал!» — хотел я ответить Глебу. Но удержался: расследование не было завершено, и я не имел права при всех его обвинить, вынести ему приговор.

— Значит, идешь один? Окончательно? — спросил Принц.

Я чувствовал, что друзья хотят оттянуть тягостную

минуту. Они смотрели так, будто прощались со мной навсегда. Это было выше моих сил. И я сделал решительный шаг: сбросил с себя пальто.

— Ты простудишься,— сказала Наташа.
— Что поделаешь? Это необходимо.

Она протянула руки и взяла мое пальто. «Если что... пусть это будет памятью обо мне», — хотел я сказать. Но не сказал.

— В случае чего... ты кричи,— попросил Принц. Он предложил это из лучших намерений. Но я взглянул на него с удивлением.

— Кричать? Ни за что!

— Что же нам делать? Бездействовать?
— Спрятаться за деревьями и ждать моего сигнала! Когда я высунусь из окна и незаметно махну рукой, знайте: с Племянником покончено!

— Навсегда? — спросил Покойник.
— Навсегда или временно — какое это имеет значение? Важно, что путь к телефону будет свободен!

Я вам незаметно махну...
— Почему незаметно? Ты маши позаметнее.

А то мы не заметим,— сказал Принц.

— Будь осторожен... — тихо попросил Глеб.

«Думал бы раньше!» — мысленно дал я ответ. И смелым, решительным шагом двинулся к даче, навстречу риску, подвигу и неизвестности.

А природа между тем продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью. Дождь усилился. Я знал, что друзья, следящие за каждым моим движением, видят, как ветер развеивает мою одежду и как фигура моя постепенно словно бы растворяется в густой дождевой пелене...

Я вошел в дачу. Сердце мое билось так сильно, что я придержал его рукой. И стал подниматься по «ворчливо-скрипучей» лестнице, которая не скрипела. Каждый шаг приближал меня либо к торжеству, либо... Но об этом я старался не думать.

Сверху опять донеслось бормотание:
— Ах, вы все еще трепыхаетесь? Тогда уж мы вас добьем! Ах, вы так?.. Тогда мы вас бац по загревку!

Мне казалось, что эти слова относились ко мне. И я остановился. Но лишь на секунду. А потом, чтобы не оставлять себе времени для сомнений, быстро взбежал по лестнице. На пороге бывшей комнаты Дачника я вновь на миг задержался: распахнул куртку, разорвал свою старую рубашку на тех самых местах, где она уже была заштопана, потом и ее распахнул, чтобы было видно мое голое тело. Я толкнул дверь. Племянник по-прежнему играл сам с собой

«в дурака».

Вид у меня был такой мокрый и растерзанный, что Племянник, мне показалось, в первую минуту меня не узнал. Но потом пригляделся и поднял свое огромное тело из-за стола:

— Это ты... парнек?

— Я... — ответил я, дыша так, чтоб он понял, что я почти задыхаюсь.

— Сквозь стену прошел?

— Нет... Я через дверь. Через ту, которая перекосилась и открывается только чуть-чуть. Сбросил пальто — и пролез. Видите, рубашку порвал. Но пролез. Остальные застряли и вернулись обратно. А я прямо к вам!

— Чего же не смылся?

— Мне вам нужно сказать... Сообщить!

— Смелый ты, я погляжу, парнек. А если я тебя обратно туда запихну, как сельдь в банку?

— Запихните! Пожалуйста!.. Я сам с удовольствием запихнусь. Но сначала послушайте. Я должен вам сообщить...

На его маленьком личике вновь не уместилось ничего, кроме усмешки.

— Я бы вас выпустил. Немного попозже.— Он захихикал.— Но раз вы сами хвост подымаете, смотрите, гаврики! Там ведь написано: «Не подходить!» А ты, парнек, подошел? Начихал, значит? Запихну я тебя обратно. И будешь сидеть тихо, будто мать родная не родила!

— Запихните! Пожалуйста! Но сначала послушайте!

— Чего там?..— Он махнул на меня рукой, словно на комара.

— Мы обнаружили там... исключительно интересную запись! На крышке стола. Прямо на крышке, сверху! Вы не заметили, потому что эта запись сделана карандашом и чуть-чуть стерлась. Но зато очень важная! И адресована лично вам!

— Мне?

— Лично вам! Представляете?

— Мне лично?

— Вам! Не верите? Можете посмотреть!

— На столе?

— Прямо на круглой крышке. Если вам за какие-то бумажки музей объявил благодарность, то уж за стол с надписью... Наверно, портрет ваш в музее повесят. И всем экскурсантам будут рассказывать!..

— А может, и деньжатами пахнет?

— Заплатят! — уверенно сказал я.— Во-первых, за стол: это же предмет, непосредственно связанный с жизнью писателя. И его творчеством! Потом, он же всего на трех ножках... А в музее, знаете, как? Чем старее вещь, чем больше поломана, тем сильнее за нее хватаются. Слышали, говорят: «Музейная редкость»? Это, значит, что-нибудь поломанное или разорванное. А во-вторых, там же надпись, обращенная к вам! Табличку прибить: «Из личного архива...» Я такие читал. И повесят портрет... Ваш портрет!

— Ну, ты не умничай! — Племянник вновь махнул на меня рукой.— Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу... дух из тебя! Понял?

Довольный собой, он рассыпал мелкий, противный смехок. И затопал вниз, перешагивая через две или три ступени. Я еле за ним поспевал.

«Лишь бы не сорвалось! — думал я.— Ну, а если сорвется... Я погибну в подвале. И не так, как Аида и Радамес, которые все-таки были вдвоем. Нет, я закончу свою жизнь в темном, сыром одиночестве! Все решится буквально через секунды. Вот сейчас! Вот сейчас...» Я вытер со лба капли страха. Даже не очень опытный глаз мог бы безошибочно определить: меня трясла лихорадка. Как хорошо, что Наташа была далеко!

Наконец мы остановились у двери, ведущей прямо в подвал.

Племянник схватился за щеколду. Железо со ржавым стоном проехало по железу. Потом он повернул круглую головку английского замка.

— Проходи-ка, парнек...

— Нет, вы вперед проходите. Вы ведь старше! Я себе не позволяю...

— Вежливый ты, парнек! Не люблю вежливых.

Он шагнул в сырой мрак подвала.

И в то же мгновение дверь, которую я смело и решительно толкнул ногой, захлопнулась. Щелкнул замок, от которого ни у кого не было ключа... На всякий случай я тут же навалился на щеколду и с трудом задвинул ее.

— Парнек, ты что? — слышалось за дверью.

— Не хочу вам мешать, — с плохо скрываемым злорадством ответил я.

— Открой дверь! Откр-р-рой!

— А вы нам открыли?

— Ну, пар-р-рнек! Ну, ты у меня!..

— Пока что не я у вас, а вы у меня... сидите в подвале.

— Сейчас я твоих дружков... Я их всех! Будто мать родная не родила!.. Я их...

— Сначала найдите!

— Да я их!

— Посидите вдвоем со скелетом!

Он стал колотить в дверь ногами. Но она была прочно обита ржавым железом.

— Попробуйте пролезть через другую дверь,— посоветовал я, зная, что через нее пролезет только маленькая головка Племянника. Или его нога.

— Навр-рал? Ты мне навр-рал?

— Нет, я сказал правду. Подойдите к столу — и убедитесь!

Послышался топот его ножищ.

«Вот сейчас он остановился возле стола... — думал я.— А сейчас вот читает: «Племянник! Передай привет своей тете!»

— Откр-р-рой! — раздался крик из глубины подвала, похожий на рев циклопа, запертого в пещере.

Чувство законной гордости переполнило меня! Был открыт путь к телефону. Наташина мама была спасена!..

ГЛАВА XI,

*в которой мы слышим разные голоса
и топот погони...*

— Как тебе удалось? Как ты это совершил? Как сделал? Как?! Расскажи!

— Важен результат, — отвечал я на вопросы своих друзей. — Он сидит в подвале? Сидит! Он кричит в подвале? Кричит! Остальное, как говорится, детали.

— Победителей не судят! И не спрашивают!.. — изрек Покойник.

Ему не хотелось, чтобы мной восторгались, чтобы меня спрашивали. И хоть наши желания решительно не совпадали, я тоже сказал:

— Зачем оглядываться назад? Лучше будем смотреть вперед!

— Я слышал, что у военных принято анализировать военные операции, которые привели к победам, — сказал Принц Датский. — На них учатся остальные.

Мне не хотелось вслух анализировать свою «операцию». Ведь я перехитрил Племянника... А хитрость со стороны всегда выглядит менее выгодно, чем прямая схватка, чем смелость, проявленная в открытом бою. «Если бы они слышали своими ушами, как Племянник грозил запихнуть меня обратно в подвал, словно сельдь в банку, — рассуждал я, — они бы поняли, что я проявил не только находчивость, но и храбрость. Но они этого не слышали и уже не могут услышать. Пусть же догадываются сами. Вдруг Наташа подумает, что Племянник трусил, испугался меня! Я не буду с ней спорить. К сожалению, она вряд ли может так подумать...»

И хотя я предложил не оглядываться назад, мне внезапно захотелось, чтобы они услышали рычание Племянника и поняли, какого противника я победил. Всем не терпелось добраться до телефона, но я предложил:

— Давайте спустимся на минутку!

Спустились все, кроме Глеба... Он, который старался первым выполнять мои приказания и даже, подобно Мироновой, заранее угадывать их, тут вроде бы не расслышал. Я не стал насиловать его волю.



— Может, он боялся, что я и его тоже загоню в под-земелье. А может быть, считал себя не вправе изде-ваться над Племянником, который еще недавно был его верным сообщником. Соучастником его пре-ступления! И вновь передо мной возникла загадка, которую еще предстояло понять, разгадать: «Зачем Глеб звонил Племяннику? Зачем просил его запереть нас в подвале? Зачем?!»

— Мы подошли к двери, обитой ржавым железом, и я крикнул:

— Ну, как там дела? Какое у вас настроение?

Племянник стоял по ту сторону возле самой дже-ри, как тигр возле металлических прутьев клетки.

— Откр-рой! — заорал он. — Откр-рой!

Все отскочили в сторону. Но я остался на месте. Я даже не шелохнулся. И с плохо скрываемой на-смешкой произнес:

— Мы же освободились собственными силами. Без вашей помощи. Вот и вы постарайтесь! Про-явите инициативу, находчивость. Посидите, поху-дейте — тогда, может быть, пролезете через ту дверь, через которую мы...

— Я р-разнесу дачу! — кричал Племянник.

— Тетя будет очень огорчена, — спокойно ответил я. И обратился к своим друзьям: — Прошу вас на-верх! К телефону. Прошу!

Все тихо мне подчинились.

Мы вошли в комнату, которую когда-то снимал у тети Племянника Гл. Бородаев. Она переходила прямо в террасу, а терраса выходила прямо во двор.

Телефона я в комнате не увидел. И внутренне по-холодел: неужели все мои старания оказались на-прасными?

Но уже в следующий миг я внутренне отогрелся:

Глеб поднял со стола старый женский халат, и оказалось, что телефон скрывался под ним.

— Зачем это? — спросил я.

— Тетя очень боится... Если соседи, которые с других дач... То всегда будут просить... Она прячет, чтобы не знали. Он ведь прямой!

— В каком смысле?

— Сразу соединяется с городом... Такой только дедушке... В благодарность...

К аппарату была прибита потускневшая пластинка: «Гл. Бородаеву от благодарных читателей».

Рядом лежала бумажка, на которой были записаны телефоны: милиции, «Скорой помощи», пожарной команды и еще какой-то.

— Это чей? — спросил я.

— Тети Племянника... — сказал Глеб. — Она в городе. Он ей звонит. Сообщает...

— Понятно.

Острая наблюдательность немедленно подсказала мне, что никто не решается первым снять трубку. Вдруг отключен за неуплату? Или испорчен?..

Смелым движением руки я поднес трубку к уху: раздался гудок. Наташин телефон я знал наизусть. Но она не знала, что я его знал. И я не хотел, чтоб она об этом догадывалась: ведь я чуть не с первого класса звонил ей и долго дышал в трубку, а потом перестал дышать.

— Наташа, какой у тебя номер?

Она ответила. Я набрал... Послышался женский голос. Он был мне отлично знаком: раньше, услышав его, я сразу же вешал трубку. Но сейчас не повесил, а передал Наташе:

— По-моему, твоя мама.

— Мамуля, — сказала она так нежно, что острое чувство зависти вновь проникло мне прямо в сердце. Если б она сказала таким голосом «Алик», я отдал бы все самое дорогое: новый велосипед (двухколесный!), шариковую ручку, и бильярд с металлическими шариками!

Она продолжала:

— Нет, не из города... Мы еще здесь, на даче. Опоздали на электричку. Все хорошо. Ты не волнуйся. Я буду часов в одиннадцать. Попроси, пожалуйста, Анну Петровну, чтобы не уходила. Чтобы еще посидела с тобой... дождалась меня, если может. Попросишь? Честное слово? Нет, все хорошо! Сейчас мы на даче. Нет, не на улице. Ты не волнуйся. Просто опоздали на электричку. Целую тебя!

«Уж этого-то мне никогда не услышать!» — с плохо скрываемой грустью подумал я.

И вдруг она сказала:

— Спасибо, Алик!

— Не стоит. Пожалуйста... — ответил я и громко закашлялся, чтоб не услышали, как заколотилось в груди мое сердце.

Я вновь поднял трубку и протянул ее Мироновой: я уступал место женщинам!

— Сколько минут можно разговаривать? — спросила Миронова.

— Сколько хочешь. Ты же не в автомате.

— Разве не ясно? — задал вопрос Покойник.

— Что? — спросила Миронова.

— Разве не ясно, что и другие родители тоже волнуются? И что поэтому не надо затягивать? Разве не ясно?..

Он заговорил в своей излюбленной форме. Миронова быстро набрала номер. Я, как детектив, постарался представить себе весь ее разговор полностью, угадывая и то, что ей отвечали.

— Валентин Николаевич! — закричала Миронова.

— Ты говоришь...

— Издалека! — закричала Миронова.

— Очень плохо...

— Слышно! — крикнула она. — Это потому, что я нахожусь за городом.

— Тебе нужно...

— Маму! Или папу. Или брата. Или сестру.

Я понял, что Миронова любит подсказывать не только учителям, но и соседям по квартире. Всем, кто старше ее. И главное!

Потом подошел брат, потому что Миронова назвала его по имени:

— Передай маме, Михаил, что я приеду в одиннадцать. Или в одиннадцать часов десять минут. Потому что мы опоздали на электричку. Повтори все это слово в слово!

— Ты приедешь в одиннадцать. Или в одиннадцать часов десять минут, — повторил брат Михаил. — Потому что ты опоздала на электричку.

— Не я опоздала, а мы. Мы все опоздали! — строго поправила Миронова. — Повтори еще раз.

Он повторил. На этот раз без ошибок, потому что она повесила трубку. Не сказала ни «целую», ни «до свидания», а просто повесила.

Я понял, что Миронова умеет не только подчиняться, но и приказывать. Тем, кто моложе ее. В том, что брат был моложе, я почти не сомневался, хотя она и называла его Михаилом. И все же, чтобы проверить свою догадку, спросил:

— Это младший твой брат?

— Он моложе на один год и семь месяцев, — ответила Миронова.

Острая наблюдательность и на этот раз не обманула меня.

Как только Миронова отошла от аппарата, Покойник, не дожидаясь моего приглашения, сам бросился к телефону.

Но его номер был занят.

— Разве нельзя было в другое время? Разве можно так долго? — ворчал Покойник. И неожиданно заорал: — Мамочка, это я! Телефон был так долго занят... Ты звонила дежурному? Какому? Ах, по городу? В больницу? И в морг?!

Его мама волновалась так, будто Покойник умер.

Потом Покойник зачем-то сообщил, что мы на даче одни, то есть без взрослых. Тут уж голос его мамы стал так ясно слышен, будто она была не в городе, а на соседней даче. Покойник объяснял:

— Нет, мы не сами... Нам Нинель разрешила!

— Зачем? Зачем ты это сказал?! — Я дернул его за рукав. Но было уже поздно. Мама кричала, что она родила Покойника не для того, чтоб его потерять. Или что-то похожее.

Я вновь, как опытный детектив, мысленно представил себе весь разговор.

— Как ваша учительница могла это сделать? Ведь мы же ее предупреждали! — кричала мама.

— Когда предупреждали?... — удивился Покойник. И я еще раз понял, насколько лучше, если на родительское собрание идут не родители, а идет старший брат: Покойник не знал никаких подробностей.

— Ну, уж это последняя капля! — кричала мама, будто с соседней дачи. Но всех слов не было слышно, и мне приходилось догадываться.

— Как это последняя? В каком смысле? — продолжал удивляться Покойник.

Я понял, что его мама была среди тех, которые напали на нашу Нинель.

Глеб пригнулся так низко, как не пригнулся еще никогда.

— Иди! Твоя очередь! — сказал я с плохо скрываемой злостью.

— Я потом... После тебя... Я могу после...

— Еще бы: у тебя дома ведь никто не волнуется! Ты, конечно, заранее предупредил. Уж ты-то знал...

Никто из ребят нас не понял. Но мы хорошо поняли друг друга: Глеб заранее знал, что мы поздно вернемся. Он сделал для этого все, что мог. И, конечно, еще утром предупредил, чтоб его не ждали.

— О Нинель Федоровне ты не подумал? — тихо, немного притушив свой справедливый гнев, спросил я. И угрожающе, но шепотом, чтоб другие не слышали, добавил: — Скоро я выясню все. Все мотивы! Зачем тебе было нужно?.. А? Потом объяснишь! А теперь звони. Как ни в чем не бывало! Иначе все догадаться раньше времени.

Он колебался.

— Звони, будто и у тебя дома волнуются!

Он подчинился.

— Мы тут... Я поздно... В одиннадцать... — сообщал он то, что его папа, сын писателя Гл. Бородаева, и раньше прекрасно знал.

Я издал обдавал Глеба холодной струей презрения. Но так, чтоб эта струя не попала случайно в других, то есть чтоб мой взгляд не перехватили и не догадались о чем-нибудь прежде, чем я закончу расследование.

Потом я узнал адрес Принца, записал его и набрал номер своего телефона. Он тоже долго был занят.

«Может быть, тоже звонят в морг? — подумал я. — Или Костя разговаривает со своими приятелями? А точнее сказать, с приятельницами?..» Телефон был занят минут пятнадцать, не менее. Но и не более, потому что я проверил по часам, которые были на руке у Наташи. У меня тоже были часы, но я старался как можно чаще обращаться к ее маленьким часикам. Брал Наташину руку, подносил к своим глазам. Это были незабываемые минуты!

Номер был занят, а я радостно улыбался. Все смотрели на меня с удивлением.

— Если так долго, значит, это наверняка Костя, — стал объяснять я. — Мой брат! Именно он должен сбежать к родителям Принца. Хорошо, что он дома! Наконец я высказал Косте свою просьбу.

— А Нинель Федоровна с вами? — спросил он таким тоном, каким обычно не спрашивают об учителях. — И она тоже просит меня?

— Да! — Я солгал. Но ради высокой цели!

— Тогда я сделаю это немедленно. Передай ей приветик! И сообщи, что я буду ходить на все родительские собрания. Пусть почаще их созывает. Салют! Я мчусь к родителям Круглова!..

Круглов — это была фамилия Принца.

Даже не очень опытный глаз мог безошибочно определить, что у всех стало хорошее настроение: мы уже не волновались за наших родителей, потому что они уже не волновались за нас.

Моя мама не была так тяжело больна, как Наташина. Но я часто думал о здоровье мамы и папы. Однажды я услышал по радио, что долголетие часто как бы получают в наследство от родителей, от бабушек и дедушек. Одним словом, от предков. Это меня очень обрадовало: мои бабушки и дедушки — все четверо! — были бодрые и здоровые. Значит, их дети, то есть мама и папа, тоже должны были прожить очень долго!

Один дедушка был даже до того здоров, что лет десять назад развелся с бабушкой, которая тогда еще не была бабушкой в полном смысле этого слова, и потому тоже смогла выйти замуж второй раз. Теперь иногда дедушка (по маминной линии) приходил к нам в гости, как говорили, «с молодой женой», а бабушка (тоже по маминной линии) приходи-

ла со своим «молодым мужем», который был старше ее лет на пятнадцать. Мы всегда встречали их очень гостеприимно. Единственное, за чем приходилось следить, это за тем, чтобы бабушка с мужем и дедушка с женой не приходили в один и тот же день, то есть, как говорил Костя, «чтобы не сталкивались». Я поинтересовался однажды своими прабабушками и прадедушками, — оказалось, что они тоже жили на свете долго. Теперь оставалось мечтать только о том, чтобы врач, выступавший по радио, оказался прав: я очень надеялся на наследственность! Я очень хотел, чтобы мама и папа всегда были здоровы...

Еще я слышал о том, что дети переносят любые болезни гораздо легче, чем взрослые люди. И когда мама или папа заболели, я огорчился из-за того, что болезни внутри семьи нельзя распределять по своему усмотрению: я бы с удовольствием принимал на себя их гриппы, ангины, спазмы сосудов. И даже камни, которые где-то откладывались у папы, я бы, не задумываясь, взял и «отложил» где-нибудь у себя.

Я знал, что у взрослых от волнения повышается давление, сосуды сжимаются и происходит еще много такого, чего со мной никогда не случалось. В общем, мы вовремя позвонили!

Все смотрели на меня так, будто хотели вслед за Наташей сказать: «Алик, спасибо!..»

И хотя все наши родители были уже успокоены, мне показалось, что телефон мы использовали не до конца.

— Давайте позвоним кому-нибудь из ребят! — предложил я.

Начали с Парамонова. Это был человек лет двенадцати с половиной, не более. Восторженность была его яркой особенностью. Он мог сделать слона не только из мухи, но даже из комара. Я знал, что, если позвонить Парамонову, он разрезвонит об этом звонке на всю школу.

— Парамонов, — произнес я в трубку чуть приглушенным, таинственным голосом. — Привет тебе прямо со старой дачи!

— Вы еще там?

— А где же нам быть?

— Потрясающе! С Нинель Федоровной?

— Нет, абсолютно одни.

— Просто не верится!

— Приезжай посмотри!..

— Одни в целой даче?

— Да. Она полностью в нашем распоряжении.

— Потрясающе!

— Мы вернемся глубокой ночью.

— Не может быть...

— Позвони ко мне домой — и проверь у родителей. Или к Покойнику. Уж родители не соврут!

— Почему же так поздно?

— Мы сидели в подвале.

— Долго?

— Четыре с половиной часа. А может быть, больше.

— Потрясающе! Что вы там делали?

— Раскрывали страшную тайну.

— И раскрыли?

— Да, мы раскрыли. Тайну скелета!

— Кого?

— Скелета, скелета... Не удивляйся!

— Настоящий скелет?

— А ты думал — игрушечный?

— Чей?

— Трудно сказать с абсолютной точностью. Мы не были с ним знакомы...

— Вы в той самой даче? Которая описана в повести? Ну, в той, в которой исчез человек!

— Мы тоже могли исчезнуть. Но мы боролись!

— Их было много?

— Один человек.

— Всего один? А вас — целый литературный кружок!

— Если бы ты видел его, ты бы понял... Но мы победили. Теперь он наказан и находится в заточении. Мы посадили его в подвал!

Потом мы стали звонить другим своим одноклассникам.

— Слушайте старую дачу! — говорил я. Или так: — На проводе — старая дача! Мы вернемся глубокой ночью...

Нам завидовали и поэтому сомневались:

— Наверно, сидите дома?

— Можете проверить у наших родителей. Уж родители не соврут!

Чтобы Наташа не сочла меня в чем-то нескромным, я говорил: «Мы боролись... Мы разгадали... Мы посадили в подвал...» Хотя на самом деле боролся с Племянником я один, и я один загнал его в подземелье. «Пусть для своих одноклассников я буду пока безымянным героем, зато для Наташи навсегда останусь скромным и чистым!» Эта мысль меня утешала.

— Разве нам не пора на станцию? — спросил Покойник.

— Пора, мой друг, пора! — со вздохом ответил я: мы еще не успели обзвонить всех, — в нашем классе училось сорок два человека.

Время у нас было, но сомнения меня подгоняли: «А если я снова что-нибудь перепутал? А если электричка придет раньше, чем полагается?..»

— Бежим! — сказал я. Ходить мы в тот день вообще разучились.

— Но сначала надо выпустить из подвала Племянника, — сказала Наташа.

— Зачем его выпускать?

— Чтобы он там не умер.

— О, как ты добра! — воскликнул я и прижал руки к груди.

— Пусть сидит «за решеткой, в темнице сырой», — сказал Покойник. — Разве он не заслужил наказания?

— По-моему, он свое отсидел, — сказала Наташа. И взглянула на часы.

— Мы сидели гораздо больше, — возразил я. — Хотя ни в чем не были виноваты. Почему же он должен сидеть меньше, чем мы?

Мне не хотелось ей возражать. Выполнять любое ее желание — вот что было моей мечтой! «Но как же нам его выпустить? Каким способом? — молча рассуждал я. — Пожалуй, освободить его из подвала еще трудней, чем загнать туда!»

Мы вышли из комнаты и стояли возле лестницы: она вела прямо к железной двери, которая вела прямо в подвал.

— Он ведь не сам... Это же я... — тихо начал Глеб.

— Молчи! — Грозным шепотом я закрыл ему рот: не хватало еще, чтобы он сознался и сам все раскрыл. Нет, это должен был сделать я, Детектив!

— Наташа права, — сказал добрый Принц Датский. — По-моему, племянник Григорий уже осознал... Сидит тихо.

Как раз в эту минуту из подвала донеслось:

— Откр-рой! Слышишь, парнек? Сломаю стену! Оторву тебе голову!

— Я готов пожертвовать своей головой! Но она еще может вам пригодиться: следствие не закончено! — крикнул я, перегнувшись через перила, чтобы

Племянник услышал. — Кое-что мне неясно... Следствие будет доведено до конца! До победного! И, может быть, я найду смягчающие вину обстоятельства. Так что сидите тихо!

Я взглянул на Глеба. Он пригнулся, и нежная, бархатная кожа его лица прикрылась нервными пятнами. Я пощадил Глеба и не стал объяснять, что именно я уже выяснил и что осталось неясным. Кроме того, по всем правилам я не мог его обвинять, не установив мотивов совершенного преступления. А может быть, среди этих мотивов действительно найдутся смягчающие вину обстоятельства? Для Глеба и даже, может быть, для Племянника. Законность! Прежде всего законность!..

— В конце концов я могу пожертвовать своей головой, — повторил я. — Но одной головы ему будет мало... А вами я рискнуть не могу! — И взглянул на Наташу.

— Откр-рой! — орал из подвала Племянник. — Дачу сожгу! Не пожалееу себя!

— Вот видите: он себя не хочет жалеть. А вы думаете, что он пожалеет вас. О, как вы доверчивы!

— Что же делать? Время идет, — сказала Наташа. — Где выход, Алик?

Все повернулись ко мне. И в глазах я прочел надежду, которую не мог обмануть!

Судьбе было угодно, чтоб именно в ту минуту мой взор проник прямо в комнату, дверь которой была открыта, и упал прямо на бумажку, лежавшую возле телефонного аппарата. На ней (я это запомнил!) были написаны номера милиции, «Скорой помощи», пожарной команды и тети Племянника. Идея тут же, без всякого промедления озарила меня.

— Мы позвоним к тете, она завтра утром приедет и освободит его!

— Вон... На бумажке... — подсказал Глеб.

— Спасибо, — ответил я таким тоном, будто нуждался в его подсказке. Мне вдруг захотелось самому подкинуть Глебу какие-нибудь смягчающие обстоятельства. Дать ему возможность чем-нибудь испить... Хотя каждый раз, когда я взглядывал на него, один и тот же вопрос обжигал меня: «Зачем? Зачем он все это сделал!..»

— До утра держать человека в подвале нельзя, — сказала Наташа.

— Человека нельзя. Но Племянника...

Второй раз в жизни я возражал ей. Это было невыносимо!

— Жестокостью нельзя победить жестокость, — сказала Наташа.

Я был уверен, что эту мысль она обязательно должна записать в тетрадку. Хотя я с этой мыслью и не был согласен. Доброта к противнику — не жестокость ли это? И можно ли, пожалев противника, не наказывать при этом себя? Такие сомнения терзали меня и чуть было не растерзали совсем.

Я был уверен, что и мои мысли попадут в общую Наташину тетрадь, когда она наконец станет о б щ е й в самом прекрасном смысле этого слова: ее и моею!

Может быть, Наташины мысли были благородней моих. Но с благородными мыслями, как я понял в тот день, очень много мороки: очень уж они осложняют жизнь. Позвонили бы тете — и все. Так нет же: нельзя держать человека в подвале!

— Освободить должен кто-то один, — сказал я. — А остальные должны перед этим исчезнуть. И в условленном месте ждать того, кто отправится навстречу опасности.

Все подумали, что навстречу опасности непременно отправлюсь я. В глазах друзей я прочел нетерпеливое ожидание моего подвига. Именно моего!

Что ж, я сам их к этому приучил. И вдруг Наташа сказала:

— Ты не пойдешь.

И хоть на этот раз я отправляться на подвиг не собирался, но в ответ на ее слова грустно вздохнул и сказал:

— А почему бы мне не пойти?

— Потому что тебя он ненавидит больше, чем нас.

И именно тебе собирается оторвать голову.

«Значит, она дорожит моей головой!» — Эта мысль заставила меня устремить все свои силы на поиск решения.

Взор мой стал напряженно блуждать по комнате и неожиданно остановился на Глебе. Он не пригнулся, не спрятал взгляда. В тот день я все время читал что-нибудь в чужих глазах. На этот раз я прочел: «Дай мне возможность помочь вам и искупить...»

Я отвел Глеба в сторону:

— Понимаешь ли ты, что в это жуткое положение мы попали из-за тебя?

— Понимаю.

— Я еще выясню, для чего, с какой целью ты это сделал!

— Я сам... Хоть сейчас...

— Нет, не теперь. Ни в коем случае не теперь! Пойми: решают секунды. Мы можем опоздать на последнюю электричку. И тогда... Одним словом: готов ты на подвиг?

— Я бы... Конечно... Если бы...

— Никаких «если бы»! Готов или нет?

— Готов.

— Тогда именно ты спустишься в подвал и освободишь оттуда Племянника. Только тебе одному из нас всех он не сделает ничего. Ведь вы же сообщники. Соучастники преступления!

— Да он меня... Ведь это же я его сначала... А потом с вами вместе... Он не простит!

— О, как ты наивен! Неужели ты думаешь, что я всего этого не предвидел? Излагаю свой план коротко или, как говорят, конспективно. Разжевывать нету времени. Для Племянника все должно выглядеть так... Ты не с нами. Ты против нас! Запомнил? Сначала мы силой вытащили тебя из подвала, потому что ты, как верный сообщник Племянника, хотел там остаться. Запомнил? Потом ты все время рвался выполнить свой долг соучастника преступления и освободить Племянника из подземелья. Чтобы ты так сильно не рвался, мы тебя связали веревками. А сами убежали на станцию... Тогда ты нечеловеческими усилиями воли порвал веревки, кинулся на помощь сообщнику и освободил его! Запомнил? Можешь не повторять: нету времени! Скажи: ты согласен?

— Согласен... Но если он вдруг...

— Риск — благородное дело. А тебе сейчас как раз самое время совершить что-нибудь благородное. Ты согласен?

— Согласен...

Перед всеми остальными я раскрыл лишь часть этого плана: ведь они не знали, что Глеб был сообщником...

— Мой скромный замысел осуществит Глеб Бородаев! — сказал я. — Чтобы наш бедный узник не растерзал его, все будет выглядеть так... Поскольку дедушка Глеба таскал Племянника на руках, Глеб будто бы сразу хотел освободить его из заточения. Но мы не давали. И даже связали бедного Глеба. Когда же мы убежали на станцию, он развязался и освободил того, кого дедушка таскал на руках. Племянник обнимет своего благородного освободителя! А мы будем ждать Глеба в лесу, возле того огромного пня, на котором сидел Покойник. Помнишь? Так... Теперь остается его связать!

— Кого? — испуганно прошептал Покойник.

— Глеба, конечно! Его внешний вид должен говорить об отчаянной борьбе, которую он вел с нами. Синяки, царапины... У тебя нет синяков?

— К сожалению, нет... — виноватым голосом сказал Глеб.

— Поищи! Иногда мы незаметно ударяемся обо что-нибудь, а синяки остаются. Надо, чтобы Племянник увидел их!

Глеб оглядел свои руки.

— А на теле? Поищи как следует!

Девочки отвернулись.

— Нигде нету... Ни одного синяка... — грустно сообщил Глеб.

— И царапины нет?

— Ни одной...

— Очень жаль. Не царапать же нам тебя специально! — сказал я громко. И добавил тихо, на ухо Глебу: — Хотя ты это и заслужил.

— Как же теперь... Что делать? — спросил Глеб.

— Ну, хотя бы расстегни рубашку, оторви от нее несколько пуговиц... Но не выбрасывай их, а держи в кулаке: покажешь Племяннику. Это будет вещественным доказательством!

Глеб оторвал пуговицы прямо, как говорится, с мясом: очень уж он хотел добиться смягчающих вину обстоятельств!

— Теперь как следует растрепи волосы! Так... Хорошо. А теперь главное: мы перевяжем твое туловище веревкой. А руки оставим свободными, чтобы ты мог открыть ими английский замок. Или лучше так: привяжем тебя к стулу. И ты прямо со стулом на спине пойдешь его выпускать. Выберем стул полегче. Вот этот, плетеный...

— Я и тяжелый... Пожалуйста...

Глеб был готов на все!

— Давайте веревку, — скомандовал я.

Но никто мне ее не дал. Веревки не было...

— Может быть, без нее обойдемся? — сказал Покойник, которому очень уж не терпелось поскорее ударить на станцию.

— Не обойдемся! — ответил я. — Царапин нет, синяков нет!.. Еще и веревки не будет? Надо побольше доказательств борьбы, которую вел с нами Глеб. Чтоб Племянник поверил. Мы не можем рисковать жизнью товарища! — И тихо шепнул Глебу на ухо: — Хотя твоей жизнью можно было бы и рискнуть.

Я все время забывал о священном правиле: не закончив расследования, не предъявляй обвинения! Забывал и спохватывался. Спыхватывался и опять забывал...

Но Глеб не обижался. Острое чувство вины терзало его.

— Там, на чердаке... — сказал он. — Сушат белье... Значит, веревки...

— На чердаке? — переспросил я.

— Наверху... Там темно. И вообще...

— Покажи дорогу!

— Я с вами! — сразу вызвался благородный Принц Датский.

— Нет, оставайся здесь, — сказал я. — Вдруг Племянник вырвется на свободу! Придется защищать женщин. Хоть одного мужчину надо оставить!

— А я? — тихо спросил Покойник. — Разве я...

— Да, конечно! Ты давно хотел умереть. Вот, может быть, и представится случай...

Мы с Глебом отправились на чердак. Когда мы уже выходили из комнаты, нас догнал голос, который я не мог спутать ни с каким другим на всем белом свете:

— Осторожно!

Одно только слово... Но в нем было все, о чем

я мечтал: тревога, просьба скорее вернуться и нежное обещание ждать! Так провожают на подвиг. Что встретит нас там, на чердаке? Этого никто бы не мог сказать.

Сперва мы поднялись на второй этаж, где была комната, из которой обычно несло: «Ах, вы живы? А мы вас — бац! — по загреву! Ах, вы еще трепыхаетесь? А мы вас по шее — трах!» Из комнаты выползла полоска света. Я заглянул... На столе, который был без скатерти и даже не был накрыт газетой, валялась колода карт. Горела лампочка без абажура. Дальше вверх вела лестница без перил.

— Сюда... — сказал Глеб.

Мы стали подниматься еще выше по лестнице, которая ворчливо закричала, хотя она и не была описана в повести Гл. Бородаева. Над ней навис бревенчатый потолок без штукатурки. Да, все здесь было какое-то голое, словно бы неодетое: стол без скатерти, лампочка без абажура, потолок без штукатурки, лестница без перил...

Мы шли вперед без страха!

Я сначала нащупывал в темноте ступеньку, а потом уже делал шаг: одно неосторожное движение, и я бы полетел без всякой надежды ухватиться за перила, которых не было.

Наконец мы достигли цели!

Чердак был построен в форме гроба, накрытого крышкой. Мы были внутри этого гроба. На меня приятно пахло гнилью и сыростью. Я снова был в родной детективной обстановке: темно, таинственно, сквозь треугольное окно ветер заносил свист и холодные капли...

Природа, стало быть, продолжала жить своей особой, но прекрасной жизнью: на улице, как прежде, шел дождь.

Окно было без стекол, а веревки, протянутые через чердак, без белья. И тут тоже все было голое, не одетое, словно кем-то ограбленное. Это мне нравилось!..

Казалось, из мрачных, глухих углов на нас вот-вот что-то набросится. Но этого, к сожалению, не случилось.

Протянув вперед руки, мы пошли нетвердой походкой по нетвердому земляному полу в глубь чердака.

И вдруг я увидел человека... Он висел под потолком в белой одежде. И качался... Мужество, которое весь день было со мной, внезапно меня покинуло.

— Что?.. Что это? — прошептал я и отступил назад нетвердой походкой по нетвердому полу.

Наверно, слова от ужаса застревали во рту, и Глеб их не слышал. Собрав последние силы, я крикнул: — Что это?!

— Рубашка, — ответил Глеб. — Григорий постирал... И повесил... Ветер ее того... раздувает...

«О, как хорошо, что Наташа осталась там! — пронеслось у меня в мозгу. — Как хорошо, что она не видела моего падения, которое произошло, хоть я стоял на ногах!»

Глеб торопился отвязать одну из веревок. Он очень старался: ему нужно было набрать побольше смягчающих обстоятельств.

Противоречивые чувства разрывали меня и чуть было не разорвали совсем. С одной стороны, я был благодарен Глебу за то, что он был свидетелем моего минутного падения, но не заметил его — то ли из-за темноты, то ли из-за того, что был занят веревкой. Но, с другой стороны, я понимал: если бы не Глеб, мои нервы не расшатались бы и не дошли бы до такого ужасного состояния. Зачем же он совершил то, что он совершил? С какой целью? — это мне еще было неясно.

Через несколько минут мы спустились в комнату Гл. Бородаева. Внук писателя нес веревку, которой мы должны были его связать.

— Волосы у тебя в порядке: растрепаны! — сказал я, внимательно осмотрев Глеба. — Рубашка в порядке: без пуговиц!

— Может быть, и на пальто оторвать? Две или три?.. — предложил Глеб. Он готов был на все!

— Нет, не надо. Еще замерзнешь! — Я читал, что к подследственным надо проявлять доброту или, верней сказать, чуткость. — Теперь осталось только привязать тебя к стулу. К самому легкому, вон к тому...

Глеб покорно задрал руки, словно сдавался в плен. И мы привязали его к плетеному стулу. Его спина и спинка стула были тесно прижаты друг к другу.

— Запомни: ты так отчаянно рвался на помощь Племяннику, что нам пришлось тебя привязать! Вспомни: ты так отчаянно рвался на помощь Племяннику, что нам пришлось тебя привязать! Вспомни! И главное: мы давно удрали. То есть покинули дачу... И уехали в город. Чтобы Племянник не устроил погоню. Усвоил?

— Усвоил.

— Сколько времени потребуется тебе на эту операцию?

— Не знаю... Минут десять... Или пятнадцать...

— Сверим часы!

— У меня нет часов.

— Ну, ладно. Ждем тебя возле того самого пня ровно четверть часа! Будем следить по Наташиным часикам. Наташа, сколько сейчас?

Она протянула мне руку. Я взял ее руку в свою. И долго держал.

— Что, плохо видно? — спросила Наташа.

— Нет... просто я хочу дождаться, пока будет ровно двадцать часов двадцать минут. Хорошо запоминается: 20.20!

Она тоже взглянула на часики:

— Но ведь нужно ждать еще целых четыре минуты.

— Ничего, я подожду.

Ровно в 20.20 я воскликнул:

— Операция начинается! Ты, Глеб, ничего не забудешь? Племянник должен поверить: мы давно покинули дачу! И уехали в город... А на самом деле ждем возле пня!

— Не забуду...

Я приблизился к Глебу и шепнул:

— Ну, а если... Считай, что мы тебя простили. Однако я надеюсь, что мы еще встретимся!

— Я тоже...

— Теперь все — на улицу! На цыпочках! Чтб Племянник ничего не услышал, — скомандовал я.

Не только Миронова, но и все остальные охотно подчинились приказу, потому что Племянник изо всех сил барабанил по ржавому железу, и казалось, что он вот-вот высадит дверь.

Глеб остался один, с растрепанными волосами, со стулом на спине и в рубашке без пуговиц.

Мы на цыпочках покинули «старую дачу» и опять побежали.

Природа между тем продолжала жить своей особой, прекрасной жизнью, но уже в темноте. А что может быть печальнее опустевшего осеннего поселка! Да еще в вечернюю пору... Несколько раз я жил летом на даче. И вот, когда к концу августа одна дача за другой пустела, становилось тоскливо и одиноко. Ну, а тут уж во всем поселке не было ни огонька! И мы то и дело попадали в лужи, в ямы, в канавы.

Мы вновь стали огибать сосновый лес, который



днем был красивым, молоденьким, а сейчас потемнел и насупился, будто за один день постарел. И все деревья казались мне издали притаившимися злоумышленниками...

Утром я бы этому, конечно, обрадовался. А тут даже дождь, и слякоть, и сырость не радовали меня. Мне неожиданно захотелось домой, в теплую комнату... Но это было только минутной слабостью! Я ей не поддался. Я отбросил ее. Верней сказать, отшвырнул!

— Разве это не мой пенёк? — воскликнул Покойник. И снова уселся на самую середину: другим уже сесть было некуда. И так же, как утром, все у него дышало: и нос, и живот, и плечи. Я это чувствовал в темноте.

— Уступи место женщинам! — сказал я.

— Разве мы в трамвае? Или в троллейбусе? — усмехнулась Наташа. — В лесу вежливость ни к чему.

Покойник вскочил. Но она не села. И даже Миронна продолжала стоять.

— А еще лирик! — сказал я Покойнику. — Посвящаешь стихи красавицам! — И тихо добавил: — Несуществующим...

— Не надо трогать Покойника, — попросил добрый Принц. Он по-прежнему думал, что Покойник испытал уже счастье любви. А чужие чувства Принц уважал.

— Согласен: не будем ссориться в такую минуту! — сказал я. — Что там сейчас с нашим Глебом?

Я сказал «с нашим», потому что, представляя себе, какой опасности (может быть, даже смертельной!) подвергал себя Глеб, я готов был забыть о его вине, о его преступлении. «А если Племянник ему не поверит? — думал я. — А если, разъяренный, выскочит из подвала и набросится на беззащитного Глеба? Или затолкает его в подвал и запрет?»

Да, я готов был простить Глеба, потому что в тот момент он свершал подвиг во имя нас всех!..

— Конечно, можно было бы и не выпускать Племянника, — сказал я тихо.

— Можно ли так поступать с человеком? — ответила мне Наташа.

Под холодным дождем она думала о справедливости!

— Сколько сейчас времени? — спросил я у нее.

— В темноте не вижу, — сказала Наташа.

— Дай руку. Я разгляжу!

Она протянула руку, и я долго разглядывал.

Потом я еще три или четыре раза просил ее дать мне руку и снова долго разглядывал, потому что трудно было увидеть, рассмотреть стрелки. И вообще...

Наконец я стал волноваться! Пятнадцать минут прошли. А Глеба все не было.

«Он пожертвовал собой и тем искупил вину, — думал я. — А я был с ним недостаточно чутким... Правда, я не проявлял грубости. Но все-таки упрекал его. А он один на один, связанный и растрепанный,

со стулом на спине, встретился в подземелье с Племянником. Не каждый бы на это решился. Вот Покойник бы ни за что не пошел! А я сам?»

На последний вопрос мне трудно было ответить. И я, чтоб не думать об этом, еще раз взглянул на Наташины часики. Прошло уже двадцать минут.

Это было ужасно... «Во-первых, вероятно, погиб Глеб,— думал я.— А во-вторых, до электрички остается совсем мало времени. Уж если мы опоздаем на этот раз, нам не добраться до дому раньше завтрашнего утра. А как мы сообщим об этом родителям? Никак! По телефону теперь уж не позвонить: Племянник выпущен на свободу! Наши мамы и папы переносном... Хотя некоторые, может быть, и в прямом. Особенно мамы! За пап я как-то меньше волнуюсь. А где ночевать? Не пойдем же мы в гости к Племяннику! Может быть, уехать без Глеба? Нет, невозможно. Помочь ему? Как?!»

— С Глебом что-то случилось,— с плохо скрываемым беспокойством сказал я.

— Это из-за меня,— сказала Наташа.— Я виновата. Я!..

В лесу, в темноте, под холодным дождем она продолжала думать о справедливости!

— О, не казни себя!— воскликнул я шепотом, чтоб не слышали остальные. Она с плохо скрываемым испугом отодвинулась от меня.

— Ты не виновата,— уже спокойно, нормальным голосом сказал я.— Это же я запер Племянника в подземелье. Правда, у меня не было другого выхода. Значит, никто не виноват. Такова жизнь!

— Сэ ля ви!— воскликнул Покойник. Он любил встревать в чужой разговор.

Это самое «сэ ля ви» было известно каждому первокласснику, но Покойник произнес так, будто знал французский язык. Вообще, убежав со «старой дачи», он осмелел.

— Еще возможна погоня,— сказал я. И Покойник сразу заговорил обыкновенно, по-русски:

— Какая?

— Племянник!.. Ну, а если Глеб не вернется, нам придется освободить его!

Покойник умолк.

«Что же делать?— рассуждал я.— Не пойти ли в разведку? Но тогда мы наверняка опоздаем на электричку. Так, так, так... Где же выход? Может быть, мне одному остаться, а всем другим немедленно мчаться на станцию?»

Я предложил это. И, затаив дыхание, ждал, что мне ответят: оставаться одному все-таки не очень хотелось.

— Давай вдвоем,— предложил Принц Датский.

— Пусть женщины уедут!— воскликнул я. Посмотрел на Покойника и добавил: — И ты с ними.

Покойник не возражал. Но Наташа не согласилась:

— Еще есть минуты. Несколько минут... Подождем. Одного я тебя не оставлю.

Меня! Одного! Хотя и Принц тоже хотел остаться... Она сказала про меня одного! Если б это было не в холодном лесу, а в какой-нибудь другой обстановке, я бы, наверно, умер от счастья. А так я остался жить.

Хотя в следующую минуту могло показаться, что все мы умерли. Все пятеро! Потому что мы затаили дыхание, прислушиваясь к тому, как чьи-то пятки шлепали по лужам и грязи. Они шлепали очень звонко... И вот появился Глеб. Вернее сказать, возник!

— Что у тебя в руках?— спросил я.

— Ботинки... Чтобы не падать... Скорее! Скорее... Погоня!

— Где?

Мы помчались!.. Но, даже задыхаясь от бега, я все-таки умудрился спросить Глеба:

— Он?

— Да... Очень был благодарен...

— Благодарен?

— Ну да... Очень хотел... Меня до станции... А их, говорит, убью! Ну, я и... Пока он за плащом...

Глеб, как всегда, не дотягивал фразы. Но тут уж трудно было его не понять: сколько он пережил!

«А все-таки, если б не он, вообще бы ничего не случилось!— опять пришла мне на бегу упрямая мысль.— Значит, все равно будет дорасследование. Надо довести до конца!..»

Глеб теперь был с нами, я уже за него не волновался, и желание забыть все и простить куда-то сразу исчезло.

Так иногда бывало дома со мной... Если мама начинала меня ругать, я убежал и долго слонялся по улицам. Или сидел где-нибудь у товарища. А когда возвращался, мама вновь за меня принималась. И тогда Костя по секрету мне сообщал: «Пока тебя не было, она волновалась, и называла тебя ласковыми словами, и готова была простить... А вот появилась, успокоилась— и опять за свое. О женщины! Кто их поймет?» Я не был женщиной. Но с Глебом у меня получалось так же, как у мамы со мной. Сэ ля ви!

На этом мои рассуждения прекратились. Прервались... Потому что сзади мы услышали топот ног. Тяжелый, увесистый...

— Это Григорий...— с ужасом, задыхаясь то ли от бега, то ли от страха, прошептал Глеб.— Он вас... И тебя первого! Он обещал...

Я тоже не сомневался, что Племянник выполнит свое обещание. И убьет меня! Или в крайнем случае оторвет голову...

— Надо уйти от погони! Успеть!— скомандовал я шепотом, чтобы Племянник не услышал моего голоса.

Покойник бежал впереди: он боялся больше нас всех! Но и меня покидало мужество.

— Быстрее! Быстрее!— крикнул я во весь голос. Шептать было уже не нужно: Племянник наверняка видел нас. Его горячее дыхание было у нас за спиной.

Я обернулся. Ну да, это он! Племянник!.. Огромная, темная фигура с каждой секундой приближалась, нагоняла нас...

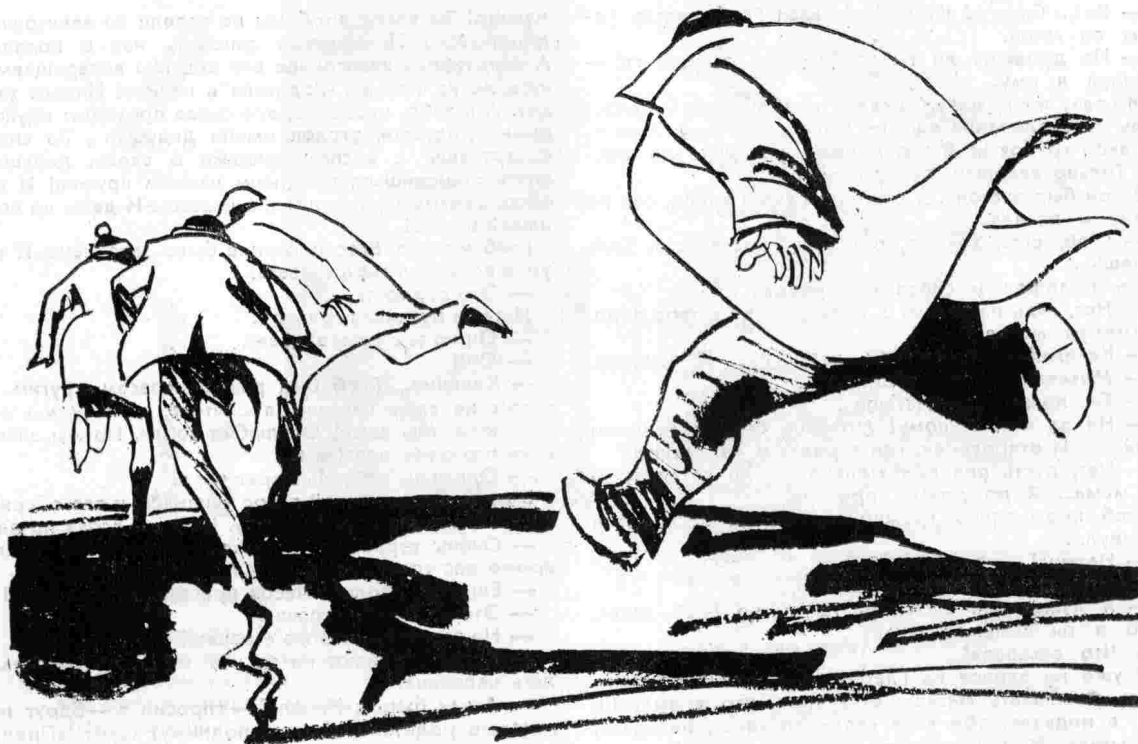
«Все погибло! Мы не справимся с ним,— промелькнуло в моем сознании.— Но если даже возникнет борьба и мы неожиданно возьмем верх, победим его, электричка все равно за это время уйдет... Да мы и не победим! Женщины и Покойник не в счет. Остаемся мы трое— Принц, Глеб и я. Но как еще поведет себя Глеб? Неизвестно. Ведь это он все придумал! Он!.. Все случилось из-за него. Значит, может быть, в борьбу вступим мы с Принцем вдвоем... Наташа, конечно, бросится мне на помощь. Но я этого не допущу. «Спасайся! Беги!»— крикну я. И прегражу Племяннику путь своим телом!»

Все эти мысли пронеслись в моей голове за какое-нибудь мгновение. Топот погони был уже рядом... Совсем рядом! И жаркое, обжигающее мне спину дыхание Племянника... Вот сейчас! Сейчас все погибнет! Все мои усилия и находки окажутся ни к чему. Еще один его шаг... Только один! Ужасный, тяжелый... И он поравняется с нами! Уже поравнялся. Уже!..

— Опаздываем, ребята?— раздался рядом взволнованный мужской голос.

Я повернул голову— и увидел (уже не сзади, а сбоку!) высокого мужчину в плаще и с портфелем.

— Опаздываем на электричку?— переспросил он.



— Разве? — ответил я, готовый обнять и расцеловать его.

— Увидел, что вы бежите, и тоже помчался. Хотя и нельзя: сердце выскакивает...
«Наверно, больное! Как у Наташиной мамы...» — подумал я. Я любил этого незнакомого человека в плаще. Я обожал его!

ГЛАВА XII,

*самая короткая и самая последняя
(в этой повести!)*

С одной стороны к платформе неумолимо приближалась электричка, а с другой приближались мы.
«Если бы мы успели, тогда бы все наши родители остались живы в прямом и переносном смысле этого слова! Тогда все мои догадки, находки, сомнения и мучения оказались бы ненеприятными!» — с этой мыслью я взбежал на платформу.

Судьбе было угодно, чтобы как раз в этот момент и электричка тоже поравнялась с нею.

— Садитесь! — крикнул Глеб. — А я билеты...

— Не надо! — ответил я.

«Лучше пусть нас всех оштрафуют, но зато родители будут живы-здоровы!» — Я успел так подумать, но не успел объяснить это Глебу, потому что он уже ринулся к кассе. Он хотел совершить еще один подвиг: ему нужны были смягчающие вину обстоятельства!

Машинист высунулся из окна и глядел вдоль состава. Никто не вышел, и никто, кроме нас, не собирался садиться. Мужчина в плаще, оказывается, ждал электричку из города и вообще зря торопился.

Проводница последнего вагона помахала зеленой лампочкой: можно было трогаться! С ее точки зрения...

Что было делать? Вскочить в вагон и уехать без Глеба? Покойник вскочил. А все остальные не знали, как поступить. Покойник высовывался и печально глядел на нас всех:

— Разве не ясно? Она сейчас тронется...

А Глеб все еще стоял, пригнувшись, возле окошка кассы.

Двери вздохнули, словно сочувствуя нам, и медленно стали закрываться. Голова Покойника все еще торчала, и казалось, двери вот-вот зажмут ее с двух сторон.

В какую-то миллионную долю секунды идея озарила меня.

— Осторожно, ребенок! — заорал я. Я знал, что эти слова — «Осторожно, ребенок!» — всегда очень сильно действуют.

Двери, не успев прихлопнуть Покойника, медленно поехали обратно.

— Где ребенок?! — крикнул злой, испуганный машинист.

— Во-он! — неопределенно ответил я, зная, что время неумолимо работает на нас.

— Да где же?

— Во-он! — Я указал на печальную морду Покойника, который все еще высовывался из тамбура.

— Я думал: он под колесами...

— Большое спасибо! — ответил я машинисту, потому что необходимая нам минута была окончательно выиграна: Глеб бежал от кассы с билетами.

Мы ворвались в вагон!

Двери облегченно вздохнули, словно были рады за нас, поехали навстречу друг другу, захлопнулись... И мы наконец-то отправились в город, домой!

Мы успели на последнюю электричку! Наши родители были спасены. Чувство законной гордости переполняло меня.

— Вот... билеты! Купил...— сказал Глеб, садясь рядом со мной.

— Не думаешь ли ты так дешево откупиться?— шепнул я ему.

И сразу же пожалел о своей необдуманной фразе: ведь расследование еще не было закончено. Значит, никакой грубости! Я все должен раскрыть до конца. Только вежливо, без насилия!

Вагон был пустой... Я пошел в самый конец, сел на лавку и позвал:

— Глеб, если хочешь, подойди, пожалуйста. Если хочешь...

Он подошел и снова сел рядом.

— Нет, сядь напротив: я должен видеть твоё лицо. Займемся мотивами...

— Какими?— спросил он, вздрогнув. И пересел.

— Мотивами преступления.

— Ты потом все Наташе...

— Ни за что! Никому! Можешь быть абсолютно спокоен. И откровенен, как с родным человеком!

— Нет, пусть она обязательно... Я не хотел, чтоб ее мама... Я по другой причине.

Глеб неожиданно громко, прямо на весь вагон крикнул:

— Наташа!..

Она подошла и села возле него.

— Я думал все выяснить тайно, но Глеб хочет, чтоб и ты слышала, знала...

— Что слышала?

Я уже не злился на Глеба: он дал мне возможность рассказать Наташе обо всем, что я выяснил там, в подвале, обо всех своих догадках, находках, открытиях. И я рассказал... Ведь он сам попросил об этом!

— Пойдем дальше,— сказал я.— Итак, мы установили, что Нинель не звонила. И ехать сюда нам одним не разрешала. А кто же звонил? Не торопись. Хорошенько подумай!

— Моя двоюродная сестра,— еле слышно признался Глеб.

— Так, так, так... Вот, значит, зачем ты из всех болезней выбрал для Нинель именно ангину: болит горло, голос хриплый и не похож. Понятно, понятно... Зачем же тебе нужно было, чтоб мы поехали без нее? И чтоб все думали, что Нинель разрешила? Не торопись. Правду, одну только правду! Ничего, кроме правды!..

— Мне мама рассказала про собрание... Там некоторые родители... За то, что Нинель нам самостоятельность... Ну, разрешала одним ездить на стадион и вообще... Говорили, что если она еще...

— Стоп!— крикнул я, потому что испугался, как бы Глеб все до конца не раскрыл, не рассказал сам. А между тем догадка озарила меня так ярко, как никогда еще раньше не озаряла! И я мог продолжить его рассказ, окончательно доказав, что прозвище свое ношу недаром, не просто так.

— Следите за мной!— торжественно сказал я.— Следствию все абсолютно ясно. Конечно, я должен во всем сомневаться. Но я не сомневаюсь, что было так... Именно так! И никак иначе! Ты, Глеб, решил: если Нинель еще раз предоставит нам самостоятельность (да еще какую: разрешит одним ехать за город!), родители добьются, чтобы она ушла из нашего класса. Тем более что она молода и прелестна, нету опыта и так далее. Пойдем дальше! Все мы слышали, что она звонила. Хоть звонила твоя сестра... А если бы Нинель и доказала, что не звонила, ей все равно сказали бы: «Вы приучали их к самостоятельности— и вот результат!» Знаем мы наших родителей! В общем, твоей целью было всех их разволновать! Так, так, так... Состав преступления

налицо! Ты хотел, чтоб мы не успели на электричку, и попросил Племянника запереть нас в подвале. А следующая электричка вот эта. Мы возвращаемся чуть ли не ночью... Родители в панике! Нинель уходит. А к тебе, наоборот, все снова приходит: кружок имени дедушки, уголок имени дедушки... Ты снова выступаешь с воспоминаниями о своем дедушке, опять становишься почетным членом кружка! И вообще самым почетным в классе... И даже во всей нашей школе!

Глеб молчал. Расследование было закончено. И тут уж я позволил себе сказать:

— Это подлость.

Наташа покачала головой.

— Он не так уж и виноват.

— Он?!

— Конечно... Глеб был раньше совсем другим. А потом не смог отказаться от того, к чему мы его приучили. Мы сами! Он любил собак. Но мы заставили его о них позабыть...

— О, как ты добра!— крикнул я.

В пустом вагоне мой голос усилился, и все обернулись. Миронова подняла руку. Но я ей слова не дал.

— Очень страшная история...— тихо, чтоб никто, кроме нас троих, не услышал, сказала Наташа.

— Еще бы: столько часов просидели в подвале!

— Это не так уж страшно.

— Не так уж? А что же страшно?

— Когда начинают ни за что ни про что восхвалять человека!

— А как быть с Нинель?— спросил я.— Вдруг некоторые родители все же поднимут шум: «Предоставила самостоятельность— и вот результат. Приехали ночью!» Мама Покойника, например...

— Возьмем мам и пап на себя я,— сказала Наташа.— Объясним, растолкуем! Дети должны отвечать за родителей.

Это была прекрасная мысль. И все-таки я сказал, кивнув на Глеба:

— Расследование закончено, обвинительное заключение есть. По всем законам должен быть суд.

Волнение душило Глеба и чуть было не задушило совсем. Румянец покрыл его лицо, но он уже был не ровный, не бархатный, а нервный, пятнистый. Плечи его судорожно вздрагивали. Предчувствие подсказывало мне, что он вот-вот разревется или, верней сказать, разрыдается.

— Слезами горю не поможешь,— сказал я.— Так учит народная мудрость!

— Глеб помог нам не слезами,— сказала Наташа.— Он один спустился в подвал к Племяннику, который мог бы... Неужели ты забыл, Алик? Ведь ты же сам это придумал! Как и все остальное...

Наташа посмотрела на меня таким взглядом, о котором я не мог и мечтать! В нем была благодарность. И даже... Но, может быть, это мне показалось.

— Все в твоей власти!— воскликнул я.— Ты хочешь его простить?

— Нет... Я не знаю. Но по крайней мере скажу тебе вот что... Если слабый и глупый человек жесток, это противно. Но если умный и смелый жесток, это страшно. Такой человек обязан быть добрым. «Умный и смелый!»

Чтоб услышать от нее эти слова, я был бы готов просидеть в подвале трое суток. Или даже целую учебную четверть!

Послесловие

Судьбе было угодно, чтоб на этом кончилась моя первая детективная повесть. Но предчувствие подсказывает мне, что не последняя!..



**Владимир
Цыбин**



Молчанье

Я жду: заговорит молчанье
зимы, январской тишины,—
уже озвучено качанье
под снегом согнутой сосны,
дрожанье ели,
по сугробам
идущей тихо, без следов,
она озвучена ознобом
пургой озвученных снегов.
Укутанное белым мехом,
сквозным сиянием горя,
без отклика вдали,
без эха
звучит молчанье января.
Еще морозно, чисто, сыпко,
пургой зажжен, январь горит —
ты слышишь ли, как душу скрипки
в молчанье дерево родит!

☆

Стоит все эти дни
такая синь и тишь,
лишь руки протяни
вперед —
и полетишь.
Как в старом детском сне,
отверженно, легко
взлетишь ты к высоте,
увидишь далеко.
И, зазвенев едва,
с движеньем майских вод
предчувствует листва
осенний свой полет.
Вось эта сплетена
из стужи, из росы,
она опалена
предчувствием грозы.
Нам хочется летать,
и, в небо бросив жизнь,
стремимся мы прорвать,
пройти навывлет восьмью.
Средь синевы и росы
спокойствием слепа,
во мне все напряглось
в предчувствии себя.

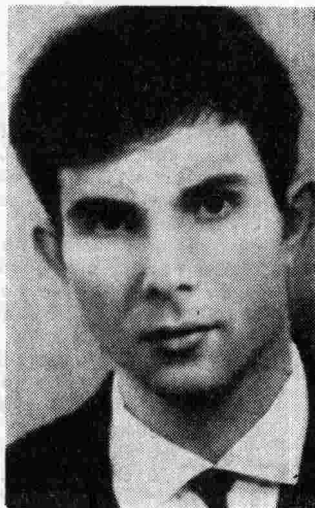
Душа избы

Какая у избы душа!
Когда она едва родилась,
то сразу чутко, не дыша
в углах сосновых затаилась.
Она не спит, душа избы,
и слушает из каждой щелки,
как весело весь день в простенке
стучат настенные часы,
как, доверху листвою полна,
стучит береза в подоконник.
Душа избы, она все помнит,
все бережно хранит она:
и веника зеленый хруст
по половицам, еще новым,
и горестную вдовью грусть
по мужику и по обновам.
Какая у избы душа!
И все-таки ей нужно слышать,
все время слышать, не дыша,
веселую возню детишек,
над крышей виражи стрижа,
зимою тихий звон сосульки,
словно из маленькой свистульки,—
такая у избы душа!
Душа избы, светла она
и ждет тебя, совсем не старясь:
уже давно вернулся аист —
так отчего ж она грустна!..

Письма

Пол в щелях, и ставни не отворены,
на пороге снег,
дети на войне все похоронены:
три войны за век.
Сколько ни считала, ни кумекала,
выплакавшись всласть,
собиралась к внукам — не уехала,
здесь ведь родилась,
ведь еще из памяти не изгнаны
давние года.
Белье, январские над избами
виснут холода.
И когда подернет коркой тонкою
небо на заре
и покроет снежною стеженкою
сено на дворе,
и изба сама пургой побелится,
подновится вдруг,
и в печи от дров сухих поселится
снова теплый дух —
в праздничном платке присядет в горенке,
скатерть обмахнет,
вынет фронтовые треугольники,
по складам прочтет.
Только радость тем чуть-чуть пригорчена,
что они опять —
ведь просила! — пишут неразборчиво,
как тут разобрать!
Видно, к ним война и впрямь неласкова,
если часа нет
написать — здоровы, мол, и наскоро —
всем в конце привет.
Сетует: еще юнцы зеленые,
выросли иль нет...
Матери не верят в похоронные
двадцать с лишним лет.
И лежат за окнами, под избами,
кажется, века
там нераспечатанными письмами
белые снега...

**Анатолий
Кодру**



Колодец

Ах, колодец — башня наизнанку!
Я киркой возвел тебя. И в потном,
Книзу кровлей вывернутом замке
Вдруг нашел себя под небом водным.

Я нашел себя в воде и в камне,
Я челом раздвинул круг колодца.
Ах, пускай
Шуршание цветка в нем
Гулом колокольным отзовется!

Круг воды искрящейся и чистой
В глубине вращается прохладной,
Как роса, горит на стенке мгlistой,
Жжет, как поцелуи ненаглядной...

Я бреду рекой лазурно-зыбкой:
Плиты пляшут, камень весь трепещет,
Сруб кружится.
Лик мой,
Лик мой,
Лик мой
В небе водяном, как солнце, блещет.

Башня, где бадьи колоколами
К небу порываются прибиться.
Буйволы
Медовыми полями
С топотом бегут сюда напиться.

О колодец!
Древний, сокровенный,
Клад бесценный ты хранишь поныне!



62

Не слезой ли прадедов священной
Выжжен ты в сырой, холодной глине!!

Славен тот, кто исстари зовется
Безымянный — именем Колодца!

Зной

Ползут ужи из нор на водопой,
На каменный холодный край колодца,
Туда, где неба отсвет голубой,
Живым жгутом закручиваясь, вьется.

А там на дне, на гальке, Водяной
Спит на боку, тоскливо изнывая,
Когда бадья к нему доносит зной,
Поверхность вод целуя и взрываая.

По-детски неуклюже у стогов
С коротким звуком падают кувшины,
И духи джунглей, глину расколов,
На волю вырываются, как джины.

Земля под спудом спрятала траву,
А солнце жжет, ей губы опалая.
Я выжат, как платок,
И я плыву,
Парю и расстилаюсь над полями.

Лишенный тени, я от блеска слеп,
Я в колос врос... И в огненном мельканье
Мне снится пир
И колоссальный хлеб,
Ломаемый крестьянскими руками.

Перевела Н. МАТВЕЕВА



**Аурелиу
Бусейюк**

Прощание со словом

О слово, уходящее в печать!
Я звал тебя сюда, на лист бумаги,
я ждал тебя, исполненный отваги
все сызнова, в который раз, начать.

И всякий раз, когда казалось мне,
что к берегам моим тебя прибило,

ты улетало, ты крылами било,
в бессонной пропададо тишине.

Но вновь и вновь, колдуя, ворожа,
я к твоему склонялся изголовью,
в глаза твои заглядывал с любовью,
как первенцем, тобою дорожа.

И вот ты на листе моем лежишь,
и сам я подвожу тебя к порогу,
благословляю в дальнюю дорогу —
и ты уже не мне принадлежишь.

Ступай же к ним, к читателям моим,
но я хочу, чтобы однажды снова
они тебя вернули мне, как слово,
от прадедов доставшееся им!

Деревья

Деревья моей улицы стареют.

Вы видели, как старятся деревья!
А я, признаться, этого не видел —
я вместе с ними рос, и мне казалось,
что время этих веток не касалось,
и были неизменны эти кроны
и толстые стволы, и над корнями
асфальт приподымался неизменно.

Деревья моей улицы стареют.

А мне они в подробностях знакомы.
Когда-то я на каждое взбирался,
и всякий раз на теле оставались
весьма красноречивые узоры —
свидетельства, дарованные дружбой.

Деревья моей улицы стареют.

Вот белая акация — как белый
старейшина, чьи руки узловаты.
Свидетельница каждого ненастья
и радости любой или несчастья,
всего, что с моей улицей случилось.
Кто сосчитает все ее победы
над бурями, над ветром, над годами!
Вот клен — он покосился и согнулся,
а корни его вышли на поверхность.
Они толсты, как ствол его. Когда-то
под этой кроной я стоял в смятенье,
и сердце мое трепетно стучало,
и в лад ему другое отвечало.
Вот липа — на коре ее донныне
видны сердца, пронзенные навывлет
безжалостными стрелами, — жестока
извечная символика влюбленных.
На плечи мне свой цвет роняла липа —
как в незабвенных строчках Эминеску.

Деревья моей улицы стареют.

Я видел, как на мокром тротуаре
они лежали голые, без листьев,
торжественно светлы в своей печали.
А рядом тихо листьями качали
молоденькие саженцы, равняясь,
как будто на параде, друг от друга
пока еще почти неотличимы.
Они сюда пришли как оправданье

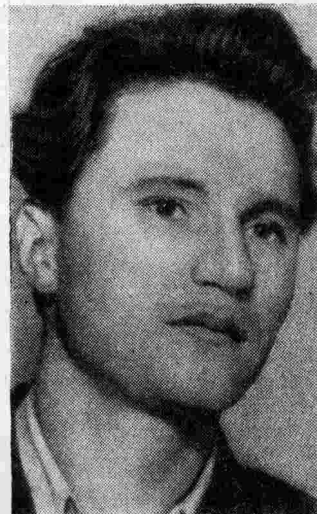
той старости. Пришли как отрицанье
печали и как утвержденье жизни.
И улица моя помолодела.

А старые деревья умирал.
В их говоре я горечи не слышал.
Они своим последним листопадом
готовы были к этому апрелю
и тонконогим саженцам достойно
теперь передавали эстафету —
высокий факел вечного горенья,
что жизнью, или юностью, зовется.
И я стою взволнованно над ними
и снова повторяю убежденно:
деревья моей улицы бессмертны!

Перевел Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ

□ □ □

Виктор
Телеуэ



Лунный час

Луна продрогла на рассвете,
на крыше скрежет дранки стылой,
на стеклах искрятся соцветья —
какая сила их взрастила!

Уже так поздно,
уже светает,
уже так поздно —
и темень тает.

Все спит — и люди, сном согреты,
и ветви, в белое одеты,
и снег глубокий, по колено,
и тополь на краю вселенной,
огонь, в печи нашедший ложе,
луна, на барабан похожа...
Прокравшись в сад, как тать ночной,
вздыхает ветер ледяной.

И спят начальники вокзалов,
министры смотрят сны устало,
приснились поезда одним,
другим — война и черный дым.
И в этот час поэт готов
сразиться со стихией слов,
жестокий зодиак бумаги
высокой требует отваги.

И в этот ранний лунный час,
в час одинокий, каждый раз
в себя вбираешь мир большой,
за целый мир скорбишь душой.

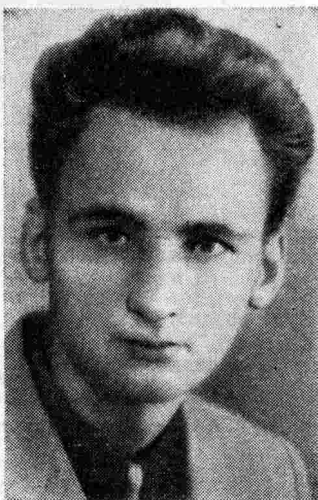
А что же в час печальный, ранний
в душе у тех, кто чужд страданий!
Быть может,
видят поневоле
они во сне чужие боли...

Песня парня

На листе хотел играть я,
только целый лес увял,
я хотел играть на кобзе —
только струны я порвал.
Просвистеть хотел я песню —
с губ не мог сорваться звук,
точно тучка в полдень ясный,
с ветром ты исчезла вдруг.
Мне б заплакать от досады,
только нет у парня слез,
вышел лес густой навстречу,
песню о тебе
принес.
Пел я песню
вместе с лесом,
только был я удивлен:
чем ты лесу угодила!
Полон птиц и ветра он.

Перевела Е. АКСЕЛЬРОД

□ □ □



Григорю
Вьеру

Старые рубашки

Была война.
И отзвуки тех дней
Не замолкают в сердце и поныне.
Рубашки старые,
Рубашки поновей —
Вспоминанья горькие о сыне.
Рубашки не бывали на войне,
Но столько раз

Рубашки мать стирала,
Что белый холст
Протерся на спине
И вышивка за годы
Полиняла.
Когда наденет сын
Рубашки эти —
Рубашки старые,
Рубашки поновей!
Была война,
Война была на свете.
К ручью приходит мать,
Приходит память с ней.
В подоле фартука
Рубашки принесет
И снова их стирает,
Снова трет...
На хору завтра
Девушки придут.
На хоре девушек —
Как пчел в саду,
И хочется парням
Принарядиться...
А что же сын ее,
Любимый сын,
Наденет завтра,
Если возвратится!

Перевела Е. АКСЕЛЬРОД

Таким дождем...

Таким дождем я песни
наполнил бы мои,
чтоб засуха от песни
ушла бы из земли.
Чтоб тоненькие блузки
и праздничный наряд
к фигуркам полудетским
прилипли у девчат.
Чтоб голые, босые
мальчишки вокруг меня
в земных и плодоносных
носились зеленях.
И долго б после песни,
замолкшей над землей,
они б еще играли
под мокрую листвою.

Трансплантация

— Сердце надо сменить, — сказал врач. —
А иначе — каюк...
И вживили мне в грудь
сердце матери.
И болит оно все равно.
Болит —
когда нивы сгорают от жажды.
Болит —
когда папа с войны не пришел.
Болит —
когда с дальней чужбины
домой не пришло письмеца.
А больше всего болит
вечерами,
когда солнце уходит за холм.
Прежде не было у меня
ни боли такой, ни терпения.

Перевел Л. БЕРИНСКИЙ



**Тамара
Жирмунская**



прожившие полжизни без удобств
в квартире
с видом на Дворцовый мост,
владелицы газетных фолиантов,
не допускающие экскурсантов
в кунсткамеру своих старинных чувств,
не верящие в бога — разве чуть! —
прослывшие чудачками в подъезде,
два раза в год
на Пискаревку ездят
и там не плачут
и не бьют поклоны —
прямые,
как ростральные колонны.



Пока росла, все были молодыми.
Никто не умирал, не угасал.
Никто на поэтической латыни
ужасных приговоров не писал.

Врачи микстурой спаивали сладкой,
укладывали в тридцать семь и шесть
и щекотали в горлышке лопаткой,
которой бы мороженое есть.

Грознее, чем бесцветная вакцина,
природа не придумывала бед...
Какой суровой стала медицина
за эти восемнадцать — двадцать лет!

Финский домик

Финский домик — раскладушка:
погостил — и будь здоров.
В нем и холодно и душно,
много мух и комаров.

Но меня прельщают те же
свойства, что у шалаша.
Основательность коттеджа
мне была б нехороша.

Да не так уж он и хлипкок,
дом, законченный вчерне,
пара дудок, пара скрипок
помещаются в стене.

У сверчков свои тетради,
свой минор и свой мажор.

Так что слух мой не внакладе,
и самой мне хорошо
наслаждаться на природе
солнцепеком, холодком,
а потом на самолете
взмыть над утлым чердаком,
подержать его в ладонях
и отчалить, и салют!

Жизнь, она, как финский домик,—
соберут и разберут.

☆
Тургеневские, милый мой, места,
тургеневский ракушечник над водою,
тургеневская сила естества
в деревьях, изрубцованных войною.

Ты знаешь ли наплывы на коре!
Чтоб там, внутри, курсировали соки,
стволы с железной хваткой лекарей
самим себе накладывают скобки.

И вот наплыв. Заплата, или нет,
скорее, лицевая хирургия.
Тогда, теперь и через триста лет
тургеневская Средняя Россия.

Мне тут оказан ласковый прием
едва знакомой женщиной из Мценска.
Грибы едим, и чай до пота пьем,
и ставим чайник на «Курьер Юнеско».

Такой родимый запах от грибов,
от свежей булки, испеченной к чаю...
И все это похоже на любовь.
Ко всем! К тебе! К Тургеневу! Не знаю...

☆
Две ленинградки,
компаньонки, что ли,
учившие детей
в советской школе,
водившие отряды
в Летний сад
(теперь их сорванцам под пятьдесят),
бранившие педологов и прочих
судей,
до нежной психики охочих,

**Константин
Ваншенين**



Перед прыжком

Открылась бездна — и над нею
В проеме люка только ты.
Нет испытания труднее,
Чем низвержение с высоты.

Отпало то, что было ложно,
Недавний гонор твой облез.
О прошлом думать невозможно,
Поскольку времени в обрез.

Все различимо, как на плане,
Но видишь ты не лес, не луг,
Не крыши в утреннем тумане,
А лишь один раскрытый люк.

Одуванчики

Одуванчики, одуванчики,
Одуванчики возле ног.
Сидят девочки на диванчике,
И плетут они свой веночек.

Желтый цвет, он таит неверное,
Им сегодня весь луг облит.
А сосед их уже, наверное,
Он острижен или обрит.

Всех, от Петечки и до Ванечки,
Ждет районный военкомат.
Все мы, мальчики, — одуванчики,
Ваши волосы облетят.

Прошагают зеленой травкою
Ваши пыльные сапоги.
Ты, дружок, перед отправкою
На минуточку забеги.

Атака

Лишь приподнявшись,
Чтоб взбежать на увал,
Сразу же навзничь
С тонким стонком упал,

Взгляд поднимая
Землякам своим вслед,
Не понимая,
Что его уже нет.

Сосны

Поднял я взгляд:
Холм, уходящий покато.
Тускло горят
Сосны напротив заката.

Копится мгла,
Но, в глубине догорая,
Лампой ствола
Пыхнет одна и вторая.

Отсвет зари,
Меркнувший в соснах так скудно,
Где-то внутри
В нас оживает подспудно.

☆

Когда туман, клубясь,
Течет за утром следом,
Вдруг ощущаешь связь —
До боли — с белым светом.

С поселком за рекой,
С возможным днем погожим,
С давнишнею строкой
И встреченным прохожим.

Минуя мокрый луг,
Легко шагаешь к дому,
И каждому ты друг
И родственник любому.

☆

Не смерти страшусь,
А немощи, боли, больницы.
Не с кем-то сражусь —
С собою! — при свете страницы.

Ночь. Смотрим во тьму,
Над белым листочком немею
И учим тому,
Чего мы подчас не умеем:

Жить не напоказ,
Быть смелым, в невзгоде крепиться.
Но, видимо, в нас
Есть всех этих качеств крупица.

☆

Подвластное внезапным вспышкам,
Былое, в сердце не старей!
Злопамятен ли я! Не слишком.
Я добропамятен скорей.

Минуя времени границы,
До дней суровых добреду
Затем, чтоб людям поклониться,
Чтоб им воздать за доброту.

Не стану шибко лезть из кожи,
Но среди нынешнего дня
И мне б хотелось, чтобы тоже
Рассчитывали на меня.



Л. Антопольский

КОРНИ ЧЕЛОВЕКА

В ходе давнишней, но памятной дискуссии о «знаниях и нравственности», проходившей на страницах «Комсомольской правды», было опубликовано одно коротенькое письмо. Оно прошло как-то мимо общего разговора, не обратило на себя заметного внимания. Редакция, по всей видимости, сочла достаточным обнародовать его без лишних комментариев в силу очевидной странности да и нереальности высказанной в нем программы. Вот несколько строк письма Н. Грауда из Днепропетровской области: «У меня одно желание: прожить свою жизнь так, как живут растения,— дышать и расти, увядать и расцветать вновь и, наконец, стать прахом, и все это благодаря солнцу, ветру и воде. Я стремлюсь к тому, чтобы жить в единстве с природой, которая не знает ни преступлений, ни благодеяния. Это, я убежден, единственно приемлемый для людей образ жизни».

Заслуживает ли в самом деле такая точка зрения специального разбора? Не бесплодная ли это схоластика? Мыслимая ли это вещь: выключить себя из жизни человеческого общества? Если да, то что за принципы такого существования? Но, может быть, они чем-то и хороши? Может быть, они естественны? Заметим, что строки эти писаны с полной уверенностью в своей правоте, с горячностью. Это—целостное убеждение. Откуда взялось это убеждение, эта программа? Случайна ли она? Рождена ли моментом, особенностями личности писавшего или, может быть, имеет основы более широкие?

И память незамедлительно переносит нас в 60-е годы XVIII века к Бьенскому озеру, в Швейцарии, к островку Сен-Пьер, к прогулкам одинокого мечта-

теля, поэта и философа Жан-Жака Руссо. К его путешествиям среди тучных пастбищ и золотых виноградников, по мягкому лугу и берегу прозрачного ручья, через заросли терна, через тенистые рощи, с «Системой природы» Карла Линнея под мышкой; к его мыслям о тщете иного существования; к его намерению выбросить из комнаты весь хлам книжного старья, заменить его цветами и сеном; к его желанию раствориться в системе живых существ, отождествиться с природой. И разве это не прекрасно?

Но смог ли Руссо убежать от себя-человека, от себя-гражданина великой эпохи просветительства? У него это плохо получалось. И, уединившись, оставив людей, он все равно полон человеческого мироощущения, он щедро и постоянно рассыпает мысли о человеческой природе. Людская сутолока его оглушает, но он ищет путь к людям: «одиночество мне надоедало». Он полон чувств нежных и трогательных, тех чувств, что крепят братство. Он мечтает о дружелюбии, дружбе, друзьях. Он забегает в дикую глушь. Успокоенный, отгороженный от мира, он шепчет себе: «Я первый из смертных проник сюда». Однако ухо улавливает какое-то пощелкивание. Тут же он бросается сквозь чащу кустарников и через двадцать шагов видит чудотворную мануфактуру! И что же он испытывает? «Первым движением души было чувство радости оттого, что я снова среди людей...»

Руссо никогда не удавалось изъять себя из времени. Сменить книжный хлам на сено и цветы он не смог бы, как бы ни хотел; он мог ссориться с Дидро, но не в его власти было порвать с веком энциклопедистов. «Исповедь», «Диалоги», «Прогулки одинокого мечтателя» он пишет для публики и читает еще не завершённые рукописи в светских салонах.

Он интуитивно угадывал, где та почва, за которую вернее всего зацепиться. Нравственное чутье дает направление поиска; он страстно ищет смысла в героическом существовании.

Нет, Руссо никак не годится в праотцы к тем, кто не жаждет знать ни преступлений, ни благодеяний его собратьев; он продолжает и создает лучшую родовую человеческую наследственность. Он не может порвать с прошлым и настоящим во имя будущего, во имя того, что когда-то появимся мы. Что останется, если вычтеть бунтующего и мыслящего Руссо из Руссо? Ничего.

...Опять-таки: не бесплодная, не пустая ли фантазия автора письма о «растительном существовании»? Да и где оно, что оно такое? Как оно может заявить о себе в наш век атома и кибернетики?.. Прекрасно может заявить, постоянно может давать знать о себе. Наша эпоха, как и всякая другая, складывается из миллионов отдельных существований, из миллионов обертонов. Мы слушаем основной тон, не давая себе труда уловить тихое, мерное «жужжание» тех, кто выбрал своей судьбой стихию безотчетного существования. Явление это совсем не редкое; со своими типическими правилами, со своими тяготами... Каков же его образ?

Юрий Казаков рассказывает, как может устанавливаться и длиться «растительная жизнь» в наши дни; как происходит выключение сознания из эпохи, писатель вслушивается в жужжание в своем рассказе «Трали-вали».

...Бакенщик Егор живет на берегу прекрасной и тихой реки. Заботы у него нехлопотливые: каждый

2

вечер, как только воздух похолодеет и ласточки спустятся к воде, ехать на лодке устанавливая фонари на своих четырех бакенах. И ведь чудо как хороша эта жизнь!.. Удивительно это медленное, неуклонное круговращение дня, месяца, года.

Жизнь природы прекрасна, но привязанная к ней жизнь человека однотонна. Изюм в день то же: рыба, бакены, река. Егор припаян к одной точке ее, вписан в чудесный пейзаж, как бесчувственная деталь его. Он влачит физиологически устойчивое существование, но душа его временами восстает и бунтует. Устает скукой и сытостью. Приходят сомнения. Не в виде мыслей, потому что никакой отвлеченной идее не протолкнуться к Егорушкиному сознанию, а в виде позывов к мысли и действию. В виде неутолимой тоски по своей человеческой земле, которая может еще быть и, наверное, уже была в недалеком прошлом, во время службы на флоте, в тесном от людей кубрике, с треском радиоприемника, с куревом, с разговорами, с писанием писем... Те дни мнятся Егору недостижимым, лучезарным видением. И чудится ему порой, что он умер, совсем умер, потому что нет его уже и в той жизни. Нет прошлого — нет и человека. Материальность его нынешнего бытия есть иллюзорность его бытия. Его окружают голоса. Звездный крик по реке гудит ему, что он человек, что он — все. Сладко-тревожно внимать этому оклику. Он — все! Нет, он ничто, он ленив, он только река и плес и ничего не знает о себе.

И зависть сосет сердце, зависть к тем, кто устроен иначе. Егор неласково встречает прохожих-проезжих: они оттуда. Он грубит, дерзит, а затем вдруг начинает ломать перед ними шута. Паец получает право на месть фамильярную, неприкрытую. Он клянит деньги на водку, но он зол.

Однажды утром ему становится особенно не по себе. Нечесанный, угрюмый, он бродит по избе, пьет понемногу. Его затягивает. Какая-то сила переворачивает его. Что это за сила, которая, подхватив Егора и Аленку, влечет их к берегу реки, к любимому месту возле дырявой плоскодонки в березках? Что за беспредельная страсть овладевает сердцем? Что за музыка поднимается в нем, властно требуя раствориться в ней, отдаться ей? Егор и Аленка идут петь дуэтом. Но как петь? «Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петье:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охнется...

Ах, да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, давным-давно, и пела вот так же и дивный голос Егора слушала!»

Это не просто песня, а жизнь через песню. Не Егора это и не Аленки жизнь. Она совсем другая. На несколько часов в Егоре рождается иной, свободный, раскрепощенный от прозябания человек. Этот новый властно разрывает грубую и неуклюжую оболочку. Кто же он? Откуда взялся? Каким заклинанием вызван? Заклинание — талант Егора. Откуда? Из прошлого, из человеческой истории. Кто? Это Егор, воскрешающий в себе лучший духовный опыт предков.

Егор так не поет ни частушек, ни современных песен, хоть нередко их мурлычет. Так он поет толь-

ко старинные. В них может не быть точно высказанного смысла, но в них есть традиция. Великая нравственная традиция народа. В этом опыте закреплена попытка каждого из людей жить, включаясь в полную жизнь человечества. Это опыт игумена Даниила, радателя за «всю землю русскую», самодеятельного посла ее в Палестине; рыцаря и соловья старого времени Бояна; Кирилла Туровского, запрещающего забывать своих учителей, «ключи давших разума книжного»; протопопа Аввакума, подарившего нам исповедь не меньшей страстности, чем исповедь Руссо; опыт всех, кто умел преодолевать замкнутость узкого эгоистического сознания, — от Радищева до Лапотника, гусяра, война, хлебопашца. Эта традиция неустанно вырабатывает в личности человеческое, социальное через общение с себе подобными, через желание такого общения. О ней сказал глубокие слова один из самых счастливых и сильных представителей ее, Чернышевский: «Занятие важными общественными делами есть наилучшая школа для развития в человеке всех истинно человеческих достоинств...».

Духовное наследие человечества — свидетельство того, что история его была не напрасна, что настоящее подлинно и несомненно. Человечество как человечество существует, потому что оно было. «Было» составляет костяк «есть». Довольно легко нарастают мускулы, костяк образуется веками. Но он дает вертикальную походку.

Духовный опыт прошлого передает и подлинное искусство. Егору он звучит песней. Что такое Егор без песни? Это — призрачное существование, сумеречное состояние души, беспокойная дремота сознания. Остается убедить себя: все есть прах и суета, все ничтожно и мнимо, все «трали-вали», как снижительно определяет Егор. Два эти словечка хорошо успокаивают, дают возможность посмотреть кругом полусонным пренебрежительным оком; они магия самозащиты.

Так бывает всегда. Ущербность компенсируется внушением, самогипнозом. Иррациональное удержит заговором, повторением, тупой волей. Чтобы доказать, что дважды два стеариновая свечка, надо вдавливать себе это в голову изо дня в день. Такое упорство — суррогат разума и традиции. Тому, кто выключен из жизни, надо убеждать себя с особой настойчивостью. «...И все нормально, нормально. Нормально — и точка», — раз за разом втолковывает себе Валерий Кирпиченко, близнец Егора, герой рассказа В. Аксенова «На полпути к Луне». Это «нормально», «спокойно», иногда полуугрожающее «тихо» — тот же рефрен, что и «трали-вали».

Все нормально у Валерия, двадцатидевятилетнего шофера с Сахалина, поскольку в кальсонах у него зашиты аккредитивы и он летит в Москву, где купит три костюма и зеленую шляпу, а потом махнет на юг, как «какой-нибудь ИТР». Этим Кирпиченко пока исчерпан. Но Кирпиченко влюбляется, и ему открываются неясные глубины жизни. Он сильно и неожиданно полюбил Татьяну Викторовну, Таню, стюардессу с двухэтажного лайнера «ТУ-114». Татьяна, любовь сбивают медвежий растительный сон с уралья из Баюкля: «Он смотрел на девушку, и ему хотелось иметь от нее детей, но он даже не представлял себе, что с ней можно делать то, что делают, когда хотят иметь детей, и это было впервые, и его вдруг обожгло неожиданное первое чувство счастья».

Жизненно сильное внимание к другой индивидуальности заставляет рассмотреть и в себе человеческую индивидуальность, проявить ее.

Валерий Кирпиченко проводит свой отпуск в самолете Хабаровск — Москва в надежде встретить Танию. Рассказчик сталкивается с ним в Хабаровском аэропорту. Жизнь повернула Кирпиченко к себе и резко встряхнула. Жалкий теперь беззащитностью своей против глубоких и серьезных сомнений, Кирпиченко держит в руках авоську с апельсинами и книгу Станюковича. Никаких «нормально», «тихо», «спокойно». Истинная жизнь беспокойна и несамоуверенна; никогда раньше Валерий не читал столько, не думал столько. Он задается невозможным, невероятно абстрактным для него вопросом: сколько километров до Луны? Новый опыт подталкивает мерить свое существование иной мерой: а может быть, он н-а-л-е-т-а-л-с-т-о-л-ь-к-о же? Может быть. Но важнее, что он подумал об этом.

3

Но вернемся к нашей исходной точке, к программе читателя из Днепропетровской области: «дышать и расти». Несомненно, что это программа мнимой асоциальной человечности. Но она не имеет резона и с точки зрения потомков зеленого Адама. ...Тихо, еле заметно ползут усики виноградной лозы, оплетающей подпорку, наливаются теплом Южной Европы грозды, радуя глаз женевского мечтателя. Но тут же рядом другая лоза. Солнца на двоих мало. И начинается смертельный бой. Каждая поднимает плеть для удара. Увечат друг друга спокойно, холодно, расчетливо, пока слабейшая, рассеченная и обессиленная лоза не падет побежденной... Роскошные тропики. Остров Суматра. На влажной, пропаренной земле раскинулись пять гигантских красных лепестков раффлезии Арнольди, самого большого цветка на свете. Стебля у него нет. Он приспособился на лиане из породы циссусов, родиче винограда, тянет из него силы, мертвит; «великолепный паразит» утверждает свою особь, привлекая для опыления мух и жуков тошнотворным зловонием... Среднерусская полоса. Выбросила от многолетнего корня весенний побег крапивы. А его захлестнула бледная нить повилки, змейкой извиваясь, поползла вверх, вонзает и сосет стебель острыми присосками; чахнет бедная крапива, а повилка, забыв о ненужных ей сейчас корнях, сыплет на землю новые свои семена. Драма двух сорных трав.

Присмотревшись и ко множеству других уголков зеленого мира, не отыщем там ни спокойствия, ни умиротворенности. Понравится ли это стороннику тихого, нейтрального произрастания?.. Правда, природа знает и другие формы, так сказать, социально-растительного существования. Если принять свидетельство белорусского писателя В. Короткевича, назвавшего свою новую повесть поэтическим именем «Чезения», то эта уроженка уссурийской тайги — дерево-альтруист. Оно избирает себе трудные условия жизни. Сильные корни чезении погружаются в скалы и камни, взрывают и мягчат их. Создает почву для других растений, хоть и не отказывается от жизни, наш скромный клевер, после него хорошо растут другие зеленые индивидуумы. Но все это опять-таки не нейтрально, не замкнуто в себе. Так же и в мире животных. Кроме вьедливого клеща, беспощадного ястреба и отвратительного шакала, видим мы там мудрые коллективы пчел и муравьев, самоотверженную мать-воробиху, высокоморальных оленей, иногда сознательно идущих на гибель в соляной голод во имя спасения вида, благородного (и столь модного нынче) дельфина... Нравственному чутью человека

отвечают одного рода примеры, отталкивают другие. И если вздумаем ориентироваться среди этого многообразия, то нам непременно придется выбирать. С этого права выбора «линии поведения», с нравственного умственного творчества начинается (не сразу!) намечаться истинно человеческое бытие. Но стоит призабыть о том, стоит уподобиться внешнему, плохо понятому облику природы, стоит отдаться «солнцу, ветру и воде», как являются на свет образцы поведения бакенщика Егора и Валерия Кирпиченко. Человеку не суждено вернуться к «чистому произрастанию».

Однако в письме Н. Грауда есть пока оставшаяся в тени, но глубоко справедливая общая мысль о необходимости чувствовать себя в единстве с природой. Пустой самоуверенностью было бы обратить внимание на поползновения повилки и вьедливого клеща, не различая среди пискон, шепотов, рева и шелеста могущественного голоса нашей общей праматери. Все есть Природа, и человечество есть скромная часть Природы. Мы набраны из белков, молекул и атомов. Мы — живые — все заведены по одним биологическим часам. Живое в материи начинается так далеко, что сегодня мы не умеем себе этого и отдаленно представить. Не дошло еще до широкой прессы известие об открытии, сделанном московской научной группой во главе с доктором наук В. Классеном и молодым ученым Э. Миллером. Экспериментами установлено — обыкновенная вода, aqua destillata, изолированная от внешних условий, и изменится во времени. Меняется по определенной кривой ее вязкость, плотность, электропроводность. Уже Аристотелю было известно, что самопроизвольное движение начинается жизнь. И давайте пофантазируем! — разве исключено, что проблемы соотношения единичного и общего, туманные образы предсознания зашевелились уже там?

Собственно, нет большой нужды и фантазировать. Эволюционная теория, говоря словами Энгельса, не знает «или»-«или», не знает «застывшей системы неизменно установившейся органической природы»... Два сообщающихся сосуда, два втекающих один в другой образа.

Когда б не солнечен был глаз,
Как солнце он узреть сумел бы?

Природа начала игру «в живое» немножко раньше палеозоя. Ту игру, о которой гениально говорят поэтические строки Гете:

«Природа! Окруженные и охваченные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошенная, нежданная, захватывает она нас в вихрь своей пляски и несется с нами, пока, утомленные, мы не выпадем из рук ее... Все люди в ней, и она во всех. Со всеми дружески ведет она игру, и чем больше у нее выигрывают, тем больше она радуется. Со многими так скрытно она играет, что незаметно для них кончается игра... Зрелище ее вечно ново, ибо она непрестанно творит новых созерцателей. Жизнь — ее лучшее изобретение; смерть для нее средство для большей жизни... Венец ее — любовь. Любовью только приближаются к ней. Бездны положила она между созданиями, и все создания жаждут слиться в общем объятии. Она разбила их, чтобы опять соединить. Одним прикосновением уст к чаше любви искупает она целую жизнь страданий... Как она творит, так можно творить вечно».

Но тут, однако, читатель вправе поставить простой вопрос: как ни высокопоэтичны эти строки Гете, но что реального открывается за ними? Не слишком ли отвлечено это знание и это мощное пантеистическое

чувство от настоящего момента? Ведь юность волнует вопросы иного плана, прямые: кто я такой? Каковы мои силы, мои возможности, мое будущее, мое предназначение?

Но в том-то и дело, что нельзя решать эти всегда жгучие вопросы изолированно. Они уясняются лишь в системе общих сведений о человечестве и природе. Изучая себя, человек обязательно сравнивает. «Душа жаждет себя, но она жаждет обрести себя в чем-то ином, а не в себе», — писал Гегель.

«Что-то иное» — это «не-я», другой человек, все люди, вся природа. Это чужая биография и судьба, иные случаи, образцы, примеры, куски чувствующей, размышляющей и безмолвствующей материи. Мы ищем меру своей личности, мы строим себя через все это. Мы обнаруживаем себя, прежде всего всматриваясь в других людей. Мы гордимся и завидуем, впадаем в робость или заносчивость, обосновываем свою деятельность, соотносясь с ними. Мы падаем, расширяемся, встаем, оглядываясь: как люди? Жизнь — вот первое мерило нашего «я».

Герой рассказа В. Белова «Бобришный угор» прибывает вместе с другими в старые заветные места. Отрадный, дремотный, «июльский умеренно-теплый» лес встречает их мудрой счастливой тишиной. Домик с белым крыльцом на неширокой полянке, «осененный спящими соснами», девственная трава, белеющая звездочками земляники («казалось кошунством бросить окурок в эту первозданную чистую траву...»), речка с бесшумными сильными струями и белыми песчаными косами, легкий, прозрачный воздух на Бобришном угоре. Хорошо жить здесь! Хорошо почувствовать себя в объятиях милой, старой, с детства любимой «малой родины?» Но и здесь, в этом прекрасном уголке родной земли, подкатывают к сердцу неожиданные, беспрестанные сомнения. Вспыхивает какая-то странная «ревность к неживой вечной природе и чувство жалости к людям и самому себе». Ведь все не вечно, все преходяще — зачем эта красота, зачем двигаться к какой-то цели и вообще есть ли эта цель? И что же делать, как жить? «Герои, герои, герои... Как часто думается о том, что мужество живет только под толстой, ни к чему не чувствительной кожей, а сила рождает одну жестокость и не способна родить добро, как ядерная бомба, которая не способна ни на что, кроме как однажды взорваться. А может, есть сила добрая и есть могущество, не прибегающее к жестокости? Может, есть мужество без насилия? Нельзя жить, не веря в такую возможность». Взгляд героя охватывает все вокруг лежащее, все затаившееся и движущееся, сомневаясь, ожидая ответа. Вот отверстие в дощатой стенке сены, продолбленное дятлом. С каким упорством, настойчивостью совершалась работа!.. Но мысль наблюдателя как-то отключается тут в сторону, ослабевает, занятая внешними сопоставлениями... А ведь сомнения могли бы понемногу разрешаться. Необыкновенно важно это упрямство маленькой птички. Не в нем ли сказывается сама воля жизни, дар жизнестроения, игра природы, которыми дышит, пронизано все способное к утверждению? Деятельность, страстная деятельность!

...Герой тоскует о добре, очищенном от зла. Прекрасная мечта! Но не вернее ли было бы подумать не об определении добра, а прежде о том, чтобы оно было, проявлялось, существовало? Полубесильное «добро», не имеющее яростной настырности маленькой птички, хуже иного «зла», ибо оно недействительно и несерьезно. Босыми нежными ножками оно не пройдет по земле, ничего толком не сделает, лишь напортит... Вот чему учит природа, вот какие сопоставления дает роду человеческому...

Не угадывая этого, герой ищет меры своего поведения, ищет опоры. Кажется, вот она, рядом, в его друге. «Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты, кто или что твоя опора?.. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой опоры во внешней среде». И «малая родина» уж не может вызволить, если вокруг тебя толпится множество острейших социальных, требующих сейчас конкретного ответа проблем.

Этих вопросов не избежать тому, кто хочет узнать себя личностью. Конечно, особенно тщательно люди исследуют собственный опыт. Что полезно и хорошо, что дурно в пережитом? Что накрепко обосновывается в нашем социалистическом обществе, составляя его основу? Что уходит в прошлое? Обращаясь к тому, что стало историей, мы легче открываем суть общественного процесса, а следовательно, испытываем, уясняем и себя вернее. Строим себя надежнее.

Самоуверенное отношение к былому, любованье «экзотикой», пустяками архивного быта при забвении смысла а минувшей жизни — психология временщиков, людей, которые не хотят и в свое время включиться по-настоящему. Глубина самосознания эпохи определяется в значительной степени цепкостью ее связей с прошлым. В последние годы у нас все менее заметно чувство слепой самонадеянности перед прошлым, мы все чаще думаем о том, чем оно может нас обогатить. Жизнь общества, литературу все энергичнее питает ее прапамять (как выразился Н. Коржавин). Необычайно памятно все творчество Расула Гамзатова; Валентин Катаев заставлял зеленеть «траву забвенья»; «чисто деревенские» очерки Ефима Дороша полны исторического осмысления событий; Е. Евтушенко включает исторический материал в поэму о современности — «Братскую ГЭС»; творчество Корнея Чуковского — воплощенное обаяние живой человеческой традиции.

☆

Жизнь, отданная безразличному влиянию «солнца, ветра и воды»... Мнимое бытие, лишенное корней и привязанностей к радостям и страданиям большого мира. Мизерное это существование просматривается не только в бакенщике Егоре или Валерии Кирпиченко. Юноша, порхающий с цветка на цветок, юноша с беспечно-короткой памятью; юноша в джинсах, с ультрамодным японским магнитофоном через плечо, с коротенькими вопросами в жизни, — оба они изъятые из современности. Они не способны выиснить себя, ибо прапамять их беспомощна, ибо они не умеют сравнивать и определять себя в системе мира. Существование их случайное, тускло, бедно, потому что оно отторгнуто от главной идеи современности — построения коммунизма. Жизнь, играя и смеясь, обходит их, не оставляя дистанции между двадцатью и семьдесятю годами. И что им можно пожелать, кроме того, чтобы искренне, страстно включиться в общий ритм человеческого бытия, строить свою личную судьбу через понятие судьбы человечества?.. «Но какая связь, — спросит чего-то еще не уяснивший юноша в джинсах, — какая связь между революционностью Руссо и Чернышевского и бесконечной игрой природных сил? Какое соотношение между тем, что я делаю каждый день, и дятлом, заставляющим призадуматься героя рассказа В. Белова?» В том и суть, что связь между многими устанавливается всякий раз личностью, ее чувством, умом, направлением ее одухотворенной деятельности. В том и суть, что личное формирование человека есть его занятие общественными делами. Это лучшая школа гражданственности.



Эм. Казакевич

ПИСЬМА К ДЕТЯМ

Молодые читатели знают имя известного советского прозаика Эммануила Казакевича, любят его поэтические и мужественные книги — «Звезда», «Сердце друга», «Двое в степи», «Синяя тетрадь». Сегодня, публикуя несколько писем писателя к своим детям, мы знакомим вас с неизвестной страницей его рано оборвавшейся жизни.

Большое влияние на формирование личности Эммануила Казакевича оказал его отец Генрих Львович. Он был талантливым литератором и редактором, партийным работником и дал путевку в большую писательскую жизнь многим советским поэтам, таким, например, как Перец Маркиш, Лев Квитко. Дружба с отцом, его письма на всю жизнь остались для Эм. Казакевича образцом отношений между родителями и детьми. Эта атмосфера доверия, открытости и дружеской требовательности была характерна для общения Эм. Казакевича с дочерьми Евгенией, Ларисой и Ольгой, с которыми он постоянно переписывался, когда бывал в разлуке. Читатели «Юности», несомненно, почувствуют нравственную силу этих писем. Их пишет не просто любящий отец, но и всегда старший товарищ, писатель, гражданин, нежно и требовательно заботящийся о подлинно коммунистическом воспитании своих детей.

Публикация подготовлена З. А. Гуревичем и Г. О. Казакевич.



☆
Моя милая Женья!

За неимением писем от тебя сегодня перечитал старое твое письмо и решил на него ответить еще раз.

Нельзя писать так редко. Мы, правда, надеемся, что скоро увидимся. И ты надеешься на скорое свидание с нами и поэтому не пишешь. А это глупо, так как на таких основаниях люди считают возможным не писать вовсе, отношения разлаживаются, возникают взаимные недовольства и обиды, а в нашем случае — тревога.

Я уже писал тебе, что второй сборник «Литературная Москва» уже сдан. Там будут напечатаны неопубликованные первоклассные главы из романа Фадеева «Последний из Удэге», новый роман Каверина, новая пьеса Погодина...

Я пишу мало — занят был сборником, — хотя очень хочется писать и — есть о чем. Правда, время это нельзя считать совсем потерянным — я много думаю о «Столице и деревне», моей новой повести, которой я вступаю в новый период работы, как мне кажется, в новый возраст...

Москва
16.VIII.56.

Твой папа.

☆

Мои дорогие Галя¹ и Женечка!

Сегодня с утра началась моя трудовая жизнь... Мое обиталище — сарайчик с кроватью, самодельным столиком (дядя Леня смастерил его сегодня), маленьким окошечком, из которого видна тихая река, кусты и деревья. С утра я работал. Написал страничку повести «Ленин в Разливе» и читал статьи Ленина того периода.

Я совсем один. На душе спокойно. Получится ли повесть, не знаю. Тут много трудного, неизведанного, я пока в нашей литературе совершенно одинок на этом пути. О Ленине наша проза совсем не писала всерьез, попытки кино и театра необычайно легковесны, поверхностны, внешни. О нем надо писать с абсолютной внутренней свободой, не рассчитывая на то, что читатель любит этого героя заранее, до прочтения повести.

Чувствую, что работать здесь буду. Это, во всяком случае, немаловажно. «Деревня и столица», надеюсь, тоже подвинется.

Обнимаю вас и чувствую, что даже на расстоянии нуждаюсь в вашей любви и преданности.

Ваш папа.
17.VIII.57.

Ваш папа.

¹ Галина Осиповна Казакевич — вдова писателя.

Милая Олечка!

Итак, ты снова приступила к учению. Мама сказала мне по телефону, что ты стала прилично рисовать и увлекаешься рисованием. Это очень хорошо. Боль-

На снимке вверху: Эммануил Казакевич, Венеция. 1960 г.

шее счастье — уметь точно изображать на бумаге (или на холсте) то, что видишь своими глазами. Кроме того, она мне сказала, что ты любишь читать стихи. Это тоже очень хорошо. Чувствовать прекрасное — большое и важное умение для человека. Наконец, ты учишься музыке и учишься, как мне мама говорила, вполне прилично. Это тоже очень хорошо! Отлично! Из семи муз три, притом самые красивые, носятся вокруг тебя как угорелые!

Все-таки хочу тебе посоветовать не забывать и о других, не таких красивых, но не менее важных музах. Это — Клио (муза истории, а по-нашему — всех гуманитарных наук) и Урания (муза астрономии, а по-нашему — всех точных наук). Про них тоже не забывай. Хорошо учишься немецкому языку — всякий новый язык открывает перед человеком большой новый мир, который не может быть во всей красе и всем богатстве передан на другом языке. Читай не только сказки и рассказы, но иногда почитывай полезные книжки — вроде «Жизни животных» Брэма и других подобных, — они у тебя есть в твоей библиотеке. Именно не просматривай, а почитывай.

Человек должен быть образован не односторонне, а многосторонне. И его образованность зависит от того, насколько он занимался в детстве. Образование начинается с детства, и чем раньше, тем лучше.

И, наконец, последнее. То, что твоя голова станет умнее, а вкус — тоньше, это хорошо. Но это не стоит гривенника ломаного, если ты физически будешь хлипкая, сопливая, слабая, тщедушная, чахлая, жалкая, немощная, болезненная, заморенная, зачуханная, хрупкая, замученная, рыхлая, бессильная. Поэтому ты не должна забывать побегать на свежем воздухе, на коньках, обтираться мокрым полотенцем, закаляться.

Иначе все твое знание и умение не принесет пользы ни тебе, ни людям — у тебя не будет сил довести дело до конца и стать настоящим человеком и тружеником.

Обнимаю тебя, моя Оля. Лекция моя окончена. Пусть мои советы не пропадут даром.

Твой папа.

14.I.1958.



Мои дорогие и славные дети Женечка и Лялечка!

С утра до вечера я смотрю завод, город и беседую с людьми, по преимуществу пожилыми, так как меня интересует начало комбината, 1930—1933 гг.

Гляжу я тут на все и дивлюсь, что могут сделать люди. Весь металлургический цикл — Гора (то есть рудник), обогатительная фабрика, агломерационная фабрика, доменные, коксохимия, сталеварение и прокат разного рода — это чудо остроумия по идее и мощи по выполнению. Когда я приеду в Москву, я вам расскажу, как это делается, и вы тоже поразитесь и восславите человечество — от месье Мартэна и мистера Бессемера до замечательных металлургов нашей страны и наших дней...

Целую вас, мои милые дети,

Ваш папа.

6.II.1958.
Магнитогорск.



Моя родная Лялечка!

Получил и с великим удовольствием прочитал твое письмо, из которого увидел — и по содержанию и по слогу, — что ты очень выросла, как человек, что ме-

ня, разумеется, радуется. Твоя сравнительно самостоятельная деятельность педагога — вещь очень полезная. Интересы перестали быть узкими, школярскими, стали большими, серьезными, и от этого даже слог письма стал ярче. Ах, как хорошо писать письма о том, что действительно волнует, а не отписки «для выполнения обязанности» родственника: «У нас все хорошо» и т. д.

Меня радует мысль, что ты будешь хорошим учителем. Это действительно великая должность на земле, несколько потерявшая у нас свою притягательную силу в связи с тем, что из-за нужд культурной революции и нашего массового образования учителей стало очень много, и, по необходимости, большинство их готовилось наспех, к тому же из рабоче-крестьянской среды — то есть здоровой, но культурно отсталой. Это пройдет вскоре, по мере подъема культуры всей страны. Учитель снова станет тем, чем он должен быть. Культура у нас необъятно расширилась, но недостаточно углубилась. Это естественно. Охватив все вширь, она обязательно начнет углубляться. Думаю, что учителя твоего поколения и будут теми, которые начнут углублять ее.

Целую тебя,

Твой папа.

18.III.1958.
Магнитогорск.



Моя дорогая Женя!

Мама мне принесла твое письмо. То, что ты иногда кажешься себе растерянной, вполне естественно. Мне это знакомо по моим первым шагам после отъезда из дому в молодости. К счастью, это вовсе не значит, что ты кажешься растерянной другим людям. Однако я уверен, что, если ты хоть что-нибудь получила от моего характера в наследство (а всем сдается, что получила), ты имеешь в своем распоряжении и организационные таланты и справишься с любой работой. Не боги горшки обжигают; а обжегши горшки, ты сможешь думать уже и о другом, что ближе к «божественному». Думаю, что твоя работа на производстве с людьми производства (при этом не идеализируя их несколько) окажется для тебя в высшей степени полезным делом.

Пиши обо всем. Нам интересно все. В котором часу ты приехала, в какое время начинаются твои смены, какие люди тебя окружают — все, все пиши, включая меню твоих завтраков и обедов, оклад жалованья и прочее.

Друг мой, Женечка! Нежно обнимаю тебя. Держись и работай хорошо. Впрочем, я в этом ничуть не сомневаюсь — все-таки ты дочь двух старых комсомольцев, во-первых, и сама в душе комсомолец — во-вторых.

В больнице меня уже держат для исследования только: чувствую я себя неплохо.

25.VIII.59.

Твой папа.



Моя родная Женя!

Мама приносила мне вчера твое толковое и милое письмо о житье-бытье первоначальном в Красноярске. Картина получается пестрая, но не слишком радостная. Что мы с тобой предполагали, впрочем, и раньше. Самое трудное — особенно в первое время — это знаменитая тоска по родине, вернее, по родным людям и родной обстановке. Это надо придушивать в себе: а) трудом; б) созданием максимально-удобных условий существования. Первое тебе обеспечено. Второе нужно сделать.

Несмотря на бедность и неустроенность тамошней жизни, будь спокойна и, как говорят в Одессе, «дер-

жи фасон». И, главное, будь уверена в пользе этих трудностей для твоего будущего вообще, для выработки твоего характера в частности...

Когда выйду из больницы, напишу тебе более толково и не на весу, а на столе. Тогда и почерк мой и стиль будут появственнее.

Твой папа.

6.IX.59.



Милая дочка!

Мама тебе все изложила со свойственной ей глубиной и подробностью, так что мне нечего добавить, кроме того, что мы тебя любим, а также списка новых книг.

Постараюсь вспомнить:

1) История импрессионизма (американского автора, вышла у нас, богатое издание со средними репродукциями).

2) Кристиан Пино. Сказки (прелесть!)

3) Итальянские сказки (прелесть!)

4) «Три апельсина» (тоже итальянская сказка) (прелесть!)

5) Я. Гашек. Рассказы (смешных много).

6) А. Ф. Кони. Собрание сочинений в 2 томах.

7) 4-й том Нюрнбергского процесса.

8) Альбом «Рублев».

9) Х. Лакснесс. Салка-валка (хорошо).

10) Бергман, Мархуремы из Ватчининга (шведский классик, интересно.)

11) Однотомник Бьернстерне-Бьернсона.

12) Сказки Гауфа.

13) Ганди, Моя жизнь.

Купили также много новых марок, и мой с Олей альбом марок-портретов необыкновенно похорошел (мы купили специальный альбом и наклеили туда все марки-портреты по родам деятельности знаменитостей).

Целую тебя, моя милая Женя.

Твой папа.

IX—X.1959.



Женечка!

Присовокупляю к письму мамы список очередной партии книг, полученных нами вчера:

1. Я. Гашек. Бравый солдат Швейк в плену (по-русски впервые) и др. рассказы.

2. Л. Богданович. Записки психиатра.

3. Фернандо де Рохас. Селестина (классическое произведение испанской литературы XVI в., зачинатель великой испанской литературы Возрождения).

4. Бласко Ибаньес — собрание сочинений в 3-х томах (известный романист (испанский) начала нашего века).

5. Ж. Рони — старший — «Вомпрех» (повесть о до-исторических людях).

6. Р. Амундсен — Моя жизнь.

7. Батлер — Большая стратегия (о последней войне).

8. Олдридж — Последний дюйм (рассказы).

9. Фабриан (немец) — В стране марабу (повесть об Э. Брэме).

10. Файен — Французский врач в Йемене (очень интересно! женщина-врач).

11. Фейхтвангер — Лисицы в винограднике (роман

о Бомарше, Франклине, Людовике XVI, Марии-Антуанетте, в общем, о времени накануне Великой Французской революции).

Написан слабовато.

12. Трехтомник сочинений Антонио Грамши, знаменитого итальянского коммуниста, основоположника ИКП (полжизни он прожил (и умер) в тюрьме, два тома из трех написаны там).

В дальнейшем тоже буду тебе высылать «проспекты». Когда устроишься помалолюднее и обзаведешься собственным углом, буду посылать тебе любые книги бандеролью — это не составит никаких трудностей. Учти это.

Твой папа.

X—XI.1959.



Моя родная Лялечка!

...Друг мой, то, что ты скучаешь по Москве и по твоим близким, естественно. Я хочу только предостеречь тебя от чрезмерной тоски. Надо выдержать характер, быть веселой, общительной, деятельной на службе и вне ее, уметь казаться спокойной и жизнелюбивой даже тогда, когда на душе скребут кошки.

Я отправляюсь на дачу в одиночество. Буду кончать небольшую повесть «При свете дня» и продолжать роман. Он у меня получается, кажется, здорово. Впрочем, там видно будет.

«Двое в степи» выйдут! Это большая радость для меня и, надеюсь, для читателей.

Нежно обнимаю тебя, моя дочь.

Твой папа.

21.X.59.



Моя дорогая Женечка!

Я теперь живу совершенно уединенно, на даче, и работаю пока еще понемногу, ибо боюсь заболеть от переутомления: ведь никто толком не знает, отчего происходит моя болезнь, именуемая панкреатит — м. б., от переутомления. Но все же я работаю: понемножку пишу роман, затем новую повесть начал и — между делом — вношу небольшие поправки в «Двое в степи» для предстоящего издания. Кроме того, не исключена возможность, что и повесть моя о Ленине появится на свет божий в журнале «Октябрь». Панферов, прочитавший ее, пришел в восторг и клянется, что напечатает. Это, конечно, еще вилами по воде писано, но тем не менее возможно вполне: у него многое удается, чего другие не могут — он имеет какое-то петушиное слово для начальства.

Понимаю, что ты мне завидуешь по причине моего одиночества, и твоя зависть не неблагоприятна. Я могу себе представить, что значит быть 24 часа в сутки среди людей. Я знаю, что это такое, ибо годы подряд был среди людей — в юности и на войне. Единственное, чем могу тебя утешить, это знаменитыми словами Пушкина: «Что пройдет, то будет мило».

Да, да, представь себе, что ты будешь вспоминать это время не без умиления впоследствии. Ручаюсь головой. А пока терпи, любя ближнего, как себя самого. Ибо на расстоянии ближнего легче любить.

Не думай также ни в коем случае, что я передумал съездить в Сибирь. Мне просто приходится отложить поездку, пока у меня не стабилизируется здоровье. Думаю, что вскоре буду совершенно способен совершить это путешествие.

Целую тебя. Твой папа.

3.XI.1959.

Моя родная Женя!

Только что Ляля прочитала мне по телефону письмо Гельфанда о встречах его с тобой в Красноярске. Он отзывается о тебе весьма одобрительно и даже с энтузиазмом.

Чем больше едешь, тем прекраснее жизнь и впоследствии — воспоминания. Под лежач камень вода не течет. Пребывание в Красноярске, которое иногда кажется тебе нестерпимым, через некоторое, довольно короткое, время тоже будет для тебя одним из чудеснейших воспоминаний. Постоянное присутствие людей вокруг, маленький быт общежитийный, почти коммунистический, ночные хождения на завод — все это будет для тебя в будущем источником многих радостных воспоминаний, сравнений. (Помни об этом — и утешься, по мере возможности!) Оно — начало жизненных проверок.

Я сижу безвыездно на даче и работаю. У меня пишется (ей-богу, не преувеличиваю) десять-одиннадцать вещей сразу, и моя насущнейшая задача — наконец обуздать т. н. «вдохновение», ограничив его одним опусом, т. е. сосредоточив вдохновение и сделав его, таким образом, из разжатых пальцев сжатым кулаком. У меня начаты следующие вещи (некоторые дошли уже до половины): 1) роман; 2) повесть «Рица»; 3) повесть «При свете дня»; 4) повесть «Крик о помощи»; 5) повесть «Иностранная коллегия»; 6) повесть «Пловучий остров»; 7) рассказ «Отец Ивана Белкина»; 8) повесть «Мифы классической древности»; 9) автобиографическая повесть. Это — неполный список. Главное, конечно, роман, но так хочется закончить начатые небольшие вещи, чтобы потом со всем пылом и однолюбием наброситься на роман. Однако так можно не успеть роман написать. Поживем — увидим. Сейчас я увлечен повестью «Пловучий остров». Это связано с большой подготовительной работой — действие в первой четверти повести происходит в Москве в начале XX века — в Москве Тимирязева, Лебедева, Вересаева, Чехова, Станиславского, Саввы Морозова. Читаю много книг об этой эпохе. В связи с этим открыл абонемент в Ленинской библиотеке (кроме абонемента в Исторической библиотеке); я нужные книги беру на дом. Это удобно. Подробно о повести расскажу при личной встрече. А, может быть, уже не только расскажу, но просто дам прочесть.

Будь здорова, моя дорогая девочка.

Твой папа.

1.XII.1959.
Переделкино.



Милая моя Женечка!

Прости меня, что довольно долго не писал: психологически ты это объяснила точно в своем письме — после побывки всегда так. Но мы не будем ссылаться на традиции и постараемся продолжить нашу оживленную переписку.

Я все время уже на даче. «Золотистое и серое» кончил (м. б., назову этот рассказ «Иванушка-дурачок»).

Рассказ, после окончательной переписки, будет, кажется, интересным и не лишенным глубины.пейзаж и люди — почти совершенно новые в нашей литературе; незамысловатый сюжет — неожиданно для меня самого — дал возможность показать картинку советского быта в индустриальном центре, «советский образ жизни» в его лучших проявлениях и неравномерность развития нашего общества в разных его частях. Завод внешне и внутри получился красивым, просто красивым, и рабочий, Иван, — тоже.

Пиши, родненькая. Веди дневничок. Пригодится.

Твой папа.

3.II.1960.



Моя милая Женя!

Мои дела все еще в тумане. Жду телефонных звонков — состояние хуже губернаторского. «Ленин» — в высших инстанциях, «Двое в степи» — медленно проходят «испытания на разрыв». «Иванушка-дурачок» принят, но и это меня не очень радует, так как приняли они его, как змею или скорпиона. «При свете дня» медленно движется вперед. Про «Пинокио» нет ни одной статейки или даже упоминания в печати. Была только передача в радио, но и то не ради Коллоди, а ради господина Гронки.

Как ты можешь заметить, настроение в связи с этим всем не блестящее, что является только лишь доказательством человеческого ничтожества, ибо в общем и целом нет оснований печалиться, все идет неплохо.

Вероятно, в апреле я поеду в Италию, а в мае в Норвегию, если не случится ничего непредвиденного. Мама меня готовит в дорогу весьма прилежно. Я буду красив и представителен. Пиши нам по-прежнему часто. Мы очень любим твои письма.

Твой папа.

29.III.1960.



Моя дорогая Женя!

Сегодня я проснулся рано, в 6 часов. Теперь — около семи. Все в квартире спят, а я сижу в тишине, пишу тебе письмо. Представляю себе, как ты иногда мечтаешь посидеть в такой тишине и таком одиночестве.

Мы вчера получили твое письмо. Если норильский вариант окажется реальным, будет, вероятно, хорошо: побывать в Норильске интересно. Все это — биография, все это составляет то сложное и неповторимое, что называется «жизненным опытом».

Твои сетования на некоторый индифферентизм, будто бы свойственный тебе теперь, не сильно потрясли мою душу: скорей всего, он тебе мерещится; ты принимаешь за него искусно созданный твоей нервной системой, в связи с обстоятельствами твоей жизни, эрзац-покой; это — экономия, нежелание тратить жизненные силы на ничто, сохранение энергии, консервация. И, поверь, ненадолго. Когда это ощущение пройдет, самочувствие растения окончится.

Готовлюсь к поездке в Италию. Учю потихоньку итальянский, дающийся мне легко, и читаю «Образы Италии» Муратова, чудесную книгу, и «Прогулки по Риму» Стендаля.

В мае мне предстоит еще поездка в Норвегию от Советско-норвежского общества дружбы. Все это мило, а работать надо. Роман движется медленно, но интересно. «При свете дня» идет к концу.

У нас все хорошо. Ляля работает. Обнимаю тебя.

Твой папа.

7 марта, 1960.



Моя дорогая Женя!

23.IV я вернулся из поездки по Италии. Рассказывать об этом подробно еще рано, не все еще из этих впечатлений уместилось в голове. Могу только подтвердить, что все, написанное об этой стране Гете, Стендалем, Байроном и многими другими, — чистая правда, только правда, и что Италия, м. б., еще прекраснее в натуре, чем в описаниях влюбленных в нее.

Я был в Риме, Неаполе, Помпейях, Сорренто, на острове Капри, во Флоренции, Венеции, Милане, на Лаго-Маджоре (в городке Бельджирате, где протекает

часть действия «Пармского монастыря»). Из Милана мы вылетели в Брюссель, где побыли сутки, отсюда — домой. Обилие впечатлений и их масштабы невыразимы. Наиболее сильные из них: развалины Рима, площадь Синьории во Флоренции, Помпейи, площадь святого Марка в Венеции и «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в церкви Санта Мария делле Грацие в Милане (последняя потрясает, несмотря на то, что я видел до того Сикстинскую капеллу, Станцы и Лоджии Рафаэля в Ватикане, бесчисленных Джотто, Боттичелли, Микеланджело, Донателло и других). Если говорить об искусстве, то поражает великий подвиг Микеланджело. Вся Италия полна его гением, его статуями, домами, площадями.

Я видел итальянскую толпу, проезжал мимо Вероны и Болоньи, я был в Уффициях и палаццо Питти на Понте Веккьо (там памятник Б. Челлини), видел могилу Рафаэля в Пантеоне, в Риме, могилы Микеланджело, Маккьявелли, Галилея, Россини в церкви Санта-Кроче во Флоренции, Тициана и Кановы в Венеции. Я видел роши апельсиновые и лимонные, с плодами среди зеленых листьев и с падалицей из апельсинов и лимонов — в траве.

Я глядел с Капитолийского холма на римский форум, ездил по Аппиевой дороге и бросал монеты в фонтан Треви (чтобы вернуться обратно в Рим). Я видел новую, шумевшую итальянскую кинокартину «Dolce vita» («Дольче вита» — «Сладкое жительство»), смотрел абстракционистские картины и статуи на Римской выставке современного искусства и удивлялся отсутствию в целой стране каких бы то ни было очередей. Все было захватывающе интересно. Брюссель после Италии показался пресным и серым.

В Москве я застал вести от тебя. Надеемся на скорую встречу. Повесть о Ленине появится, надо думать, в № 7 «Октябрь».

Нежно обнимаю тебя, моя дочь.

Твой папа.

26.IV.1960.
Москва.



Мои дорогие дети, Женечка и Лялечка!

Вчера я отослал вам письмо, а данное прошу рассматривать, как добавление.

Речь пойдет о маме. Она, по моему соображению, вылезла в основном из своих болезней и стала здоровым человеком. Но она не стала цветущей женщиной, какой может и вполне в силах стать. Как сделать, чтобы она поправилась, стала румяной, крепкой, — над этим я думаю все время и предлагаю подумать и вам.

Что я придумал? Прежде всего вы и я должны снять с нее функцию подбирания за нами вещей, застилания постелей, складывания беспризорных книг, все это каждый из нас должен делать за собой сам — как минимум, каждый за собой. Что касается меня, то я обязуюсь это делать.

Конечно, этого одного мало. Надо, чтобы мама стала беззаботнее. Как это сделать? Это трудно, конечно. Видимо, то, что мы можем, — это самим стать беззаботнее, не придавать средне-серьезным вещам слишком серьезного значения, относиться ко всему и друг к другу с максимальным спокойствием, любознательно и дружелюбно, прощая людей и друг другу глупости и неловкости, буде таковые случатся. Если мы этого достигнем, то и мама станет спокойнее и беспечнее. Все это во многом зависит от меня. Я буду стараться помнить об этом.

Мне хочется, чтобы мама окрепла, снова приобрела вкус к театру, к кино, к хождению в гости. Для этого прежде всего нужно, чтобы она окрепла, — а остальное приложится.

Вот и все, что я хотел вам сказать. Не думаю, чтобы это было совсем бесполезно. Вы — большие и неглупые ребята, и мы с вами втроем, если будем действовать согласно, кое-что можем сделать для общего блага.

Нежно вас обнимаю.

Ваш папа.

14.VIII.61.



Мои дорогие дети, Женечка и Лялечка!

Я давно вас не видел и с вами не разговаривал, и вот оказалось, что я скучаю по вас. Сегодня с утра — я встаю в 7 часов каждый день и иду к морю — я думал о вас неотступно и решил вам написать для того, чтобы, так сказать, «избыть свою тоску».

Мне очень хочется знать, что вы делаете, и даже не так — что вы делаете, как о чем вы думаете? Что у вас на душе, чего вам недостает для счастья, и не зависит ли что-нибудь от меня в этом смысле? А если зависит, то не проще ли всего, чтобы вы мне об этом написали в письме?

У христиан есть прекрасный обычай — исповедь. Она порядком оказанена и опошлена церковной традицией — я видел ту деловитость, с какой она (исповедь) отрабатывается в итальянских церквях. Но я бы установил и в коммунистическом обществе — не боясь превращения ее в окаменелость со временем — исповедь (перед людьми, по свободному выбору человека, не перед попом или другим официальным лицом) хоть один раз в году. Не установить ли эту традицию у нас в семье покмест? Во всяком случае, я бы хотел получить от вас письма о ваших мыслях, чувствах, тревогах, надеждах, желаниях...

...Странно жить не работая, но время идет довольно быстро в бездумном чередовании дней. Читаю Плутарха и удивляюсь тому, как мало переменялся человек за последние две с половиной тысячи лет.

Нежно вас целую, мои дети. Напишите мне.

Ваш папа.

16.VIII.61.



Валерий Аграновский



МОЙ ДРУГ НОВИКОВ

Рисунки А. Федотова.

По газетным делам я приехал в Ленинград, пошел в Станкостроительное объединение имени Свердлова и там, в комитете комсомола, услышал разговор о человеке, которого все называли «Бородой». Он был простым рабочим, но, как я понял, умудрился засесть в печенки многим заводским деятелям, в том числе и самому генеральному директору. За каких-то четыре года он наплодил себе такую уйма врагов и друзей, какую любой из нас едва успевает заработать за целую жизнь. При этом он учился в институте, был членом заводского комитета комсомола и недавно принят в партию. О «Бороде» говорили крайне противоречиво, и стоило в компании, состоящей хотя бы из двух человек, помянуть его имя, как тут же происходил раскол.

Я выразил естественное желание с ним познакомиться, и меня проводили в цех. Был обеденный перерыв, рабочие играли в домино, и я видел, с каким неудовольствием он вылезал из-за стола. Никакой бороды у него, кстати, не было, и, помню, это обстоятельство меня почему-то обеспокоило. Протянув мне запястье правой руки, как это делают рабочие люди, словно бы желая подчеркнуть, кто в данный момент трудящийся, а кто туеядец, он сказал:

— Корреспондент? Не шутите? Очень приятно.

Есть люди, в разговоре с которыми приходится пользоваться новым футбольным правилом «четыре секунды»: успевать с вопросом в течение этого времени, иначе они удерут, посчитав беседу оконченной. С этим человеком мне сразу было легко. Много пауз, ствлечений в сторону, философствований «по поводу». Я имел дело с думающим парнем или, как говорили о нем друзья, «рабочим новой формации»; впрочем, не забывал и о том, что недруги называли его «зеленым» и «трепачом».

На этом, полагаю, можно закончить вступление и перейти к более детальному знакомству с Юрием Новиковым.

Что интересного может рассказать о себе Юрий Новиков, вся биография которого с лихвой умещается в пятиминутный разговор? За двадцать семь лет жизни он никого не вынес из горящего дома, не сделал ни одного выдающегося открытия и

не держал в руках ордена собственного и даже чужого. И между тем он человек, достойный нашего внимания, поскольку беда его заключается не в том, что он не искал бури, а в том, что буря не нашла его.

— Вы пережили какое-нибудь горе? — спросил я его однажды.

— Да, — говорит, — пережил. Смерть деда.

Я представил себе: умирает любимый дед, ввук в трауре, а тут еще нелепое совпадение, надо сдавать в институте экзамен, и ввук идет и получает «неуд», но, думает, черт с ним, с этим «неудом», когда такое горе.

— Потом пересдал.

— На что?

— На пятерку.

— Скоро?

— Через три дня.

Гвозди бы делать из этих людей.

...А война задела Юрия Новикова, только Юрий войну не помнит, она вошла не в его биографию.

И вот мы сидим за столом в квартире, выключен телевизор, горит настольная лампа, мы слушаем отца, и, грешным делом, я не знаю, сочтут ли потом Юрий и его сестра Татьяна это время потерянным или приобретенным.

Старший Новиков был потомственным хлебопеком, и, как у деда, работавшего когда-то булочником у Филиппова, к тридцати годам у него выпали зубы: профессиональная болезнь. В армию его не взяли из-за негодного зрения, и вот, представьте, блокадный Ленинград, отец — в пекарне, при хлебе, стало быть, при жизни, а дома жена с годовалым ребенком пухнут от голода. При всем обилии драматических ситуаций, связанных с войной, я не встречал похожей на ту, в которой оказалась семья Новиковых.

В пекарню стремились разные люди, «и профессора и академики», как говорит Дмитрий Федорович. Бывало, появлялся новичок, за ним не успевали уследить и через два часа где-нибудь в уголке находили труп: объедался тестом, даже не мог дожидаться хлеба. Такие хоть помирали сытой смертью.

Отец из солидарности с семьей никогда не ел больше той нормы, что полагалась ему по карточке: душа не принимала. Каждый день он совершал, таким об-

разом, ничтожный для всемирной истории, но великий для самого себя нравственный и физический подвиг, который и оценить-то, кроме жены и сына, до сих пор некому.

Раз в неделю отца волокли домой, потому что ходить собственными ногами он не мог, они чудовищно распухали от голода и от усталости. Дома, отлежавшись, он съедал свою порцию студня, сваренного из столярного клея...

— Ладно, хватит!

Это сказала Татьяна довольно резко и встала из-за стола. Мать послушным и горючливым жестом утерла слезы. Почему-то во всех воспоминаниях то ли прошлое звучит для нас укором, то ли настоящее звучит укором минувшим дням.

Татьяна родилась в сорок четвертом, а Юрий появился в сорок первом, под бомбежкой при свете лучин: «Мы войну не планировали». Он был красивым и крепким парнем, очень крикливым, акушерка сказала: мирной закваски.

Первым собственным воспоминанием Юрия был мост через Волхов, разрушенный и исковерканный снарядами. Это было уже в сорок пятом, когда мать повезла детей в Калининскую область, к бабушке. Поезд черепашьим шагом шел по понтону, и Юрий, прилепившись к окну, на всю свою жизнь врезал в память эту единственную картину войны. Следом за ней в его воспоминаниях сразу идут фантики: «Тузик», «Золотая рыбка», «Полет». И мирный Ленинград. И ватага мальчишек, с утра до ночи гоняющих по городу за конфетными фантиками.

Нормальные игры, нормальное детство. Хоть и не очень щедро, но, как могли, взрослые компенсировали детям то, что недодали из-за блокады. И, вероятно, были слишком «пощадивы», как выразился Дмитрий Федорович, если новое поколение росло без тяжелого груза воспоминаний.

Потом Юрий пошел в школу, потом окончил ее и поступил в институт, очень скоро его бросив. Почему так случилось — предмет особого разговора.

Но прежде еще об отце. Дмитрий Федорович далеко не простой человек, хотя имеет всего четыре класса образования. Рассказывая что-то, он может к месту и ненавязчиво процитировать на память кусочек из «Медного всадника» или привести в пример Конрада Рентгена, который однажды провел в своей лаборатории, как в заточении, две недели. «Завидная целеустремленность!» — говорит отец, даже не глядя в сторону Юрия. Иногда он снимает со стены мандолину, чтобы сыграть довоенную утесовскую песенку «Ах, что такое движется там по реке» или «чего-нибудь из Бородина». В молодости Дмитрий Федорович играл на мандолине в самодеятельном неаполитанском оркестре и до сих пор на семейных вечерах был главным аккомпаниатором. «Удивляюсь», — сказал мне однажды Юрий, — как старики умеют веселиться. Собираются, немного выпьют, потом мать начнет: «Я ехала домой...» — и больше им ничего не надо! Как-то отец рассказывал о своих воскресных прогулках с овчаркой Чаной, названной так в честь оперетты Милютина «Поцелуй Чаниты» («Зачем, зачем меня ты обманула, Чана!» — поет главный герой, даже не подозревая, как это точно подходит к овчарке). Помняв Развезжую улицу, по которой проходил их маршрут, Дмитрий Федорович мимоходом сказал: — Помните у Маршака: «По Развезжей бродит Достоевский...»?

— Откуда вы знаете? — спросил я.

— Так я не зря ленинградец! — ответил отец.

Теперь пришло время сказать вам, что Дмитрий Федорович, потомственный пролетарий, уготовил своим детям совсем иную по сравнению с собственной судьбу.

— Мне скоро шестьдесят, — сказал он однажды, — из них сорок пять тружусь, а на работе я все еще Димка. Моих детей будут звать по имени-отчеству!

Фраза фразой, а суть сутью: опыт и знания этого человека действительно не соответствовали его положению.

С матерью произошло нечто иное. Всю жизнь, до самой пенсии, она проработала на меховой фабрике рабочей-мездрильщицей: сдирала жировой слой со шкур. Сын дважды был у нее на работе: один раз в цехе, откуда позорно бежал, не выдержав запаха, а второй раз на каком-то фабричном торжестве, когда мать сидела в президиуме. У нее, казалось, было все: и почет, и уважение, и даже депутатом Ленгорсовета ее выбирали, и со всех сторон только и слышалось: Надежда Прокофьевна, Надежда Прокофьевна. Одного не хватало: знаний.

Вот так, разными путями родители пришли к одному и тому же: с малых лет Татьяна и Юрий знали, что, как пить дать, не миновать им высшего образования, без которого они, по любимому выражению всех матерей, могли домой не возвращаться.

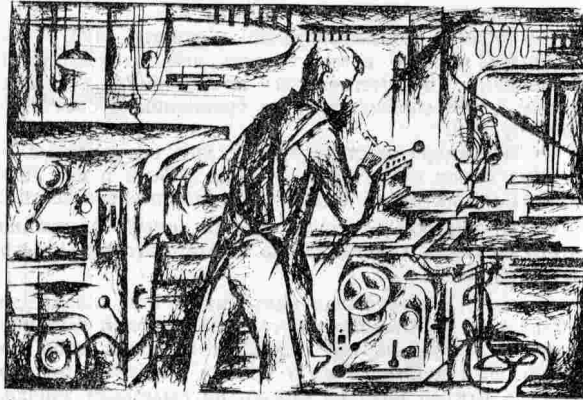
Ярко выраженных интересов у Юрия вообще не было. От кого-то он слышал, будто бы где-то было напечатано, что современный десятиклассник знает больше Аристотеля. Юрий не хотел «больше», его вполне устраивал объем знаний древнего философа. Во всяком случае, он не знал, в какой институт идти. Взор равнодушно скользил по многочисленным названиям вузов, пока сам собой не остановился на Кораблестроительном. Позже Юрий «подвел фундамент», чтобы не казаться совсем уж беспринципным: во-первых, двоюродный брат когда-то окончил «Макаровку» и теперь плавал, — аргумент? Во-вторых, в школе Юрий более или менее интересовался историей средних веков, особенно рыцарством. Вы не улавливаете тонкой связи между рыцарством и романтикой судостроения? Жаль. Тогда считайте, что Новиков в Кораблестроительный угодил.

Первый курс пролетел незаметно, Юрий учился «с одного взгляда в учебник». Главное началось потом, когда «вдруг» и «неожиданно» возникли трудности и наступила хандра. Новиков, конечно, не знал, хотя ни для кого это не является тайной, что именно на втором курсе во всех институтах и во все времена происходит основной отсев студентов. К этому периоду «неразбери-бери», по его собственному выражению, кончается, нужна солидная учеба, а она невозможна без искренних симпатий к будущей профессии.

Юрий всей душой жаждал перемен, но не мог на них решиться, щадя родителей. Помог случай, который в иной ситуации прошел бы незамеченным. Однажды он забыл дома студенческий билет и не был допущен к занятиям. Тогда он рассердился и пропустил неделю. Последовал вызов в деканат, объяснения дома с отцом, неприятности, разговоры, и Юрий вдруг явственно ощутил, что все это ему вообще надоело, что пора ему наконец быть мужчиной, чтобы решить собственную судьбу.

Институт был оставлен, и, как ни странно, никакой трагедии не произошло. Отец выкурил за день пачку папирос, а мать горько поплакала.

Потом была армия, о которой Юрий говорит, что он ее теперь «не боится» и презирает тех, кто ду-



мает иначе. Вернулся он рядовым, как и ушел, а Татьяна уже перешла на второй курс текстильного института. Она училась на вечернем отделении и поступила на работу швеей в ателье. Устроившись на завод, Юрий «на всякий случай» восстановился в том же Кораблестроительном, тоже на вечернем отделении.

И вот — воскресенье, три часа дня, семья за обеденным столом. Все отгорожены друг от друга газетами, это стало ритуалом. Мать, конечно, ругается, «шебуршит», но к этому все привыкли и только ждут, когда она тоже попросит газету. Потом отец, глянув на рыбку по-польски, говорит: «Ну что, Юрий Дмитриевич, примем по маленькой?» — «Как скажете, Дмитрий Федорович, ведь я человек подневольный». Мать тут же начинает суетиться: ах, куда заделался графинчик с наливкой собственного изготовления? А Татьяна, заняв у буфета позу Раймонды Дьен, трагически произносит: «Я вам приму! Я вам такое приму!» «Чана, на помощь!» — вопит отец.

Семейная идиллия.

В понедельник, в шесть утра, отец, исполняющий обязанности будильника, поднимает детей. Мать «отсыпается за всю жизнь», и потому завтрак на скорую руку готовит Татьяна. В шесть тридцать они втроем выходят на улицу. Ни души. Если уютно, в этот момент они могут думать, что на них троих держится весь Ленинград: отец его кормит, Татьяна общивает, а Юрий делает станки, на которых делают все остальное. Они доходят до Разъезжей, где автобусная остановка. Там уже очередь, в автобусе — битком, и чем дальше от дома и ближе к работе, тем гуще людей, и где-то у Финляндского, выйдя из метро, Юрий попадает в многотысячную толпу, которая тоже делает станки, на которых делают все остальное.

В общей сложности дорога отнимает у него сорок минут, которые он называет «блаженными»: можно спокойно читать газеты. Вокруг сидят, стоят и даже идут люди, не замечая друг друга: «газетных тонн глотатели». Лишь где-то у проходной начинается: «Привет, Борода!», «Наше вам», «Здорово, Юраша» — и так до самой раздевалки. В раздевалке рабочие обмениваются репликами «на тему дня и недели»: то ли «Зенит» проиграл, то ли Верховный Совет принял Закон о двухлетней воинской повинности, «а мы оттрубили по три года, всю жизнь везет!». Из раздевалки все отправляются на свои рабочие места, и начинается «крутеж» — до самого сахарного мороженого, которое носят по цехам в обед. В конце смены ни гудков, ни звонков не бывает, рабочие сами смотрят на часы, и если доделок остается минут на тридцать, задерживаются, а если на больше, откладывают на завтра.

Сейчас Юрий сидит передо мной, подперев рукой голову: я спросил его, жалеет ли он об институте. Память, вероятно, вновь возвращает Новикова к тому дню, когда он принес «черное» заявление в деканат. Лучший его друг, с которым он проучился с первого по последний класс школы и с которым дружит до сих пор, — «в пределах десяти рублей у нас и не заем и не долг», — ругал его тогда последними словами, приговаривая: «Дают человеку голову, но куда ее сажают!»

— Тот день был для меня очень грустным, — говорит наконец Новиков. — А сегодня, пожалуй, я могу назвать его счастливым. Но если бы все сначала... вот, черт, какая сложная штука — жизнь!. Если бы все сначала, из института я, наверное, не ушел бы. Вы понимаете? И не жалею и жалею. Просто еще рано принимать окончательное решение.

С то лет назад завод назывался «Фениксом» и дважды за век прекращал свое существование: один раз после революции и лет на восемь подряд, а второй раз во время блокады, когда немцы превратили его в груду развалин. Сегодняшний Станкостроительный имени Свердлова буквально возродился из пепла и является, по существу, новым заводом. Но так уж устроены ленинградцы, что умеют вить веревочку из самого далекого далека, не давая ей оборваться.

Короче говоря, когда я был на заводе, он готовился к столетнему юбилею. Я невольно оказался втянутым в общую подготовительную лихорадку, с чьей-то легкой руки познакомился с множеством архивных материалов и добросовестно прочитал книгу, посвященную революционному прошлому завода. Очень скоро я мог почти на равных беседовать с любым заводским историком, щеголяя точными знаниями.

И вот однажды, когда мы проходили с Новиковым мимо знаменитых «Крестов», до которых от завода минут десять ходьбы, я сказал, что в 1917 году два рабочих-коммуниста с «Феникса» были арестованы Временным правительством и посажены в эту тюрьму. Юрий вежливо выслушал и, между прочим, заметил, что его дед тоже сидел в «Крестах» и тоже за революционную деятельность, только в 1905 году. — Приятно, — сказал Юрий. — Вы, конечно, понимаете, в каком смысле.

Но вернемся из прошлого. Несколько тысяч рабочих и несколько сот инженеров завода выпускают уникальнейшие станки, за которые, как мне говорили, на мировом рынке шла драка. Если бы вы, читатель, оказались в поле зрения любого сотрудника завода, располагающего свободной минутой, вы были бы немедленно взяты за пуговицу и вам было бы сообщено, что на Всемирной выставке в Брюсселе завод «отхватил Гран-при» и что иностранцы «валялись в глубоком обмороке».

Кстати сказать, половина работающих — молодежь в комсомольском возрасте, то есть до двадцати восьми лет. Найти сегодня взрослых, квалифицированных и уже готовых специалистов вообще очень трудно, и потому пополнение идет главным образом за счет фезеошников, которых еще надо доучивать, выпускников средних школ и демобилизованных солдат, которых еще нужно учить.

Новиков, как мы знаем, пришел на завод, имея на плечах погоню, а за плечами — двадцать три года жизни. Но первое его знакомство с заводом — правда, не с этим, а с Балтийским — состоялось раньше, когда он учился на первом курсе института: в тот

год мы начали осуществлять программу сближения учебы с жизнью.

Итак, Балтийский завод с точки зрения новичка: порталные краны — марсиане из «Войны миров» Уэллса: четыре лапы, а далеко наверху маленькая, злая головка. Слово игрушки, носят над потрясенными практикантами целые секции кораблей;

танкер «Пекин» водоизмещением в сорок тысяч тонн — город с домами и улицами, почными фонарями, подворотнями, дворами-колодцами и темными загоулками;

рядом с танкером — два судна на разборке, непривычно тихие, явно пенсионного возраста.

Главное ощущение: не по себе. Как это, мол, я, Юрий Новиков, смогу участвовать в работе на таких фантастических сооружениях!

Впрочем, ни на «Пекин», ни на другие корабли студенты не попали. Их привели на крохотный рыбо-ловецкий траулер, за который они тоже должны были сказать спасибо. И лишь однажды Юрию посчастливилось — обратите внимание на это слово, оно относится не к развлечениям и удовольствиям, а к работе и появляется у нас впервые, — посчастливилось собрать один пеносушитель из трех десятков для «самого танкера».

Говоря об этом, Юрий чуть-чуть перемешивает иронику с гордостью:

— А где-то плавают «Пекин» с моим персональным пеносушителем!

Конечно, Новиков не был тогда настоящим рабочим: временный человек на заводе, в сущности, студент. Между тем посвящение в пролетарии происходит не механически, не за одни сутки и не всегда за год, а после того, как человек проработает «вечность», измеряемую усталостью, суммой знаний, пониманием своего места в обществе, регулярностью заработка и так далее. До тех пор «собиратели кораблей», конечно, будут казаться ему колдунами.

На Станкостроительном Новиков начинал с должности разнорабочего на складе: привозят литье, его надо разбросать по номерам, потом сверить с накладными, и можно отправившись у кладовщицы Зиночки домой.

Но вот заглянул однажды Юрий в так называемую шпindelную бабку, увидел мешанину из шестерен и вновь решил: здесь, как и на Кораблестроительном, тоже волшебники!

Ощущение не проходило до тех пор, пока однажды, в день полочки, не подошел один волшебник и не произнес человеческим голосом: «Ну-ка, парень, стоняй к Финляндскому за полбанкой!» Надо сказать, Юрий с полочки никогда не пил и терпеть не мог этой традиции. Поэтому он смирил тогда волшебника долгим взглядом и сказал: «Если хочешь, дядя, отвечу тебе просто, по рабоче-крестьянски: иди-ка ты, дядя...»

Через три месяца Новиков уже собирал шпindelные бабки.

Шпindelные бабки обычно приходили из Иванова в готовом виде, но потом что-то изменилось, и было принято решение изготавливать их самостоятельно. Потребовалось много «бабочников», был брошен лозунг, и Юрий не долго думая дал согласие: небольшая потеря в зарплате, но, с одной стороны, квалификация, с другой — нужно заводу. Век вековать в разнорабочих Новиков не собирался. Чтобы вы хоть приблизительно представляли себе шпindelную бабку, скажу, что это главная часть ставка, на которой крепятся сверла, метчики, фрезы,

резцы и так далее; величина бабки — с лоток мороженщицы.

Первым учителем Юрия был Виктор Рожков, прозванный Косолапым. Он отличался медлительностью и неповоротливостью, зато обладал важнейшим педагогическим даром: спокойствием. Что говорить, если в официальных учениках он держал собственного младшего брата, с которым был так же терпелив, как с чужими, ни разу не дал ему по шее и не обругал бранным словом.

Через две недели Новиков уже постиг азбучную грамоту слесаря: называть молоток молотком нельзя, настоящий слесарь говорит «ручник», а молотки — у сапожников; гайки не «отворачивают» и не «отвинчивают», а «отдают»; «гитара» — это резьбонарезное устройство; шпindel — это шпindel, а вот большой шпindel, посаженный на планшайбу, — это уже «головастик»; зарплату у рабочего человека нет, есть аванс и получка, а говорить «получаю гроши» — дешевый тон, настоящие рабочие его не любят.

О работе слесаря Новиков научился говорить, не торопясь, сбавив скорость, с достойными паузами. По нему получалось, что если есть на свете приличная рабочая специальность, так это слесарь-сборщик, — не тратьте силы на возражения. У него на то была своя «система доказательств». «Парикмахер, — говорил Новиков, — делает всего две операции: стрижет и бреет. Но каждая голова требует от него разнообразия и творческого подхода. А у нас двадцать операций!»

Кулик хвалит свое болото, — ну что ж, и прекрасно. Я вычитал как-то у Даля: «Где живешь, кулик? — На болоте. — Иди к нам в поле! — Там сухо».

Помню, Юрий рассказывал, как сделал свою первую бабку, которая пришлась на станок, идущий в Австралию. Готовые станки обычно ставили в малярке, если там было место, или в одном из двух цеховых пролетов. Перед отправкой их консервировали, — рабочие говорят: «засаливали», — то есть смазывали открытые места маслом, а потом вкладывали станок в полиэтиленовый мешочек; можете представить себе, какой этот «мешочек», если станок величиной с трехэтажный дом. Приготовленный для Австралии уже был на «засолке». Юрий раз десять бегал в малярку на него смотреть, и с какой бы стороны ни заходил, все бросалась ему в глаза его шпindelная бабка.

К тому времени, когда мы познакомились, Новиков отчетливо представлял себе расположение в бабке мельчайших деталей, которых было не меньше тысячи. «Сейчас сделаю... шестьсот тридцать оборотов!» — сказал он, демонстрируя мне свое искусство. Потом закрыл глаза, для гарантии еще отвернулся и стал поворачивать какую-то «тарелку», прислушиваясь к щелчкам. Затем сам же с интересом проверил: точно, шестьсот тридцать!

Это было уже и мастерством и пижонством одновременно. Я записал себе в блокнот: «Профессор», но, на мое и, очевидно, на свое счастье, Новиков сбобку глянул на запись. Изменившись в лице, он вдруг тихо сказал:

— Давайте договоримся: не позорьте меня и сами не нарывайтесь на неприятности.

И ровно с такой же скоростью, с какой я шел вверх к пониманию его «волшебных» качеств, я покотился вниз, теряя надежду остановиться хоть где-нибудь посредине.

Прежде всего мне стало известно, что Новиков — бракодел. У брака могло быть много причин. Во-первых, плохой инструмент. Во-вторых, слабая квалификация. Саша Громов мог заканчивать десятую операцию, а Новиков только обдумывал вторую. В-треть-

их, характер человека. Что ни говорите, а работа слесаря-сборщика нервная. То привезли детали не тех размеров, то нет деталей совсем, их держит соседний цех, и надо идти туда ругаться или стоять на коленях, то невозможно дозваться мастера, то мастер торчит над душой, — нужно иметь дубленую шкуру, чтобы не обращать на это внимания. У Юрия шкура тонкая. Издергавшись, он подходил к своей бабке и со злостью совал в нее деталь вместо того, чтобы делать операцию «нежно». В итоге — брак.

— Правда, без злого умысла, — сказал мне начальник цеха.

— Много у вас бракоделов? — спросил я.

— Хватает.

— Новиков не хуже других?

— И не лучше.

И на том спасибо. Уж очень мне не хотелось, чтобы «герой моего романа» был хуже других.

Но смотрите: собранные им и его товарищами шпидельные бабки еще «доводились до ума» более квалифицированными слесарями. А потом шли к еще более опытным, которым доверяли сборку самого станка. А еще потом станки попадали в руки «настройщиков», которые «выбивали из них микроны». Таких было трое в цехе: дядя Саша, он же Герой Социалистического Труда Рошин, Шевцов — «пожилой человек», — сказал Новиков, — ему под сорок! — и Женька Семенов, который за два года освоил настройку, «так он же талант, он и есть профессор!».

Есть две схемы роста.

Одна заложена в нас природой, мы ею запрограммированы, как кибернетические машины. Она называется карьерой и в применении к Юрию Новикову рисуется так: сегодня ты рабочий, завтра — мастер, потом — начальник цеха, главный инженер, директор завода и, наконец, министр, а если тебе мало, то плюс еще и академик. Кстати сказать, ничего предосудительного в такой карьере, как и в любой другой, нет, если соблюдать одно условие при ее достижении: честность методов.

Другую схему приходится вдавливать в нас почти с пеленок. И хотя большинство судеб складывается именно по ней, добиться нашего добровольного согласия очень трудно: есть в этой схеме нечто уничтожительное, обидное для человека, особенно для молодого. Сегодня ты рабочий, завтра — хороший рабочий, потом — отличный рабочий, потом — золотых рук рабочий. Стало быть, придя на завод, сразу отказывайся от попыток получить министерский портфель, а лучше думай о повышении квалификации.

Те, кто агитирует за эту схему, исходят из гуманных соображений: в конце концов все люди не могут быть директорами заводов и народными артистами. Зачем же плодить неудачников, если с самого начала можно нарисовать им реальную перспективу, ведущую к «отличному рабочему» и «хорошему артисту республики»?

Я предложил Юрию Новикову обе схемы. На выбор.

Он задумался.

Одно то, что он задумался, говорило мне, что в свои довольно-таки зрелые годы он еще четко не представляет собственного будущего.

И все же мне не показалось бы странным, если бы Новиков предпочел первую схему роста: ясное дело, если рабочий учится в институте, то не для того, чтобы стоять у станка. Но от первой схемы Новиков отказался. И от второй тоже. Он высказался за их сочетание.

Чем отличается «просто» рабочий от «хорошего»?

У первого — низкий разряд, у второго — высокий. Первый может посадить шестеренку на валик, получить свои сто двадцать в месяц и отправляться на танцы. А второй должен иметь задатки инженера. И вот смотрите, какое получается переплетение: стать хорошим рабочим — значит надо повысить свою квалификацию, а повысить ее можно только учась. Когда же выучишься, тебе и карты в руки: дорога в мастера и в министры открыта. Живой пример — Гриша Кирсанов, разметчик, рабочий высшей квалификации, который уже сегодня замечает мастера цеха, уходящего в отпуск. Кирсанову остается еще чуть-чуть, чтобы получить официальное признание: принести в отдел кадров диплом. Таким образом, у рабочих людей, повышающих квалификацию от «простого» к «лучшему», одновременно сохраняется в рюкзаке жезл маршала.

— И точка! — сказал Юрий Новиков.

Я слушал его, и грызли меня сомнения. Вроде бы правильно говорит человек, вроде бы все понимает, но неужели и в душе своей отдает предпочтение трудоемкой силе знаний, а не волшебной силе диплома? Другое дело — Борис Цветков, с которым меня познакомил и в котором мне все было ясно. Двенадцать лет назад «никем» пришел на завод, здесь окончил десятилетку, потом при заводе — втуз, получил высший разряд и топает вверх по лестнице, как дважды два подтверждая правильность мысли о сочетании обеих схем, которые высказывает мне Юрий Новиков. Сам же Новиков просто физически не способен эти схемы сочетать, поскольку работает в станкостроении, а учится в Кораблестроительном институте. Нелогично что-то!

— Вы правы, нелогично, — говорит после паузы Новиков. — Мое настоящее и будущее продуманы плохо. Вы ж знаете, я путался много. Но к следующему вашему приезду в Ленинград либо я буду в другом институте, либо перейду на Балтийский завод.

Мы продолжили разговор.

Из заоблачных теоретических высот пора было спускаться на грешную землю. И выяснилось: повысить квалификацию молодому рабочему не только трудно, но даже нет смысла. И вот почему. Оплачивают труд на заводе не по разрядности рабочего, а по разрядности работ, то есть независимо от квалификации. У Новикова — низкий, второй разряд, у Виктора Щербакова — пятый, но оба они собирали один и тот же узел и получали одинаково: «от бабки». По существу, Новикова не следовало допускать к этой работе, но, коли его допустили, он начисто лишился материального стимула. Разумеется, разница в знаниях и ловкости могла бы при идеальных условиях привести к разному заработку и, стало быть, к желанию учиться. Но таких идеальных условий тоже не существовало: работа бывала нерегулярно, просто — часто, и в конечном итоге у Новикова со Щербаковым на круг получалось по равному количеству собранных бабок.

Таким образом, стремление к «чистой» карьере мы притупляли своей агитацией, а реальная обстановка делала бессмысленной и карьеру по второй схеме.

В цехе, в котором работает Новиков, массовый разряд — второй. Двести человек не имеют ни пятого, ни более высокого разряда. Нет стимулов! Когда завод перешел на новую систему материального стимулирования, никто толком не понял, в чем это будет выражаться. Новиков пошел в завком объясняться. Вернувшись, сказал ребятам, что в конце года каждый рабочий получит премию, если завод будет иметь прибыль. Эту премию тут же окрестили «тринадцатой получкой». Но она сулилась в конце года, а что же теперь? Стоит ли сегодня тратить вре-

мя на повышение квалификации, чтобы в конце года получить премию?

— Вы понимаете,— спросил я Новикова,— что каждая запорота вами деталь уменьшает заводскую прибыль и вашу премию?

— Понимаю,— ответил Новиков.— Но не чувствую.

Впрочем, я, кажется, сгущаю краски. В конце концов девятьсот человек на заводе учатся: четыреста — в школах, двести — в техникумах, триста — в институтах. Но мудрый дядя Миша, мастер новиковского цеха, однажды сказал так: «Вот обида! У кого нет рабочей хватки, те в институтах, а у кого есть — не желают учиться. Неразбери-бери!»

Видать, выражение это у Новикова от дяди Миши. Или у дяди Миши от него?

-У вас есть мечты?
— Есть.
— Много?

— Пять.

Мы всегда вели с Новиковым деловые разговоры. Итак, пять... простите, не знаю, как правильно выразиться... мечтов? Или мечтей, мечт? Пять мечтаний!

Во-первых, вернуть «Володю» Атлантова в Ленинград. У Новикова вообще серьезные претензии к Большому театру, а заодно — к футбольной команде «Зенит»: если Большой театр переманивает таких «игроков», как Атлантов, то почему «Зенит» не может переманить таких «артистов», как Стрельцов?

— Или-или! — сказал Новиков.— Я за принципиальность и последовательность во всем!

Он был заядлым театралом, хотя стадион посещал не реже. Предпочтение отдавалось им балету и опере, музыка вообще была страстным увлечением Новикова. Когда-то отец принес домой старую радиолу, а Татьяна случайно купила пластинку, на которой оказался «Реквием» Моцарта. С этого началось. Новиков слушал, слушал, потом привык, потом вник, а потом понял. Теперь у него коллекция из двухсот произведений классики. В день получки он обязательно ходит в консерваторию и «принимает свои сто пятьдесят граммов музыки». Под «Аиду» он научился читать, писать, готовить институтские задания и работать («Вы не слышали, говорят, коровы хорошо доятся под классическую музыку?») и, не отрываясь от дела, умел эффектным дирижерским жестом снять последний аккорд. Разумеется, Новиков не пропускал ни одного спектакля гастролеров, но относился к тем тонким ценителям, которые, несмотря на любую стоимость билета, могут покинуть зал после первого акта, если спектакль не нравится. Однажды он сказал мне, что если бы ему поручили ставить на ленинградской сцене «Трубадура», партию Ди Луны он поручил бы басу, а не баритону и оформил бы оперу, конечно, не в модерновом, а в строго классическом стиле, ближе к тому, как это сделали тбилисцы. «Видели их постановку?» Я не видел и потому не смог поддержать разговор.

Вторая мечта Новикова — уничтожить в Ленинграде все деревянное, вообще все заборы, кроме решетки Летнего сада. Рядом со Смольным, например, за деревянным забором — свалка. Не совестно? По мнению Новикова, не будет заборов — не будет и свалок.

Однажды, прогуливаясь, мы зашли с ним в магазин и посмотрели обувь. «Мне стыдно за вас перед приезжим человеком», — сказал Новиков продавщице. «Мне самой стыдно», — ответила девушка. У ленин-

градцев, я заметил, какое-то особенное, обостренное отношение к собственному городу.

В-третьих, он мечтал найти «янтарную комнату». «Глупо? — спросил меня.— Но вы же хотите открыто?» У него вообще была тяга ко всему загадочному, неизвестному, малопонятному и прекрасному. Кроме пластинок, он мог похвастать коллекцией из полутора тысяч открыток Эрмитажа, Дрезденской галереи и Третьяковки. Он много читал, выписывал газеты и журналы, в том числе «Науку и жизнь», в которой один раздел, «Собаководство», кровно интересовал отца, а все остальное — Юрия. Во всем он хотел докопаться до сути. Ткнется носом в какую-то тему — не бросит, пока не разберется. Некоторое время назад изучал, например, петровскую эпоху.

— А вы можете сказать мне нечто такое, чего бы я не знал? — задал я не совсем тактичный вопрос. Он пожал плечами, сделал кислую мину.

— Все, конечно, известно... Но если хотите, могу сказать, что ящик Петра Первого имел рост два метра двадцать девять сантиметров. Вы это знали?

Четвертая мечта — иметь голос,петь. Впрочем, сам себя поправляет Новиков, в этой формулировке мечта выглядит пассивной, поскольку талант у человека может быть, а может и не быть.

Наконец, пятая мечта: наладить на заводе ритmicность в выпуске продукции.

...Я вижу улыбку на вашем лице, уважаемый читатель. Давайте объяснимся. С мечты о ритmicности Новиков начал наш разговор, и это уж я сделал ее по счету пятой, потому что мне просто удобней рассказывать так. В Новикове — и вы должны были это понять — вообще сидит какое-то активное начало, какая-то органическая для него заинтересованность во всем, что его окружает. Он на три четверти «общественник» и лишь на одну четверть «личник». В устах Новикова слова о ритmicности звучат так же естественно, как слова о футболе или о музыке. Не знаю, удалось ли мне вас убедить, но если нет, в этом виноват я — не Новиков.

Итак, ритmicность. Она потянула за собой цепь проблем. Нас, мне кажется, должны интересовать сейчас не столько сами проблемы, которые со временем исчезнут, видоизменятся или уступят место другим, сколько отношение к ним Новикова. В конце концов все зависит от него и от таких, как он: люди — авторы трудностей, они же их могильщики.

В кратком изложении суть заключалась в следующем. Завод работал неритmicно, — это значит, какое-то время люди бездельничали, а какое-то «вкалывали» по две смены, без выходных. Причины неритmicности — плохая организация труда и частый брак в работе. К поставщикам у завода претензий нет — случай довольно редкий.

Отказаться от сверхурочных работ люди не могли: не хотели «пролететь» с заработком и, кроме того, не желали портить отношения с начальством. А работая сверхурочно, не могли наладить систематической учебы: или их исключали из техникумов и вузов, либо они не выдерживали сами.

Далее. Неритmicность убивала бригадный метод работы. Когда к мастеру цеха приходил кустарь-одиночка и просил «хоть чего-нибудь», мастер совал ему мелочь, и человек был вроде доволен. А от бригады мелочью не отделаешься, ей подавай серьезную работу, — только где ее взять, коли простой?

Нет бригад — процветает индивидуализм, страдает воспитательный процесс, «характеры людей не растапливаются», как выразился Борис Цветков. И все это, конечно, отразилось на квалификации рабочих,

которая приводила к браку, брак — к неритмичности, и круг замыкался, становясь порочным.

Все это не было тайной для руководства. Генеральный директор ложился спать, имея гвоздем в голове неритмичность, и с этим же гвоздем просыпался.

А что в таких условиях мог сделать Новиков?

Характер у него был явно отцовский. Однажды я зашел к нему домой часов в восемь вечера и сразу почувствовал напряжение. Все молчали, каждый занимался своим делом, а Дмитрий Федорович, отказавшись от ужина, укладывался спать. Чего так рано? Оказывается, сегодня днем он конфликтовал со своим директором. Вошел к нему в кабинет и сказал, что если директор будет бездельничать, Дмитрий Федорович его не пощадит, и, если директору угодно, он может за такие слова хоть сейчас выносить Дмитрию Федоровичу выговор «для собственного самолюбия». И хлопнул дверью. Потом пришел домой, уронил с буфета вазу, наорал на Чану и вот теперь, напившись валокардина, ложился спать. Правда, директор тогда успел ответить: «Я лучше, Дмитрий Федорович, вместо выговора дам тебе рекомендацию в партию!»...

Юрий Новиков своей резкостью и прямой обратился на себя внимание чуть ли не с первого дня работы. За словом в карман он не лез, а язык у него всегда был хорошо подвешен: мог без шпаргалки, как говорили рабочие, «шпарить три часа подряд, и не ерунду, а дело».

Так или иначе, однажды секретарь цеховой комсомольской организации Ройс Соколов подошел к Новикову и сказал: «Новиков, ты будешь рупором цеха!» Сам Ройс не мог быть рупором, потому что слегка путался в падежах.

Рупор не заставил себя долго молчать. Ругался Новиков самозабвенно, по любому достойному поводу, на любом уровне. Каким-то особым чутьем в клубке проблем он усек неритмичность и невзлюбил ее больше всего, так же, как одного мастера, который говорил рабочим: «Я пошел в военкомат, опять вызывают», — а потом возвращался, и всем окружающим хотелось закусить. Неритмичности и этому мастеру доставалось от Новикова очень крепко, особенно в ту пору, когда Юрия избрали не просто в комитет комсомола объединения, который насчитывал тридцать пять человек, а в его бюро, которое состояло из одиннадцати.

Первой решительной акцией Новикова был отказ работать сверхурочно. Из принципиальных соображений. «В самом деле, — рассуждал Новиков в присутствии мастера дяди Миши, — не могу же я в одно и то же время орать по поводу неритмичности на всех перекрестках, а потом оставаться на вторую смену! Получается, что де-юре я против, а де-факто я за». Дяде Мише, естественно, было наплевать на новиковские «де-юры» и «де-факты», ему нужен был план. Ко всем людям дядя Миша относился не просто как к людям, а как они работают. Хорошо работают — и он для них «дядя Миша». Плохо — «Михаил Иванович» со всеми вытекающими отсюда последствиями, которых могло вытечь, кстати, немало. Новиков был для «Михаила Ивановича» человеком, не страдающим за коллектив: ты, мол, кричи о неритмичности сколько угодно, но когда план горит, не становись в гордую позу, а встань к рабочему месту.

У каждой должности свой масштаб: генеральный директор отвечает за объединение в целом, Новиков — за шпindelную бабку, а начальник производственного отдела — за производство. Но есть де-

ла — к ним относится и проблема неритмичности, — за которые ответственность солидарна.

На одном из собраний, где Новиков вновь выступил с критикой, а потом внес предложение «сударить по неритмичности бригадой», генеральный директор сказал: «Давай, Юрий, так: ты начинай снизу, а я поддержку сверху. Вместе осилим».

И была создана первая в цехе экспериментальная бригада «Новиков и К⁰». «И К⁰» было немного, всего один человек по имени Эдик, по фамилии Сокк: молодой рабочий, долговязый, спокойный и очень покладистый. Он пришел на завод всего полгода назад. Их было двое, «маленькая, но уже семья», они собирали бабки по одному наряду, а деньги делили пополам.

Когда кончился медовый месяц, Сокк подал на развод. Бригада лопнула, блистательно подтвердив своей гибелью необходимость бригад. Теперь рабочие могли проводить теоретический семинар на тему «Уроки несостоявшейся бригады». Она лопнула, потому что Сокк работал лучше Новикова, у них была разная квалификация, и «пополам» Сокка не устраивало. Кроме того, Новиков бесконечно отрывался от работы: то заседания комитета комсомола, то совещание у генерального, то «пора в институт», то редколлегия «Прожектора». В тот день, когда Новиков, не дожидаясь конца смены, переобулся в острые туфли, а потом зашел в цех и сказал Сокку: «Эдик, если желаешь меня посмотреть, включи в семнадцать ноль-ноль телевизор», — Эдик положил на место гаечный ключ и сказал: «Хватит».

Новиков был просто не по зубам Эдику Сокку. Понади Юрий в бригаду Бориса Цветкова, или Виктора Щербакова, или Олега Богданова, или Рожкова по прозвищу «Косолапый», они бы сделали из него человека. А рупором цеха на телевидении пришлось бы быть самому Ройсу Соколову, даже если бы он начал путать мужской род со средним.

Когда я был на заводе, бригада «Новиков и К⁰» отмечала двухмесячный юбилей со дня своей преждевременной кончины. Юрий уже успокоился, «отпереживался» и гонял по заводу с новой идеей, «включившись в борьбу за культуру на производстве». Но то, что он потерял в глазах товарищей, восстановить ему пока не удалось. Он это чувствовал. И знал, что пройдет десять лет, а кто-нибудь все же припомнит: «Борода, было ведь такое, чтобы ты наговорил на рупь, а сделал на десять копеек?» Память у рабочего человека, как сказал дядя Миша, вязкая.

Действительно, три года назад и всего одну неделю Новиков походил с коротенькой рыжей бородкой...

К сожалению, мы очень мало думаем о кпд своей деятельности. Бегаем, нервничаем, кого-то уговариваем, что-то предлагаем, а сколько во всем этом пользы? Если подсчитывать ее количеством пролитого нами пота, пройденных нами шагов и подписанных нами бумаг, каждому из нас положен, быть может, бронзовый памятник. А если критерием брать результат?

У Новикова было редкое чутье на формальную и неформальную работу. К «настоящим делам» он, без сомнения, относил борьбу за культуру на производстве. С тех пор, как он где-то вычитал, что рабочие в черных халатах делают больше брака, чем в белых, он вслух произнес: «Да ну!» — и отдал свое сердце новой борьбе.

Если бы вы побывали на этом заводе в качестве экскурсанта, то увидели бы цеха, в которых сделан не просто ремонт, а «косметический»: постав-

лены красивые фонари, в разные тона выкрашены стены, переложен пол и залит мраморной крошкой (перед этим его очищали от «вековой» грязи, не к юбилею будь сказано), смонтированы всевозможные этажерки, стеллажи, инструментальные ящики... Я мог бы продолжать так до бесконечности.

Вы увидели бы рабочих в синих беретах — это маляры, в малиновых — стропали, в зеленых — электрики, в черных — слесари. На каждом рабочем был бы комбинезон с лямками на плечах и цветастая ковбойка, а на каждом мастере — халат.

Наконец, если бы ваша экскурсия совпала с пятницей, вас пригласили бы в кабинет генерального директора на заседание «штаба по борьбе за культуру».

Картину, которую я нарисовал, прежде можно было увидеть лишь в кинофильмах типа «Кубанских казаков». Наверное, то было гениальным предвидением.

Но что удивительно: молодые рабочие были довольны! Они еще требовали пригласить на завод специалистов по эстетике производства, социологов, психологов, художников-профессионалов, архитекторов и ученых самых разнообразных профилей.

Психологическая подоплека их позиции ясна. Приходил на завод такой Новиков, и все, чем ветераны могли гордиться, воспринимал как должное. Кафельный пол? Ну и правильно, а как иначе? А то, что каких-нибудь пять лет назад люди с трудом пробиралась по этому «кафелю» в резиновых сапогах, в расчет не бралось. Отсюда — разное отношение к достигнутому. «Возрастные», как называли на заводе ветеранов, отлично помня прошлое, были довольны настоящим. Молодым настоящего было мало. А генеральный директор оказывался в сложном положении: он не хотел обижать ни тех, ни других. Ведь было здесь две правды: одна вчерашняя, другая завтрашняя.

Станки, между прочим, надо было делать сегодня.

В такой ситуации Новиков, будучи членом комитета, отвечал за наглядную агитацию, — хотите смеяться, хотите плачьте. Он находил доски, потом гвозди, потом фанеру, потом плотника, потом маляра, потом художника, потом соединял их всех вместе, и через месяц всеобщей беготни, руготни и хлопот в цехе появлялся щит с лозунгом «Будем работать без брака!», как будто кто-нибудь нарочно стремился работать наоборот. Под лозунгом — фамилии комсомольцев, и против каждой — либо красный четырехугольник, либо круглый «синяк». Затем Новиков шел в комитет комсомола «выяснить отношения»: на кой, мол, черт такая наглядная агитация, если существует комплекс серьезных проблем, от которых зависит брак, и все понимают, что никакими лозунгами и «синяками» их кардинально не решить? «Юра, — проникновенно говорил секретарь Колопетко, — неужели ты не знаешь, что все эти проблемы находятся в поле нашего зрения, но мы должны делать упор на наглядную агитацию!» После этого Новиков еще целый месяц гонял по заводу, организуя конкурс на лучший цеховой щит.

Однажды Юрий сидел с приятелем в кафе «Буратино». Познакомились с девушками. Ничего не значащий разговор. Потом вдруг споткнулись и завязли на любимых литературных героях: девушки были с филфака университета. Новиков, рассуждая вслух, назвал своих любимых героев. Артура из «Овода». Остапа Бендера из «Двенадцати стульев». Швейка: «Осмелюсь доложить, господин обер-



лейтенант, желаний было пять!» Ходжу Насреддина: «Кувшин моей памяти показывает дно». Наконец, Жана Вальжана. Конечно, любимых героев было больше, но память подбирала их сама, странным образом сортируя. «А кто вам больше всех нравится в «Войне и мире»? — спросила девушка. — Болконский? Или Николинъ Ростов?» — «Пожалуй, — сказал Новиков, — я предпочел бы Ваську Денисова». «Вы физик?» — почему-то спросила девушка.

То, что Новиков не физик, я знал определенно. Но хватит ли одних мозолистых ладоней, чтобы установить его пролетарское состояние? Рабочий ли он в том глубинном смысле, который мы привыкли вкладывать в это понятие? Об этом подумал я, когда узнал о встрече в кафе.

И вот я вновь ворошу свою память, восстанавливая эпизоды, способные пролить свет на психологию моего героя.

Вспомнил: однажды он запорол шпindelную бабку, а после смены должно было состояться партийное собрание. Понимая, что рабочие «выдадут» ему за брак, Новиков сказал, что его вызывают зачем-то в райком комсомола, и удрал. «Ну что, — думаю я, — говорит этот факт о чем-нибудь? Кадровый рабочий испугался бы собрания?»

Другой эпизод. Однажды у Новикова, как он выразился, свистнули гасный ключ. Не долго думая, он тоже у кого-то свистнул, а потом уверенно орал, что ключ его, вот даже есть зазубрина.

Рационализаторских предложений у него не было, но «мысли появлялись». В цехе, например, была группа, которая собирала отдельные узелки для шпindelной бабки, потом передавала их «бабочникам», а те, чтобы вставить узелки в систему, вновь вынуждены были их разбирать. Первые получали за сборку, вторые — за разборку, а потом снова за сборку. Конечно, как сказал Новиков, пятачок туда, пятачок сюда — государство не обеднеет, но в принципе — безхозяйственность. Сказал об этом технологу, а тот ответил, что давно это дело знает, но «сдвинуть не может». Слово за слово — поругались. «Попробуй сам сдвинь!» — сказал технолог. Юрий попробовал. Долго бегал, доказывал, спорил, нажил новых врагов.

Рабочая это черта? К Новикову мог подойти «возрастной» и сказать: «Чего тебе, парень, больше всех надо? Жаль тебе, что ребята зарабатывают на узелках?»

Недавно девушка, с которой встречался Новиков, желая, вероятно, ему польстить, сказала: «Никогда бы раньше не подумала, что простые рабочие могут быть такими содержательными, как вы!» Юрий высвободил свою руку и очень вежливо произнес:

«Простите, но больше я с вами незнаком». С тех пор не виделись.

Дома Юрий был «настоящим рабочим». Мать подавала ему обед, как и отцу. Мужики давали деньги, мать их обслуживала. Она была «министром финансов» («Живем мы скромно, лишнего ничего нет, но и в долги не забираемся»), а мужчины были «министрами труда и зарплаты».

Забыл я сказать, что полтора года назад отец с Юрием построили дачу. Впрочем, одно название — дача, а на деле, как говорит отец, обыкновенный «домик от мух». Зато рядом — сад: двадцать яблонь, мать делает на зиму консервированный компот. И вот сидит отец, рассуждает в присутствии сына на хозяйственную тему. Положим, есть у рабочего человека три лишних рубля. Куда, он думает, их истратить? Ясное дело: купить полбанки! А будь у него дачка, он бы думал не так: взять ли ему рулон резины или два мешка цемента? «Сейчас появился набор пластинок, — перебивает Юрий. — Бетховен, Шуман и Бах. Как раз три рубля». «Много ты понимаешь! — кипятится отец. — Тебе разреши, без штанов будешь ходить!» «Ничего, он прикроется пластинками!» — вставляет мать. «Да будет вам!» — строго произносит Татьяна, и все успокаиваются.

Святыми для него были родители, потом товарищество, потом Родина, громких слов о которой он говорить не любил, потому что «от частого употребления слова грязнятся, а выстирать их невозможно».

Мы часто говорили с Юрием о прошлом и будущем рабочего человека. С его точки зрения, рабочий всегда был исполнителем инженерной мысли, ограниченным в инициативе и знаниях. Но эта пора прошла. Сегодня рабочий — скорее соавтор инженера, который все чаще ходит к нему за советом. А лет через двадцать рабочие будут обладать инженерными знаниями в полной мере.

— Какая же, — говорю, — будет разница с инженерами?

— А никакой. Не будет деления. Что инженер, что рабочий — одно имя: создатель.

Потом он пригласил меня к окну и предложил пари: пройдет по улице в течение получаса человек в ватнике и кирзовых сапогах? От пари я отказался, хотя мы рисковали одинаково. А Юрий вспомнил, что еще три года назад рабочий мог сказать в трамвае интеллигенту: «А еще шляпу надеть!» Сегодня в шляпах скорее увидишь рабочих, интеллигенция носит кепки.

— А вы?

— Я тоже.

Мы стояли на заводе в курилке, собралось человек десять, все цеховые, тут же был Новиков. Начали с шуток, с подначек: мол, ходит вокруг Новикова корреспондент, жди теперь статью с

фотографией «Передовой рабочий», а там, мол, пригласит к себе Юрия генеральный директор и скажет: «Ну что ж, — мол, — товарищ передовой, садитесь рядом, помогайте руководить», — так чтоб Новиков ребят не забывал.

Потом перешли на серьезное. Один рабочий сказал:

— Стержень в нем, конечно, есть, но маловато рабочей закваски.

— Ничего, — сказал другой, — он парень при талантах, его наверх вынесет.

— Скажу тебе, Юра, прямо, — сказал третий. — В свою бригаду я бы тебя для заработка не взял. Несолидно работаешь.

— А я бы взял: трясти администрацию. Лучше его никто не умеет.

— За ним, товарищ корреспондент, глаз да глаз нужен. Тогда будет большим человеком.

— Только почему у тебя, Новиков, такая нехорошая привычка: всегда ты знаешь, как правильно поступать, а сам это дело обходишь?

Я слушал и поражаюсь вдвойне: беспощадности оценоч и поведению Новикова. Он ни разу не сорвался, не сделал попытки обидеться, а принимал эти мнения с естественностью человека, давно привыкшего к прямому, резкому, но заинтересованному слову.

Потом я говорил с мастером дядей Мишей.

По всем правилам игры он должен был плохо относиться к Новикову, быть может, даже не терпеть его за многочисленные стычки и дерзкий характер. Дядя Миша немолод, ему лет сорок пять, в прошлом — моряк, человек воевавший, весьма далекий от сантиментов. О Новикове сказал:

— Личное поведение безупречное, но вот идет брачок.

— Почему? — спросил я, готовый к тому, что дядя Миша сейчас ответит: лентяй он, лоботряс и бездельник, временный у нас человек и вообще не рабочая косточка. Но дядя Миша сказал:

— Опыта маловато. А вы что, прописывать его будете?

— Буду.

— У нас есть получше.

— Так и он личность.

— Личность-то личность, — сказал дядя Миша и тут добавил, пожалуй, самые точные о Новикове слова: — Только пока что он не лицо нашего цеха, а его забота.

— А вы бы Новикова с собой в разведку взяли?

Кто-то из «возрастных», стоящих рядом, ответил за дядю Мишу:

— Чего не взять? За спину он был бы спокоен.



Анастас Микоян

Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год)

Из воспоминаний

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И УРОКИ ЗАБАСТОВКИ

На следующее утро, хорошенько выспавшись, мы связались с товарищами и собрались на заседание Бакинского комитета партии. Надо было оценить положение, наметить нашу дальнейшую тактику и в первую очередь изыскать меры к освобождению товарищей, еще остававшихся в тюрьме.

Настроение у товарищей было бодрое, хотя все мы были, конечно, огорчены, что забастовку пришлось закончить, не добившись выполнения выдвинутых требований. Один из товарищей даже высказал мысль: а не является ли вообще ошибкой объявление забастовки? Вопрос этот требовал ответа, тем более, что меньшевики на всех перекрестках кричали, что забастовка была ошибкой, чуть ли не авантюрой коммунистов, хотя в момент принятия решения о забастовке они голосовали за нее.

Я выступил на этом заседании и напомнил о том, что предшествовало объявлению забастовки. Мы, руководящие работники, хорошо понимали тогда, как трудно заставить англичан, блокировавших Россию, открыть для Астрахани доступ к нефти. Прорвать эту блокаду было делом маловероятным. И, несмотря на это, мы правильно поступили, объявив забастовку. Во-первых, надо было считаться с настроением рабочих, которые рвались в бой. Во-вторых, надо было возглавить эту борьбу и в процессе острой классовой схватки проверить силу организо-

ванности бакинского рабочего класса и влияние Коммунистической партии.

Большинство рабочих в ходе забастовки проявило себя отлично. На должной высоте оказалась и наша партийная организация. В ходе руководства забастовкой она, несомненно, повысила свой авторитет.

Некоторая часть азербайджанских рабочих оставалась еще под влиянием мусаватистов и правых социалистов. Но эти дни показали также и то, что очень многие азербайджанские рабочие героически боролись рука об руку с русскими рабочими против английского командования и азербайджанского буржуазного правительства. Довольно большая группа руководящих азербайджанских кадров прошла боевую закалку, что уже было крупным достижением. Только отдельные предприятия под влиянием мусаватистов и из-за репрессий, проводимых правительством, пошли на то, чтобы прекратить забастовку до решения, принятого по этому поводу Центральным Стачкомом.

Остается несомненным, что забастовка как началась, так и закончилась **организованно**, под руководством Центрального Стачечного комитета. Конечно, жаль, что она закончилась до освобождения из тюрьмы всех арестованных, поэтому наша задача состояла в том, чтобы немедленно добиться их освобождения.

— Тот факт, — говорил я, — что мы вышли из боя организованно, хотя и не добившись выполнения всех своих требований, говорит не о нашем поражении, а скорее о победе. О победе — потому, что мы получили в этой борьбе хорошую закалку, сохранили и усилили свою организованность, свою классовую сознательность и единство. Во всяком случае, противнику не удалось нас разбить.

Продолжение. Начало см. «Юность» за 1967 год в №№ 11, 12, за 1968 год. №№ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12.

То, что некоторые предприятия самовольно прекратили забастовку, — результат не только репрессий правительства и лживой пропаганды мусаватистов, но и предательского поведения лидеров меньшевиков и эсеров. Поэтому наша главная задача — развернуть борьбу против мусаватистов, особенно тех, которые действовали среди азербайджанских рабочих, а также всемерно разоблачить предательскую роль эсеров и меньшевиков.

На этом заседании Бакинского комитета было принято решение — на следующий же день созвать заседание Рабочей конференции по итогам забастовки. После широкого обмена мнениями, несмотря на различие оттенков в оценке событий, мы были совершенно единодушны в понимании того, что нам надо делать. Сразу же после этого заседания я вместе с Гогоберидзе засел за подготовку проекта резолюции Рабочей конференции. (Эта резолюция одновременно должна была стать тезисами доклада Гогоберидзе на конференции.)

16 мая собралась Рабочая конференция. На этом заседании я не присутствовал, поскольку должен был скрываться после побега из тюрьмы. Председательствовал Караев. На первом же заседании конференция приняла предложение Караева избрать почетными председателями конференции Чураева, Микояна и Анашкина, находящихся, как было официально известно, под арестом.

С обстоятельным отчетным докладом от имени Центрального Стачечного комитета выступил Гогоберидзе. Обсуждение его доклада, как мне рассказывали, проходило очень бурно.

Представитель партии «Адалет» Ага-заде, присоединившись полностью к докладчику, отказался от предоставленного ему слова и потребовал от присутствующего на заседании правого лидера партии «Гуммет», члена парламента Пепинова дать объяснение о недостойном поведении его идейных сообщников по партии во время забастовки.

Пепинов стал всячески замазывать неблагоприятную роль своей парламентской фракции и правой части «Гуммета».

Ловкий ход предприняли на этом заседании меньшевики, выступив своими ораторами Штерна, Паповянца и Ребруха, которые были арестованы вместе с членами Центрального Стачкома и теперь освобождены. Расчет был на то, что этих ораторов будут слушать внимательно и что они смогут произвести желаемое впечатление. Их выступления были направлены против той части доклада Гогоберидзе, где он разоблачал предательское поведение меньшевиков в ходе стачки. Эти ораторы утверждали, что причиной неудачи стачки является плохая ее организация, а так как ею руководили большевики, то на них и лежит ответственность за неудачу. Рабочие делегаты возмущенными криками с мест неоднократно прерывали выступления представителей правых партий.

После яркого заключительного слова Гогоберидзе один из делегатов, мусаватист Зульфугар, с места злобно бросил реплику: «Здесь собрались агенты российской Совдепии», — и демонстративно покинул заседание.

Большинством в 194 голоса при 3 против и 24 воздержавшихся была принята резолюция, предложенная коммунистами.

«В первом своем столкновении, — говорилось в этой резолюции, — бакинский пролетариат очутился перед объединенным врагом — международным капиталом и его местными холопами: ханами, беками, капиталистами и их партиями кадетов, мусаватистов и дашнаков. В своем провокационном усердии, бесконечной лжи и

бесстыдной клевете, направленных к национальной травле и кровавой резне, особенно выделялась партия мусаватистов.

Через своих многочисленных агентов она объявила мирную забастовку вооруженным восстанием, направленным против мусульман и «независимости» Азербайджана. Где бессильны были ложь и провокация, успешно действовали штыки и нагайки.

Так называемые социалистические правые партии, вернее, гниющие трупы бывших партий, вначале стоявшие за забастовку, в процессе тяжелой борьбы обнаружили свою изменническую физиономию и вместо помощи борцам, как стая черных воронов, налетели на поле битвы для ликвидации борьбы, образовали похоронное бюро — межпартийные совещания.

Парламентский блок мусульманских лжесоциалистов в первый же день борьбы изменил пролетариату, выразив доверие правительству и одобряя действия штыков, нагаек и мусаватской провокации.

Бакинский пролетариат не одержал победы, но сумел выйти организованно из первого боя, сохранив свою пролетарскую армию и обогатив ее опытом первого сражения — для грядущих битв.

Считая минувшую забастовку не концом, а началом борьбы, первым боем, где бакинский пролетариат получил боевое крещение, и сознавая, что причины забастовки не устранены, а еще более обострились, бакинские рабочие не слагают оружия, не отказываются от борьбы, а успешно готовятся к новому бою, организовывают и сплачивают свои ряды, обращая сугубое внимание на своих малосознательных товарищей — мусульман-рабочих, стараясь оторвать их от буржуазных и мелкобуржуазных предательских партий и с помощью коммунистических групп «Адалет» и левых гумметистов организовать, сплотить их вокруг бакинского верховного пролетарского органа — Рабочей конференции».

Это решение Рабочей конференции, принятое по предложению коммунистов, привело в бешенство эсеро-меньшевистских борзописцев. Они стали в своих газетах изо дня в день поливать коммунистов ложью и клеветой, всеми мерами добиваясь их дискредитации. На разные лады кричали они о поражении бакинского рабочего класса, о провале руководства Рабочей конференции и т. п.

Всячески шельмуя коммунистов, они всеми силами и средствами пытались восстановить влияние своих партий и их руководителей, представить их — в противовес коммунистам — как единственно разумных, преданных, опытных и подготовленных руководителей рабочего класса.

Серьезных успехов среди рабочего класса они добиться не смогли, но у части интеллигенции, запутанной ими в понимании происходящих событий, известный успех они имели.

К сожалению, наша газета «Набат», редактором которой в ту пору был Ломинадзе, не вела активной борьбы против этой газетной кампании. Как-то я поговорил с Ломинадзе по этому поводу и предложил ему написать несколько острых и принципиальных статей, разоблачающих все эту эсеро-меньшевистскую шумиху в печати и дающих правильную оценку причин возникновения забастовки и ее результатов.

— Надо разоблачить, — говорил я ему, — утверждение меньшевиков о якобы имевшем место поражении бакинского пролетариата. Надо поднять дух рабочих, укрепить веру в свои собственные силы и призвать их готовиться к новому сражению, когда для этого наступит наиболее подходящий момент. Ломинадзе был человек очень искренний. Он откровенно сказал мне, что, по его мнению, забастовка кончилась поражением. Я спорил с ним, доказывая обратное, но в тот день убедить его окончательно не смог. Ломинадзе сказал, что не может написать те статьи, о которых я его просил, так как он не убежден в правильности моей постановки всех этих вопросов.

Естественно, я был недоволен и резко сказал ему, что если он не хочет писать такие статьи, я напишу их сам.

Я имел в виду написать две статьи: одну — посвя-

ценную критику позиции наших противников и обоснованию нашей линии до объявления забастовки, а другую собирался посвятить самому ходу забастовки и ее итогам.

Первую статью я написал сразу же после того, как от меня ушел Ломинадзе, под впечатлением нашего горячего спора с ним. Вторую мне так и не удалось написать: захлестнули неотложные дела.

Текст статьи «О минувшей забастовке», опубликованной 23 мая 1919 года в газете «Набат», сохранился. Возможно, эта статья представит некоторый интерес для понимания обстановки тех лет и того подхода к оценке происходивших событий, который был тогда у меня. Вот что я писал:

«Злые коршуны в тоге «зрелых и умелых» политиков подняли свою голову...

«Старые и испытанные руководители пролетариата», как любят себя рекомендовать гг. меньшевики и эсеры, — до забастовки и в момент ее объявления ни слова не промолвившие о несвоевременности или неподготовленности забастовки, а, наоборот, глубокомысленно молчавшие или горячо настаивавшие на медленном ее объявлении, — сейчас задним числом, после выяснения результатов забастовки, на все лады твердят о том, что забастовка была не подготовлена, споропатительна, и этим «философски» объясняют ее «крах» и «поражение».

«Роковые ошибки», допущенные коммунистическими руководителями бакинского пролетариата, сделали неизбежным «крах» забастовки...

У лиц, не стоявших близко к работе Рабочей конференции и ее президиума, не принимавших в ней участия, не знающих, что творилось и творится в рабочих районах и организациях, не знакомых с создавшимся материальным и правовым положением пролетариата, с состоянием нефтяной промышленности — источника нашей жизни, на основании многочисленных, но малоценных, бессодержательных статей соглашательских газет, — может сложиться неправильное мнение, что забастовка была объявлена несвоевременно, споропатительно, что ее можно было отложить до более благоприятного момента, дающего возможность окончательной победы.

Мелкобуржуазный интеллигент живет минутами неограниченного счастья, бесконечной печали и... детского отупения. Его душа — фосфорический свет, то слабо вспыхивающий, то потухающий и исчезающий во мране. Такой интеллигент мало живет объективным прошлым и неизбежным будущим. Умственный горизонт его узок, ограничен хатой и огородом, не заходит дальше его носа.

Этот характер мягкотелого и мягкомозглого мелкобуржуазного интеллигента — человека болезненно-революционного и одновременно болезненно-реакционного, — во всей своей наготе обнаружился в ходе забастовки, в поведении болезненно-хилых эсеров и меньшевиков...

Могли ли и могут ли эти бледные тени прошлого смотреть широко на минувшую забастовку? Правильно понять и дать ей надлежащую оценку? Наметьте дальнейшие пути борьбы — не ища каких-то «роковых ошибок», а спокойно выясняя действительные причины и движущие силы борьбы? Нет, конечно, нет: это не под силу гниющим трупам бывших партий.

На это способны только пролетариат и партия коммунистов, живущие не минутными проявлениями революционных всплесков, чередующимися периодами полного отчаяния, а горящие негасимым огнем революционной борьбы, идущие не по гладкому пути легких побед, а мечом прокладывающие себе дорогу, озаренную лучами восходящего солнца Коммунизма.

Коллективный договор — не новое требование для бакинского пролетариата. Он боролся за него еще в дни реакции 1907 года. В сентябре 1917 года им была объявлена и успешно проведена стачка за коллективный договор, закончившаяся полной его победой...

Ни кровавые победы турецкого и английского империализма, ни разгромы рабочих организаций не могли заставить бакинских рабочих отказаться от коллективного договора, от борьбы за него. Едва оправившись от ударов империалистических хищников и встав на ноги, бакинский пролетариат уже в конце прошлого года выставил — как очередное боевое требование — коллективный договор.

Но, оказавшись без своих боевых вождей-коммунистов, расстрелянных или находившихся в плену у контрреволюции, чувствуя, что не все его организации восстановлены, — бакинский пролетариат, ПО УВЕЩАНИЮ СОГЛАШАТЕЛЕЙ, в январе был вынужден принять «подачку» от капиталистов (прибавка

зарплаты да еще несколько других пунктов коллективного договора) и временно отказаться от продолжения непосредственной борьбы. Однако и в этих условиях он не свернул своих знамен и продолжал всемерно готовиться к грядущей битве.

Коллективный договор был передан «согласительной комиссии», состоящей из представителей рабочих и нефтепромышленников, под председательством «нейтрального» лица — представителя правительства...

В начале марта члены согласительной комиссии от рабочих (и даже самые заядлые соглашатели из них, как, например, Слепченко) пришли к выводу, что, поскольку капиталисты не идут на дальнейшие уступки, продолжение работы этой комиссии бесцельно, безрезультатно. К такому же выводу пришло объединенное с согласительной комиссией заседание нового президиума Рабочей конференции и представителей всех районов.

Однако, считая подготовительную организационную работу для ведения дальнейшей борьбы незаконченной, они решили продолжать эту «игру в соглашательство» с целью выиграть время, чтобы усилить и ускорить организацию боевых рядов бакинского пролетариата. Тогда же, в начале марта, чуть не вспыхнула политическая забастовка, объявления которой так настойчиво добивались представители эсерского комитета.

Центральный Стаечный комитет, по нашему настоянию, принял многоиспытанную тактику коммунистов, тактику оттяжки и лавирования, сбережения сил и сплочения боевых рядов, дающую возможность не капитулировать перед врагом (как предлагали меньшевики Рохлин и Чурев), или без учета сил и обстоятельств — необдуманно, поддавшись лишь чувству, безоружными броситься на английские штыки, чтобы «умереть красиво» (как предлагали «мечтатели»-эсеры Ильин и Беленький).

НАША ТАКТИКА ПОБЕДИЛА: мы не капитулировали, а добились осуществления почти всех наших требований».

Главный вывод, который мы делали для себя, говоря об итогах прошедшей забастовки — и это было особо подчеркнуто в решении Рабочей конференции, — заключался в необходимости всемерно усилить нашу работу среди мусульманских рабочих, стараясь оторвать их от буржуазных и мелкобуржуазных предательских партий и с помощью коммунистических групп «Адалет» и левых гумметистов сплотить вокруг коммунистов и Рабочей конференции.

С этой целью в Бакинском комитете партии вскоре и было созвано специальное широкое совещание с участием руководителей левых гумметистов и «Адалет».

На совещании много говорилось о настроениях, которые сложились среди рабочих-азербайджанцев после забастовки.

Дело в том, что в результате предательской политики мусаватистов и жестоких репрессий со стороны национального правительства в отношении рабочих после забастовки даже у самой отсталой части рабочих-азербайджанцев произошел явный сдвиг влево. Немало способствовало такому поведению и неблагоприятное поведение правых гумметистов во время забастовки и в особенности после ее окончания.

Надо было закрепить это полевение рабочих-азербайджанцев. Вот почему многие выступавшие на совещании говорили, что пришла пора левым и правым гумметистам размежеваться и очистить партию «Гуммет» от меньшевиков, превратив ее в подлинно большевистскую организацию.

Караев и Гусейнов, которые около двух месяцев назад выступали против такого раскола как несвоевременного, на этот раз согласились, что время раскола действительно наступило.

Была достигнута договоренность о том, чтобы коммунисты из «Гуммета», пользуясь своим большинством в руководстве этой организации, практически осуществили такой раскол в ближайшее время.

Раскол состоялся в июле 1919 года; гумметисты-коммунисты окончательно порвали с правыми, и последние вышли из организации. Это было важной победой нашей партии.

На том же совещании в Бакинском комитете возник вопрос о целесообразности участия в азербайджанском парламенте. Вопрос этот был поднят Караевым, который и до совещания не раз просил у нас разрешения выйти из буржуазного парламента, депутатом которого он являлся. Он был возмущен поведением парламента во время забастовки и заявлял, что не может оставаться в этом «болоте».

Однако мы все дружно выступили против. Нам нельзя было отказываться от использования легальной парламентской трибуны для политической борьбы и пропаганды наших взглядов. Мы помнили, что успешное сочетание нелегальных и легальных форм партийной работы является одной из основ ленинской большевистской тактики.

Караева удалось убедить, и он примирился с необходимостью продолжать эту крайне неприятную для него работу. И надо сказать, что он выполнял ее весьма успешно, умело используя в интересах партии свое положение депутата парламента.

ПИСЬМО ЛЕНИНУ

С каждым днем мы все острее чувствовали необходимость установления живой, непосредственной связи с Москвой, с Центральным Комитетом партии, с Лениным. Нельзя было решать крупнейшие вопросы политики по своему уму-разуму. Нельзя было дальше работать, да еще в таких сложных условиях, какие существовали тогда в Баку и Закавказье, без советов и указаний центра, без необходимой информации, без обмена опытом.

Мы, конечно, хорошо понимали, что наладить связь с Москвой было делом нелегким. Нас разделяло не только расстояние: разделял фронт контрреволюции. И все-таки связь надо было устанавливать, несмотря ни на что.

Должен сказать, что еще накануне забастовки, где-то в апреле, ко мне явился один молодой человек, представился Тиграном Аскендаряном (это были его настоящие имя и фамилия) и рассказал, что еще в 1918 году, 17-летним парнем, он стал коммунистом, вступил в партийный отряд, потом эвакуировался вместе с советскими войсками в Астрахань, оттуда — с группой товарищей — ездил с партийным поручением в Кизляр, потом вместе с отступающей Красной Армией попал в Астрахань, а теперь по поручению начальника политотдела 11-й Красной Армии Падерина и председателя Астраханского губкома партии Колесниковой приехал в Баку, чтобы восстановить с нами связь, информировать нас о положении дел в Астрахани и возвратиться обратно с информацией о положении дел у нас.

Никаких письменных документов и материалов с собой он, помню, не привез, за исключением какой-то суммы денег.

Своим видом он не вызывал подозрений. Скорее даже наоборот — расположил к себе. Хороший, симпатичный парень, видно было по всему: энтузиаст. Он назвал свой бакинский адрес. Мы проверили. Оказалось, что его родители погибли при захвате Баку турками. Соседи по дому знали его с хорошей стороны. Я сказал, чтобы он отдохнул, и предупредил, что скоро ему придется ехать обратно.

Так вот, когда мы судили-рядили, кого бы нам направить своим первым курьером в Москву, как-то сразу все остановилось на кандидатуре Тиграна. Не потому, конечно, что у нас мало было своих преданных партийцев; но мы хорошо понимали, что одной

преданности в таком деле было еще мало, нужно обладать особой ловкостью и иметь опыт. Тигран же хорошо знал дорогу из Астрахани в Баку, и ему было много легче сориентироваться на обратном пути и проскочить через все преграды.

Было решено направить вместе с ним технического секретаря бюро крайкома партии, 20-летнюю коммунистку Шуру Берцинскую, коренную бакинку, которая работала в 1918 году на Северном Кавказе. После падения там Советской власти Шура по Военно-Грузинской дороге перебралась в Грузию, а затем и в Баку. Она пользовалась у всех нас полным доверием: не случайно именно она занимала доверительную должность технического секретаря бюро крайкома партии.

Была она небольшого роста, хрупкая, миловидная, по виду моложе даже своих двадцати лет: просто девочка, гимназистка. Но она уже побывала в разных весьма сложных переделках, принимая участие в борьбе с контрреволюцией на Северном Кавказе.

Вот они-то, Тигран и Шура, и должны были вручить мое письмо Центральному Комитету партии, лично товарищу Ленину. (Надо сказать, что для страховки мы «продублировали» Тиграна и Шуру, направив в Москву с аналогичным письмом третьего курьера — опытного коммуниста Хорена Боряна.)

Вот как вспоминает обо всем этом в своих записках Тигран:

«24 мая вызывает меня т. Микоян и дает задание: мне и Шуре Берцинской пробраться с написанным им докладом крайкома в Москву к Ленину и возвратиться обратно».

Тут же т. Микоян говорит, что для партийной организации Баку исключительно важно установить связь с ЦК партии. Поэтому с таким же заданием (с тем же докладом) в Москву направляется одновременно с нами еще и третий товарищ — Хорен Борян (брат одного из 26 бакинских комиссаров).

25 мая мы с Шурой выехали в Москву — к Ленину, а через два месяца возвратились обратно. Хорен Борян погиб; его поймали и расстреляли денкинцы».

О том, как наша «делегация» пробиралась через захваченную Деникиным территорию, рассказывает в своих воспоминаниях Шура Берцинская:

«Когда мне предложили ехать с Тиграном в Москву, я согласилась на это с радостью. Ехать и увидеть своими глазами Советскую Россию, пробыть через границы и фронты, быть в опасности и преодолевать препятствия — все это так отвечало моему желанию героики и подвига, что я с нетерпением стала ожидать момента отъезда».

Было нам тогда от роду: Тиграну — восемнадцать, а мне — двадцать лет.

Наконец, желанный день наступил. Это было в конце мая 1919 года. Доклад Анастаса Микояна о положении в Азербайджане и Закавказье напечатали на куске материи; на такой же материи были изготовлены и наши мандаты о направлении в Москву, в Центральный Комитет партии.

Начались приготовления к отъезду. У Тиграна в качестве верхней одежды был френч. Мы вытащили из него бортовку и вместо нее зашили доклад Микояна в ЦК; мандаты удалось «устроить» в уголке моего жакета. Оба мы получили удостоверения на другие имена. Я — на имя моей погибшей подруги Зины Еременко, а Тигран — на имя ученика реального училища Гриши Зорабова.

И вот, наконец, взяв в руки маленький саквояж и купив на вокзале билеты до Петровска, мы выехали вечером из Баку. Сели в вагон нарочито в последнюю минуту; в вагоне было темно, лишь кое-где в фонарях горели свечи.

После Хачмаса в вагоне начался шум. В наше купе вошли какие-то люди и потребовали документы. Посмотрев удостоверение Тиграна и в упор осветив фонарем его лицо, коротко приказали: «Выходи! Подождешь в коридоре». Сами при этом вышли.

Быстро сняв с себя френч, Тигран передал его мне. Надо сказать, что во френче Тигран выглядел довольно взрослым молодым человеком; в синенькой же полосатой рубашке, в которой он остался, да в ученической фуражке с кокардой реалиста он легко мог сойти за мальчика, значительно моложе своих лет.

Выйдя из купе, он увидел на площадке часового, видимо, поджидавшего его. Тогда он быстро повернулся и вышел с противоположной стороны вагона — в уборную. Затем, не узнавший часовым, прошел в соседний многолюдный вагон III класса и лег там на верхней полке.

Обо всем этом я, конечно, ничего не знала. Вдруг слышу — начался переполох. Какие-то люди с фонарем заходят в наше купе, всматриваются в лица пассажиров, о чем-то шепчутся... Уходят и вновь приходят... Явно они кого-то ищут.

Что с Тиграном? Нет, ведь мне нельзя и виду показать, что я его знаю. Забота о доставке в Москву доклада т. Микояна теперь лежит исключительно на мне одной. А это — главное. Слышу разговоры пассажиров: «Этого молодого человека, вероятно, сняли с поезда. Здесь это часто бывает — снимают и расстреливают».

Утро, станция Ялама. Не сидится. Выхожу из поезда; может, хоть что-нибудь удастся узнать. Чудесная природа, южный душистый лес, прозрачная роса, прохлада, свежесть...

И вдруг — Тигран. Радостно здороваются: делает вид, будто «случайно» встретил знакомую. Шепотом рассказывает, что ночью его несколько раз в упор освещали фонарем, но так и не узнали в нем «того» молодого человека во френче.

Подъезжаем к Петровску, выходим. По городу разъезжают конные с белыми лентами на папах, висят на стенах антисоветские плакаты, карикатуры ОСВАГА¹. Город занят белогвардейцами чуть ли не этой ночью. Выезд из города без пропусков запрещен.

Отправляемся и пристани. пробуем уговорить кого-либо из лодочников поехать с нами на остров Чечень, обещаем хорошо заплатить (деньги нам были даны). Никто не соглашается. Еще вчера это было возможно, а сегодня приказ: «Без пропусков не выезжать». На всякий случай идем за пропуском в комендатуру. Сочиняем историю, что мы хотим пробраться с острова Чечень на Старо-Теречную, отсылаем наших родителей, бежавших туда из Баку при наступлении турецких войск. Вглянув на Тиграна, офицер говорит: «Объявлена мобилизация, и вы, молодой человек, являетесь завтра на мобилизацию, пойдете в армию. Как раз ваш возраст».

Вот мы и попались! Путь назад — закрыт, движение вперед — сомнительно. Решаем: Тигран хоть пешком возвратится в Баку, а я одна доберусь до острова (мне не было отказано в пропуске).

Бродим по городу и вдруг видим: с горки спускается Хорен Борян. Мы знали, что Хорен имеет такое же задание, как и мы, но он должен был ехать в Советскую Россию через Северный Кавказ, мы же — через остров Чечень на Астрахань. Хорен сообщает, что ему удалось добыть замечательный документ уполномоченного Армянского комитета по обследованию положения армянских беженцев на Северном Кавказе. Едет он через остров Чечень на катере, который отходит сегодня вечером. Советует и нам попытаться уехать на этом же катере.

Заходим в гостиницу, потом спускаемся к пристани. Катер стоит, посадка началась. Едут преимущественно мешочники с мукой. Садимся и мы. Для «верности» спускаемся в трюм. Минут через 15—20 приказывают всем подняться наверх — проверка документов. Выходим. Поодаль на пристани стоит комендант, рядом с ним кто-то в военной форме. Пассажиры по одному выходят с катера, предъявляют коменданту документы и возвращаются обратно на катер. Вдруг Тигран, нервно сжимая мне руку, шепчет: «К коменданту подошел Андрей Мягков, мой одноклассник по реальному училищу...» Как быть? Если Тигран предъявит ученический билет на имя Зоробова, который также учился вместе с ним в одном классе, то мигом все раскроется. Вдобавок Мягков знает, что в августе 1918 года Тигран ушел добровольцем в партийный отряд — в Красную Армию. Уйти, отказаться от поездки?.. Но куда идти? Пристань замкнута военными и среди них — Мягков.

Все меньше остается непроверенных пассажиров. Пристально следит Тигран за движениями Мягкова. Кто-то вошел на пристань, навстречу ему пошел Мягков. Тигран подходит к коменданту, разворачивает свой ученический билет с двуглавым орлом, минута — и он на катере. Мягков повернулся и, ничего не заметив, возвратился к коменданту.

Мы забрались в маленькую каютку, где расположилась группа офицеров со своими дамами. Офицеры целуют дамам ручки, говорят комплименты и развлекают их рассказами об ужасах «Совдепии», пугают страшным словом «большевик».

Наконец, раздался свисток. Мы в море.

Выходим на палубу. Вдали огни Петровска. Найда какое-то местечко около парового свистка, после бессонной ночи и всех волнений дня мы крепко заснули. Сон был так глубок, что Тигран, положив свою руку на паровую отдушину свистка, не почувствовал, как пар всю ночь жег ему руку. Шрам на руке сохранился у него на всю жизнь.

Утром приближаемся к пустынному острову Чечень.

Мы направляемся в самый конец селения — к Болотиным. Ивана нет дома, жена говорит, что он уехал, но должен вот-вот возвратиться. Дома его брат Федор. Он, как и все на острове, рыбак; значит, лодной управлять умеет; в случае чего, сумеет доставить нас в Астрахань.

Идем Ивана. Прошло уже два дня, а его нет. На третий день вбегает молодая женщина и, горько рыдая, сообщает, что денкинцы рыщут по измам, схватили ее мужа, пытаются его, кого-то уже расстреляли.

Атмосфера накаляется. Ждать больше нельзя. Вечером сидим в избе, точно в западне. Договариваемся с Федором, что сегодня же ночью во что бы то ни стало надо уезжать. Федор уходит «в разведку» — на поиски подходящей лодки. Метрах в двухстах от нас — маяк, около которого мерно и медленно шагает часовая — индусский солдат (на острове английская и деннинская база).

Приходит Федор. Лодка им найдена: она, правда, очень мала, но «теперь май, и на ней втроем мы доберемся до Астрахани», — с улыбкой говорит «дядя» Федор.

Наступила темная ночь. Только вдали виднеются огни английского сторожевого судна, да в полосе берега мелькают силуэты шагающих часовых-индусов. Вдруг Федор тихо сказал: «Стой!» Притаились. Слышим шуршание лодки по песку, кто-то подплыл, прошел неподалеку от нас, и снова тишина. Федор и Тигран осторожно прошли в лодку. Потом Федор вернулся, сгреб и перенес меня, столкнул лодку на место поглубже, поставил паруса, и мы двинулись в путь.

Ночь была так хороша, так удачно захватили мы чью-то лодку, так ласково море и надежен попутный ветер, что все мы крепко и безмятежно уснули. Уснул и Федор, который в наши 18—20 лет казался нам уже достаточно пожилым человеком (а было ему лет около тридцати).

На рассвете с тревогой будит нас Федор. Проснулись. Озираемся. Слышен отдаленный лай собак: мы довольно близко от берегового селения. «Станица Старо-Теречная, гнездо белогвардейцев», — говорит Федор. От берега отделяется лодка и движется в нашем направлении. Ветер давно стих, паруса висят безжизненными тряпками. «Убрать паруса! — командует Федор. — Шура — на руль, мы с Тиграном — на весла. Грести изо всех сил!» Началась гонка.

Прошло уже не менее часа. Расстояние между нами и преследующей нас лодкой все увеличивается; оно становится все больше и больше. Видимо, там перестали грести. Селение уж скрылось из глаз, Федор и Тигран все гребут и гребут. Воздух не шелочнет, никаких надежд на паруса. Прошло уж часа три. «Больше не могу», — первым сдается Тигран. — «Ладно, бросай», — разрешает Федор.

Так мы трое сутон, ловя малейший ветерок, медленно продвигались к цели. Как-то услышали гул орудийных выстрелов. «Где-то морской бой», — сказал Федор. Близко прошел катер, на нем развевался гордый, приведший нас в бурный восторг флаг: «РСФСР».

— Ура-а!.. Значит, мы уже дома!»

Мое письмо-доклад Ленину было довольно пространно. Я писал об обстановке, которая сложилась в Баку и Закавказье, об оккупационном режиме, о роли и политике азербайджанского национально-буржуазного правительства, о нашей Рабочей конференции; рассказывал о начале и исходе всеобщей забастовки бакинских рабочих, о росте влияния нашей партии среди бакинских рабочих, о наших спорах с тифлисскими товарищами по поводу независимого Советского Азербайджана; писал о положении в Грузии и Армении; сообщал о хозяйничанье англичан в купе с белогвардейцами в Петровске, о разгроме ими Дагестанского комитета партии, о революционных настроениях дагестанских крестьян и организации повстанческих отрядов в Дагестане...

Я сообщал Ленину, что мы готовим вооруженное восстание, создаем опорные повстанческие пункты

¹ ОСВАГ — контрразведка Деникина.

в крае и сможем выступить, как только узнаем, что части Красной Армии и Флота готовы нам помочь. Я просил Ленина и ЦК партии направить в Баку опытных партийных работников (особенно из мусульман), а также прислать партийную литературу на русском, азербайджанском и армянском языках.

Когда Тигран уезжал в Москву, я дал ему строгий наказ — во что бы то ни стало привезти стенограмму VIII съезда партии, состоявшегося во второй половине марта 1919 года.

Нам было известно об этом съезде очень мало: газеты из Советской России к нам не доходили; о том, что происходило на съезде, мы знали только по слухам да из сообщений буржуазной прессы.

Тиграну и Шуре было поручено передать мое письмо лично Ленину. Они успешно выполнили это поручение и уже в июле 1919 года вернулись — через Астрахань и Каспийское море — обратно в Баку с группой ответственных партийных работников, которые были нам в ту пору так необходимы¹.

СОБЫТИЯ В ЛЕНКОРАНИ. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

К концу марта 1919 года из Ленкорани в Баку прибыло несколько партийцев. Ранее мы не имели нужной связи с Ленкоранью и потому плохо знали истинное положение тамошних дел.

Выяснилось, например, что хотя Ленкорань и входила в состав Азербайджана, однако фактически власть азербайджанского правительства на нее не распространялась. С момента свержения Советской власти управление краем перешло в руки контрреволюционных офицеров и представителей ленкоранского кулачества. Английское командование, декларирующее «дружественные отношения» с азербайджанским правительством, могло бы, конечно, ликвидировать «ленкоранский инцидент» и подчинить этот богатый район своему союзнику. Но ленкоранские правители являлись прямыми агентами Деникина и были англичанам даже больше по душе, нежели азербайджанские националисты.

Приехавшие товарищи рассказали, что им удалось собрать распыленные силы местной партийной организации и завоевать влияние и авторитет среди трудового крестьянства. Они сообщили также, что в составе ленкоранских воинских формирований есть довольно много бывших красноармейцев, посланных в Ленкорань еще при Советской власти и оставшихся там после ее падения. Все они были готовы в любое время поддержать восстание. Местная азербайджанская крестьянская беднота тоже была настроена против мусаватистов и белогвардейцев, за Советскую власть. Кроме того, в тех местах существовали повстанческие отряды из азербайджанских крестьян, с которыми местная партийная организация держала крепкую связь.

С учетом всех этих обстоятельств, утверждали ленкоранские товарищи, захват власти в районе Ленкорани — дело вполне реальное.

Сообщение это было столь важно, что нам пришлось, тщательно проверив все эти сведения, серьезно задуматься над предложением товарищей.

Выяснилось, что захватить власть в Ленкорани мы

действительно в силах. Но совсем другое дело — удержать ее без помощи со стороны. И вообще не было большого смысла создавать такой маленький «советский оазис» без надежды на его расширение и даже сохранение.

Однако, поскольку у нас были предположения, что с открытием навигации Красный Флот готовится начать операции захвата Петровска и Баку, вопрос о Ленкорани приобретал в перспективе большое и вполне конкретное значение. Дело в том, что Ленкорань, расположенная на берегу Каспийского моря и имеющая неплохой порт, могла бы послужить хорошей базой для Красного Флота. Кроме того, Ленкорань, богатая хлебом, людьми и некоторым количеством вооружения, могла представить довольно крупную реальную силу для нашей дальнейшей борьбы за Советскую власть в остальном Закавказье и во многом облегчить задачи бакинских рабочих.

Учитывая все это, было решено свергнуть власть белых офицеров и установить Советскую власть в Ленкорани и по всей Мугани.

Как помнится, между 15 и 20 апреля в Ленкорань был командирован Гогоберидзе в качестве уполномоченного Бакинского комитета партии и с ним Агазаде, Губанов, Старожук, Каневский и другие. Им удалось в течение нескольких дней, опираясь на местные кадры, осуществить переворот, прогнать белогвардейское краевое начальство и создать в Ленкорани Революционный комитет, который возглавили большевики.

Представляет интерес резолюция, принятая 2 мая на митинге бойцов ленкоранских отрядов и трудящихся города. В ней говорилось:

«...Всеми силами поддержать Советскую власть, как единственно стоящую на страже интересов рабочих и крестьян. Мы убеждены, что лишь единение с российскими рабочими под общим знаменем III Коммунистического Интернационала, только солидарность трудящихся всех стран и диктатура пролетариата способны освободить труд из-под гнета капитала. Мы все, как один человек, готовы с оружием в руках по зову коммунистов, дружно выступить против кадетско-феодалных офицерских банд Деникина — Колчака... и англо-французских хищников. Мы требуем немедленного провозглашения Советской власти на Мугани и создания Красной Армии для защиты ее».

В середине мая состоялся чрезвычайный съезд революционной Мугани, который продолжался четыре дня. Съезд провозгласил Советскую власть на Мугани, установил Муганскую Советскую республику и избрал краевой Совет крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов.

Одним словом, дела на Мугани пошли хорошо. Об этом подробно рассказал нам вернувшийся в Баку Гогоберидзе.

Тогда у нас на повестке дня стоял (как я уже писал об этом несколько раньше) вопрос об установлении регулярной связи с Астраханью. Мы пытались наладить с Астраханью радиосвязь, но из этого — по техническим причинам — ничего не получалось. Один из наших товарищей, опытный моряк большевик Кожемякин, взялся выбраться на парусной лодке из Бакинской бухты и пойти до Астрахани. Он получил задание: рассказать там о положении дел у нас в Баку и привезти соответствующую информацию из Астрахани.

Как ни трудна была эта операция, прошла она вполне успешно. Через месяц Кожемякин вернулся

¹ После окончательной победы Советской власти в Азербайджане Тигран и Шура были посланы учиться и стали хорошими инженерами-металлургами.

на той же парусной лодке с двумя товарищами, присланными С. М. Кировым. Один из них был представитель Реввоенсовета 11-й Красной Армии, моряк Т. И. Отраднев (Ульянцев), присланный Кировым и Раскольниковым¹ в качестве доверенного лица, о чем он и предъявил нам соответствующий документ.

Реввоенсовет 11-й Красной Армии и командование Красного Флота в Астрахани проявляли тогда особую заинтересованность в укреплении Советской власти на Мугани. Как мы и предполагали, они собирались использовать Ленкорань и всю Мугань в качестве плацдарма военных действий флота и прежде всего для высадки десанта. Поэтому Отраднев имел поручение пробраться в Ленкорань и развернуть там необходимую работу.

Из разговоров с Отрадневым мы выяснили, что в Астрахани возникли сомнения по поводу информации, которую они получили от нашего представителя. Видимо, Кожемякин в несколько преувеличенном виде рассказал о наших силах и успехах в Баку. Ему там не вполне поверили и поручили Отрадневу поехать на место, все перепроверить и сообщить о действительном положении дел в Баку, а самому остаться для работы в Ленкорани под руководством Бакинского комитета партии.

Надо сказать, что встреча с Отрадневым была очень приятной. Естественно, желая побольше узнать о нем, мы задавали ему различные вопросы. Тимофею Ивановичу шел тогда 31-й год. В партию он вступил в 1909 году, будучи рабочим. В 1916 году, служа в Балтийском флоте, был арестован за подпольную революционную работу среди матросов флота и осужден на каторжные работы. После Февральской революции стал членом Кронштадтского комитета партии большевиков. Был делегатом исторической Апрельской конференции РСДРП(б), избирался членом Центробалта, был председателем флотского общественно-демократического суда. В 1918 году Отраднев — военный комиссар по организации Красной Армии в Ставропольском крае. Потом, по предложению С. М. Кирова работал в Астраханском военно-полевым трибунале.

Это был человек крепкого сложения, с открытым русским лицом, большими, умными глазами, с приятной улыбкой. Гладко причесанные волосы с пробором и коротко подстриженные усы придавали ему какой-то особо внушительный вид. Энергичный, инициативный и вместе с тем очень уравновешенный и рассудительный, Отраднев имел за плечами многолетний богатый опыт революционной борьбы.

Мы решили направить Отраднева на руководящую работу в Ленкорань. Должен сказать, что все мы, члены Бакинского комитета партии, прониклись к Отрадневу чувством полного доверия и были уверены, что наше доверие он вполне оправдает. Поэтому Отраднев был наделен не обычными, а чрезвычайными полномочиями, что видно хотя бы из содержания выданного ему 23 мая 1919 года специального мандата, случайно сохранившегося:

«Выдан Кавказским краевым комитетом РКП тов. Отрадневу в том, что он делегируется на Мугань с чрезвычайными полномочиями для выяснения состояния партийных организаций и советских учреждений.

Он уполномочен сменять неподходящих или недостаточно подготовленных лиц, реорганизовывать в случае необходимости существующие учреждения, упразднить их или создавать новые.

¹ Ф. Ф. Раскольников (1892—1939) — в то время член Реввоенсовета 11-й армии и командующий Волжско-Каспийской военной флотилией.

Все партийные организации, товарищи и советские учреждения обязаны относиться к нему с полным доверием и оказывать необходимую помощь и содействие в выполнении возложенных на него задач.

Член бюро Кавказского краевого комитета РКП

А. Микоян».

Прибыв в Ленкорань, Отраднев очень скоро завоевал доверие и поддержку местных товарищей. Под его руководством Советская власть в Ленкорани довольно быстро окрепла.

С нашей стороны были приняты все необходимые меры к оказанию Ленкорани дополнительной помощи, в первую очередь испытанными бойцами, для укрепления вооруженных сил этой маленькой Советской республики. Дело в том, что после падения Советской власти английское военное командование тысяч красноармейцев, преодолевая большие трудности, пробралось в Грузию. Однако здесь они бедствовали: меньшевистская власть относилась к ним очень настороженно, мешая им даже устроиться на работу. Постепенно они стали перебираться в Баку, где Рабочая конференция оказывала им возможную помощь. Помню, как мы отобрали из них наиболее надежных и начали отправлять маленькими отрядами на Мугань для пополнения рядов Красной Армии.

Надо сказать, что с провозглашением на Мугани Советской власти английское военное командование и азербайджанское правительство объявили блокаду Ленкорани. Не только ни одно судно, но даже ни одна парусная лодка не имела права войти или выйти из Ленкорани. На воде и на суше за этим был установлен строжайший контроль.

Однако мы не прекращали отправку в Ленкорань небольших групп бойцов, по 20—30 человек, на парусных и рыбацких лодках.

Помнится, четыре или пять раз (а может, и больше) наши лодки попадали в лапы полиции, и наших товарищей бросали в тюрьмы. Были случаи и убийств задержанных.

Но этот террор ни на йоту не ослаблял ни нашей энергии, ни горячего желания рабочих и красноармейцев пробраться в Ленкорань. Нам удалось перебросить туда до 500 опытных и надежных бойцов, что было для Ленкорани очень серьезной поддержкой.

Отраднев привез из Астрахани шифр для тайной переписки и большую сумму «никилаевских» денег для нужд Ленкорани и Баку. Это дало нам возможность впервые организовать в районах группы партийных работников, полностью освобожденных от всяких других обязанностей: до этого почти все мы выполняли свои партийные обязанности в свободное от основной работы время. Кроме того, мы вернули свой долг Рабочей конференции, у которой брали деньги на покупку лодки, и выделили некоторую сумму в фонд помощи нуждающимся красноармейцам, прибывшим с Северного Кавказа. Мы получили также реальную возможность самим издавать партийную литературу, потому что, несмотря на все наши просьбы, из России к нам поступало очень мало такой литературы (даже на русском языке). Для издания литературы на азербайджанском языке мы привлекли не только большевиков из «Гуммета» (когда он был объединенным) и работников «Адалета», но и азербайджанских левых эсеров, одним из лидеров которых был Рухулла Ахундов.

Я знал Ахундова еще с 1918 года — со времен Бакинской коммуны. Он редактировал тогда газету «Известия Советов рабочих депутатов», выходящую на азербайджанском языке. Мне он очень нравился. Мы часто с ним встречались, отношения у нас сложились хорошие, доверительные. Дружба окрепла еще больше в дни бакинского подполья при английской оккупации. Политическая линия, которую занимал Рухулла Ахундов, фактически ничем не отличалась от той политики, которую проводили мы. Несмотря на свою молодость — ему было тогда 22 года, — он был человек твердый, принципиальный, глубоко преданный делу революции. Среднего роста, худощавый, всегда подтянутый, точный в исполнении своих обещаний, верный своему слову, он был разве только не в меру самлюбив и мог легко «взорваться», если ему казалось, что задевали его честь. Зная эту его слабость, мы, даже когда иной раз дружески и подшучивали над ним, всегда старались не переходить «граней».

Я знал о том, что Ахундов отлично владеет азербайджанским литературным языком. У него было острое перо. Хорошо он знал и русский язык, литературу, поэтому нам очень хотелось тогда привлечь его к работе над переводами на азербайджанский язык работ Маркса и Ленина. Кроме того, он мог бы вовлечь в это дело большую группу азербайджанских интеллигентов, в том числе и из своей партии, а в их привлечении мы были тогда заинтересованы.

Я переговорил с ним и предложил организовать переводы по плану, который мы ему дадим. Издание же переводов, сказал я ему, возьмет на себя Бакинский комитет партии. Он согласился взяться за это дело, но захотел, чтобы как переводы, так и их издание осуществляла его партия при финансировании этого дела за счет нашего Бакинского комитета, так как его партия средствами не располагала. Понятно, я отклонил это предложение и, помню, даже выразил недоумение: как это марксистскую литературу будет издавать партия левых эсеров на деньги Коммунистической партии?!

«Ваше предложение абсолютно неприемлемо», — заявил я ему и попросил еще раз подумать над моим предложением и, когда он все обдумает, сообщить мне.

Через несколько дней он прислал мне краткую записку. Она сохранилась:

«Товарищу Микояну А. И.
Вы не раз обращались ко мне с предложением оставить свою должность и взяться за работу по издательству тюркских брошюр и книг. До настоящего времени, по независящим обстоятельствам, я не имел возможности оставить типографию. Ныне же, ввиду конфликта между мной и управляющим, я покинул типографию.

Если Вы находите нужным, то я могу взяться за это дело. Об условиях труда, если ответ будет положительным, мы поговорим в дальнейшем.

С товарищеским приветом РУХУЛЛА.

Р. С. Кстати, должен заметить Вам, что на днях имел в виду поступить в одно место на должность. Прошу ответить немедленно, дабы я имел возможность поступить согласно обстоятельствам и в случае отсутствия необходимости в обещанной Вами работе не потерять это место.

Баку, 2 июля 1919 года.

Р.»

Должен сказать, что когда у меня возникла идея предложить Ахундову взяться за переводы, я

имел тайную мысль, что в процессе этих переводов, вникнув глубоко в суть учения Маркса и Ленина, он освободится от эсеровской идеологии и станет марксистом. Так и получилось.

После получения записки Ахундова мы сразу встретились. Он согласился на мое предложение, а вскоре стал коммунистом. Летом 1919 года азербайджанские левые эсеры слились с гумметистами-большевиками.

Забегая несколько вперед, хочу сказать еще несколько слов об Ахундове и о том, как впоследствии он вырос, став видным партийным деятелем.

Пользуясь большим уважением в Коммунистической партии Азербайджана, Рухулла Ахундов — после победы Советской власти, когда С. М. Киров был секретарем ЦК Компартии Азербайджана, — стал секретарем ЦК по вопросам культуры.

В ту пору в Азербайджане началась историческая полоса культурной революции как неразрывного звена общего строительства социализма. Лучшие работники партии были тогда включены в эту культурную революцию. Среди них, в первых рядах, стояли такие выдающиеся деятели, как Нариман Нариманов, Рухулла Ахундов, Дадаш Буниатзаде, Али Гейдар Караев, Самед Агамалиоглы и другие. Ахундов вошел в историю борьбы за построение социализма в Азербайджане не только как крупный политический и государственный деятель, но и прежде всего как талантливый организатор культурной революции.

Важнейшим условием ее осуществления было создание книг на азербайджанском языке. Ахундов страстно мечтал о широком развитии книгоиздательского дела в Азербайджане и многое сделал для этого.

С исключительным рвением занимался он прежде всего созданием марксистско-ленинской литературы на азербайджанском языке. Издание же произведений Ленина он считал главным делом своей жизни. Книгоиздательское дело в Азербайджане успешно расширялось, но уперлось в отсутствие должной полиграфической базы.

В конце 1924 года Президиум ЦК Компартии Азербайджана принял решение о техническом переоборудовании полиграфической базы в республике, а в 1925 году Рухулла Ахундов был направлен за границу для приобретения полиграфического оборудования, в первую очередь линотипов с новым шрифтом. (Речь шла о графическом улучшении арабского алфавита; этот алфавит должен был существовать еще некоторое время наряду с уже введенным новым алфавитом.)

Вместе с ним поехал Лев Лифшиц. Будучи в Германии, они нашли готовый шрифт, который можно было купить, но на поверку он оказался непригодным, а изготовить новый по тем временам можно было только в Америке. Об этом Ахундов и Лифшиц поставили в известность С. М. Кирова. ЦК партии счел необходимой их поездку в Америку.

Они выехали на пароходе в Нью-Йорк. По приезде туда с Ахундовым произошло нечто непредвиденное. При санитарном досмотре у него обнаружили трахому и, не разрешив высадиться в Нью-Йорке, отправили на «Остров Слез» — в карантин для лиц, страдающих заболеваниями, с которыми въезд в страну был запрещен.

Несмотря на все ходатайства Амторга — Советского торгового представительства в Нью-Йорке, — получить разрешение на въезд в Нью-Йорк не уда-

лось. Оставалось одно — уехать обратно. Но возвращаться с пустыми руками Ахундов не мог. «Еще не было случая», — говорил он, — чтобы я не добился положительного результата от начатого дела».

На совещании с руководством Амторга Ахундов решительно настаивал на том, чтобы завершить работу в сложившихся условиях. Руководители Амторга предупредили его, что это будет связано с большими для него лишениями. «Мы ехали сюда не на экскурсию», — заявил Рухулла, — а делать дело. Я остаюсь здесь и буду продолжать работать».

Тогда Амторг и Лифшиц подыскивали в Нью-Йорке соответствующую фирму, представитель которой стал приезжать на «Остров Слез» для переговоров с Ахундовым. Переговоры эти тянулись более месяца, в очень трудных условиях, пока стороны окончательно уточнили спецификацию нужного оборудования. И на этот раз Ахундов добился своего.

В это же время в Америку приехал Владимир Маяковский. Как рассказывал Лифшиц, Маяковский из любопытства собирался побывать на «Острове Слез», а узнав в Амторге, что секретарь ЦК партии Азербайджана сидит на этом острове в карантине и не хочет остров покидать, пока не добьется поставленной цели, он заинтересовался этой поездкой вдвойне и захотел лично познакомиться с Ахундовым. Но как-то случилось, что Маяковский на остров не попал и их знакомство не состоялось. Однако из рассказов об Ахундове у Маяковского сложилось очень высокое мнение о нем.

В 1928 году появилось стихотворение Маяковского «Помпадур». Поводом для него послужило газетное сообщение о том, что в вагоне-ресторане член ЦИКа Союза Ахундов дал пощечину одному пассажиру. Вряд ли Маяковский запомнил, что речь шла о том самом Ахундове, которым он так заинтересовался, будучи в Америке. Да и в самом стихотворении он пишет:

«Неизвестно мне,
в кого я попаду».

В стихотворении он дал красочный образ советского помпадура, но этот образ ничего общего не имел с виновником события, описанного в газете.

Однако такой случай действительно имел место. Какое-то замечание своего спутника по вагону Ахундов воспринял как национальное оскорбление и, не сдержавшись, ударил этого человека.

Газетное сообщение об этом инциденте давало, конечно, основание Маяковскому написать стихотворение, но случай этот ни в коей мере не был характерным для Рухуллы. Сам Ахундов впоследствии говорил, что это был единственный случай в его жизни. Этот случай скорее свидетельствовал о его болезненном национальном самолюбии, потому что в жизни он был очень прост, скромн, вполне интеллигентен и демократичен в обращении с другими. Личное его поведение всегда было безупречным. Рухулла очень долго и тяжело переживал этот случай и стыдился его.

Все, что я пишу хорошего об Ахундове, не только мое личное мнение о нем. Вот как характеризовал Ахундова, например, Серго Орджоникидзе: «Я заявляю самым решительным образом и со всей ответственностью и перед партией, и перед кем угодно, что на челе Ахундова нет ни малейшего пятнышка». С. М. Киров также дал Ахундову высокую оценку: «Рухулла Ахундов — один из лучших и подготовленных азербайджанских марксистов. Пользуется популярностью в массах... и является лучшим литератором. В общежитии хороший товарищ».

ПРИЕЗД В БАКУ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ. ВСТРЕЧИ С КАМО

В мае 1919 года мы получили сообщение из Тифлиса от Закавказского краевого комитета партии, что находящийся там Серго Орджоникидзе намерен пробираться в Москву. Путь в Москву тогда был единственный — через Баку и дальше морем на Астрахань, где держалась Советская власть, руководимая Сергеем Мироновичем Кировым.

В Тифлисе Серго оказался после того, как в январе 1919 года наша 11-я армия, ведя ожесточенные бои на Северном Кавказе с превосходящими силами деникинской «добровольческой» армии, вынуждена была отступить. Основные красноармейские части 11-й армии вместе с Кировым и Левандовским ушли в калмыцкие степи и Астрахань. Другие во главе с Орджоникидзе героически сражались до последнего патрона в предгорьях Кавказа и прошли в горы. В горных аулах Серго сколачивал партизанские отряды из ингушей и осетин, а в начале мая через Кавказский хребет, труднодоступные Хевсурские горы перебрался в Тифлис.

В Баку Серго приехал с женой, Зинаидой Гавриловой, неразлучной своей подругой на фронтах гражданской войны и в дальнейшей жизни. Поженились они еще в якутской ссылке, и близкие их друзья называли ее просто Зиной.

С ними также приехала, направляясь в Москву, жена погибшего бакинского комиссара Алеши Джаридзе — большевичка Варвара Михайловна. Она ехала в Москву, где находились две ее дочери — Елена и Люся, незадолго до падения Советской власти в 1918 году эвакуированные из Баку вместе с женой и младшими детьми Степана Шаумяна.

Приехал с ними и легендарный Камо (С. А. Тер-Петросян), профессиональный революционер, который собирался в Москву, к Ленину. У него было много планов боевых действий, которые он хотел доложить Ленину, чтобы получить его одобрение.

Пребывание Орджоникидзе в Баку было организовано по всем правилам конспирации. Из наиболее проверенных членов Союза молодежи была создана его охрана. На конспиративных квартирах каждый вечер устраивались встречи Серго с узким кругом партийных работников. Мы подробно информировали его о положении дел и о своих планах, ко всему этому он проявил живой интерес. К тому же он хотел собрать побольше свежей информации, чтобы рассказать в ЦК, Ленину, о положении в Баку и во всем Азербайджане.

Для нас тогда очень важно было узнать мнение Орджоникидзе по поводу большого политического спора, который шел у нас с тифлисскими коммунистами по вопросу о государственном устройстве Азербайджана, Грузии и Армении как национальных государств.

Мы выступали, в частности, за признание Азербайджана как национального государства с тем, чтобы он стал государством советским, находящимся в тесной связи и дружественных отношениях с Советской Россией. Мы рекомендовали тифлисским товарищам занять аналогичную позицию в отношении меньшевистской Грузии и дашнакской Армении — двух других буржуазных государств Закавказья. Однако тифлисские члены крайкома, представлявшие партийные организации Грузии и Армении, не были согласны с нами: они были против признания трех национальных государств Закавказья и сохранения их после победы революции как самостоятельных

государств, тесно связанных между собой и с Советской Россией.

Орджоникидзе отнесся к нашему спору с большим вниманием и одобрил нашу позицию. Мы были рады этому, особенно в связи с тем, что он направлялся в Москву и мог там защитить нашу точку зрения.

Серго ввел нас в курс событий, имевших место на Северном Кавказе перед падением Советской власти, и рассказал о тех причинах, которые привели к этим событиям. Все это представляло для нас большой интерес, поскольку мы имели лишь отрывочную информацию.

Я спросил Серго, знали ли грузинские меньшевики, стоявшие в то время у власти, о его пребывании в Тифлисе и не пытались ли его арестовать. Он ответил, улыбаясь, что им, конечно, было известно о его приезде. Курьезным было то, что лидер меньшевиков Ной Жордания, которого Орджоникидзе хорошо знал еще во время царизма, считал нужным кружным путем передать Серго, чтобы он не появлялся на улицах, так как его могут арестовать англичане. Это надо было понять так, что сами меньшевики арестовывать его не собираются, но и препятствовать аресту тоже не будут.

Серго смеялся над жалким положением меньшевистских лидеров «независимого и демократического государства», каким они объявили Грузию. Нам было ясно, что меньшевики, конечно, не из любви к Серго предупреждали его об опасности. Они знали, что Орджоникидзе являлся чрезвычайным комиссаром Советского правительства на юге страны. Они не смели его арестовать, понимая, к каким последствиям это могло привести, и даже стремились подчеркнуть свою «непричастность» к возможному аресту Серго англичанами.

Наши встречи с Серго и другими партийными товарищами происходили главным образом по ночам, с соблюдением больших предосторожностей, на моей нелегальной квартире, где я скрывался после побега из тюрьмы. Один раз мы собирались на конспиративной квартире Каспаровых.

Серго с большим удовлетворением вспоминал то время, когда он впервые прибыл в Баку для партийной работы. Это было в начале 1907 года, тогда ему шел 21-й год. Со всей своей энергией он отдавался тогда партийной работе среди промысловых рабочих, сочетая ее со службой фельдшера медицинского пункта на промыслах Асадулаева. В бурной революционной борьбе бакинского пролетариата Серго получил настоящую большевистскую закалку и всегда хранил теплую привязанность к этому рабочему центру.

Он рассказывал нам тогда, как он, по заданию Ленина, вернувшись из-за границы в Россию, добился созыва в Баку Российского совещания большевистских организаций, которое должно было избрать Организационную комиссию по созыву Пражской партийной конференции. С особым чувством вспоминал об активном участии в этом совещании Степана Шаумяна. На второй день после начала совещания полиции удалось арестовать все руководство бакинских большевиков во главе с Шаумяном: это лишило Шаумяна возможности участвовать в выборах Организационной комиссии и дальше — в работе самой Пражской партийной конференции, где он, однако, был заочно избран кандидатом в члены ЦК партии.

После арестов в Баку, вспоминал Серго, Российское совещание было переведено в Тифлис, где продолжалось на квартире Е. Д. Стасовой. Там-то и было принято решение об Организационной комис-

сии по созыву Пражской конференции и установлен порядок выборов делегатов на эту конференцию. Из Тифлиса Серго возвратился в Париж как полномочный представитель этой Организационной комиссии, а на Пражской конференции выступил с отчетом о проделанной работе, получившей одобрение всех делегатов и особенно Ленина.

Помню, что в ответ на наши вопросы Серго подробно рассказал, как произошло поражение 11-й армии на Северном Кавказе и временное падение там Советской власти в начале 1918 года. При этом Серго говорил, что он имел возможность отступить вместе с 11-й армией в Астрахань, но считал для себя морально невозможным покинуть горские отряды, которые боролись против белогвардейщины. Он решил остаться с ними и возглавить их борьбу. Об этом своем решении он из Владикавказа сообщил телеграммой Ленину.

Чувство скромности не позволяло Серго рассказать тогда нам о том, как было тяжело воевать в горах Ингушетии и перебираться через Кавказский хребет. Но мы и сами хорошо понимали, чего это ему стоило.

В один из вечеров мы устроили встречу Серго с группой азербайджанских социалистов, имевших своих представителей в парламенте. Помню, на этой встрече были: Али Гейдар Караев, Мирза Давуд Гусейнов, Самед Агамалиоглы. Эти товарищи вели большую работу на пользу нашей партии, и мы высоко ее ценили.

Товарищи ознакомили Орджоникидзе с обстановкой в парламенте, в мусаватском правительстве, в районах Азербайджана, рассказали о работе, которую они вели по плану, разработанному совместно с Бакинским бюро краевого комитета партии. Серго был очень доволен этой встречей.

Обсуждали мы с Серго и положение в Ленкорани, где при необычных обстоятельствах установилась Советская власть.

Серго пробыл в Баку четыре дня. 13 июня днем он с группой товарищей отплыл на рыбацком баркасе. Судьбу Серго мы решили доверить Рогову — опытному, отважному моряку, испытанному коммунисту. Надо сказать, что к тому времени мы уже меньше опасались провалов таких перевозок. «Морские экспедиции», руководство которыми возглавлял Довлатов, были поставлены хорошо.

Все же, конечно, мы очень волновались, пока не узнали — более чем через четыре недели, — что путешествие прошло благополучно. Добирались они до Астрахани около десяти дней при штормовой погоде. Такая погода была с точки зрения безопасности наиболее подходящей: денкинские корабли, базировавшиеся в Петровске, укрывались в порту. В тихую погоду нашим лодкам приходилось прятаться от денкинцев в глухих заливах вдоль берегов Закаспия.

Рогов позже рассказывал, что Серго, подверженный морской болезни, очень тяжело переносил шторм. Это плавание настолько его измотало, что он даже думал высадиться на берег, но товарищи убедили его, что это невозможно: на берегу хозяйничали белогвардейцы.

Раза два был у меня в те дни Камо. Тогда я впервые с ним близко познакомился, хотя и до этого знал уже о некоторых его героических делах и о том доверии, которым он пользовался у Ленина.

В жизни Камо был очень скромным человеком, держался просто, о себе рассказывать не любил.

При нашей встрече Камо очень интересовался тем, как нам удалось организовать Советскую республику на Мугани. Он все сомневался: «Как это вы доверяете всем этим товарищам, — ведь они находятся в окружении белогвардейцев, могут измениться, могут оказаться предателями, могут струсить».

В одной из бесед он даже сказал мне: «Хочешь, я останусь здесь, не поеду с Серго? Пошлите меня в Ленкорань для проверки руководящих кадров». И предложил такой план. Он поедет в Ленкорань нашим уполномоченным с группой товарищей, но переоденется в белогвардейскую форму. Ночью, неожиданно, он захватит ленкоранских руководящих товарищей и поведет их якобы на расстрел. Если кто из них струсит, начнет просить пощады или выдавать, то он их расстреляет, а тех, кто будет держаться стойко, оставит; тогда, говорил Камо, можно абсолютно быть уверенным, что люди прошли проверку и не подведут.

Я не хотел затевать с ним спора, хотя такой «метод» проверки людей отвергал начисто. Я сказал ему: «Всех этих товарищей я хорошо знаю. Мы доверяем им полностью, тем более что уже было немало случаев, когда они проявили себя боевыми преданными большевиками. К тому же такой метод проверки не вызывается необходимостью и был бы оскорбительным для наших товарищей».

Камо был явно разочарован и очень жалел, что ему не удалось выполнить свой план. Помню, что он рассказывал мне тогда о многих своих планах, которые собирался предложить Ленину. Камо хотел иметь свой отряд для диверсионной работы в тылу Деникина. Он собирался взорвать штаб Деникина и его самого: у него был готовый план этой «операции». Камо сказал мне по этому поводу: «Еду в Москву за поддержкой и благословением».

Камо был великим энтузиастом. Все время он горел желанием что-то сделать, в чем-то помочь, имел на сей счет массу планов, часто фантастических по своей смелости и дерзости, но для него все они были вполне реальными.

Хотя в тот раз план его я не принял, мы остались хорошими друзьями. Да, собственно говоря, Камо тогда со мной много и не спорил. Он был глубоко убежден в правильности своего предложения. Я его не переубедил. Но он был искренне огорчен тем, что я не понял и не принял его предложения.

Впоследствии, когда Камо получил в Москве согласие на организацию отряда для проведения диверсий против Деникина и его штаба, он подобрал нужных ему людей, и вот тогда, желая проверить всех этих людей, он применил к ним тот самый «метод», который я отверг.

Специальная группа близких Камо людей, переодетая в форму белогвардейских солдат и офицеров, неожиданно напала где-то в лесу на его отряд во время учебных занятий. Бойцы отряда были разоружены и поставлены в один ряд — якобы для расстрела тех, кто из них окажется коммуни-

стом. Тем же, кто «раскается» или объявит себя противником коммунистов, была обещана пощада.

Однако в отряде трусов не нашлось. Только один заявил, что является агентом Пилсудского, отпорол подкладку френча и вытащил оттуда соответствующий документ.

Камо был очень доволен, что ему удалось таким образом обнаружить предателя. Потом, рассказав, в чем дело, Камо стал обниматься с остальными людьми из отряда как с истинными друзьями. На одного из них вся эта «операция» так сильно психически подействовала, что он тяжело заболел: это был Федор Аллилуев, сын видного большевика, Сергея Аллилуева.

Когда Ленину стал известен этот «метод» проверки людей, он очень рассердился на Камо.

В конце сентября 1919 года мы получили от С. М. Кирова шифрованное письмо, в котором он сообщал, что к нам предполагается приезд товарища Камо с группой боевиков более чем в 10 человек, с сорока пудами динамита — для организации взрыва деникинского штаба. Наша задача состояла в том, чтобы в течение ближайших двух недель провести всю необходимую подготовку, обеспечивающую безопасный прием этой группы. Обещанию, мы очень обрадовались этому сообщению и сейчас же взялись за дело. Оказалось, что все ранее применявшиеся пути и средства были непригодны для приема такой большой группы и особенно для такого большого количества взрывчатки.

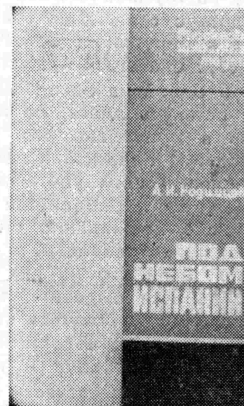
Новый план был предложен членом краевого комитета партии рабочим Чикаревым, который вместе с Довлатовым занимался у нас подобными делами. Он имел большие связи с рыбаками, и план его заключался в следующем: в 40 верстах южнее Баку был островок под названием Булло, где никто не жил, лишь иногда рыбаки ловили там рыбу. Чикарев наймет лодку и будет рыбачить у этого островка, который должен стать местом высадки отряда Камо. Его людей, переодетых в рыбацкую одежду, придется переотправить группами, а динамит спрятать на острове с тем, чтобы потом по частям доставить в Баку.

Об этом плане мы сообщили в Астрахань.

Однако приезд Камо задержался. Мы не знали тому причин и беспокоились. Причина задержки мне стала известна лишь в октябре, когда я приехал в Астрахань. Об этом я тогда же и написал товарищам в Баку: «Группа Камо задержалась вследствие мамонтовского рейда. Но есть сведения, что они выезжают из Москвы. Их нужно ждать».

Вскоре вся группа Камо была встречена на этом острове и благополучно доставлена в Баку. Динамит же попал в руки полиции. Но через доверенных лиц, связанных с полицией, нашим товарищам все же удалось этот динамит спасти и вернуть его себе полностью.

(Продолжение следует.)



«Он вспомнил рожи и деревья, которые росли здесь в его детстве, сияющие летние дни, волнение зноя и трепетание теней древесных листьев на траве. В природе и в мире все это было и исчезло, но в нем, в человеке, ничто не забудется, пока он жив. Старик, варивший себе ужин у деревянного сельского моста, и женщина-хромолыдка, которой Аким не успел принести в подарок шерстяной полшалак, давно отжили на свете, но они существуют в чувстве и памяти старого Акима как любимые и бессмертные...»

По этим строкам сразу узнаешь Андрея Платонова так же, как мы сразу узнаем стихи Пушкина, Некрасова, прозу Толстого и Бунина.

От прозы Платонова исходит энергия мужественной доброты — доброты разумной и сильной. Она сильнее черствости и эгоизма. Под влиянием добрых и сердечных людей герой рассказа «Свет жизни» Аким и сам становится добрее и лучше. Одиноким старик-музыкант из рассказа «Путешествие воробья» «снучал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Там звуки его скрипки раздавались в воздухе, в сумраке, и хоть изредка они доходили до глубины человеческого сердца, трогая его нежной и мужественной силой, увлекавшей жить вышей, прекрасной жизнью...»

У Андрея Платонова есть свои излюбленные темы. Одной из них была тема сердечности и по-

нимания между людьми. Она звучит во многих его вещах. «Я помню их, ты помни меня, а тебя запомнят, кто после тебя народится, те будут неизвестные — еще лучше тебя, — говорил старый Аким принявшей его как родного Наде Иванушкиной. — Так и будет жить один в другом как один свет». Платонова можно сравнить с военным связистом. Его работа требует мужества и громадного напряжения, но она необходима людям. Однако это сравнение, разумеется, не может отразить всего платоновского своеобразия. Платонов глубже, шире, разнообразнее всех написанных о нем обобщений и формулировок. Да к тому же рано этим заниматься — еще далеко не все вещи его опубликованы.

Я затронул только одну платоновскую черту, которая особенно ярко проявилась в цитированных здесь рассказах для детей, выпущенных в свет издательством «Советская Россия».

И. ДМИТРИЕВ

Читаешь стихи современника и слышишь голоса старых русских поэтов, радуешься узнаванию, встрече. Вот белый снег на Черной речке — свидетель огромного народного горя 1837 года. А вот и пятигорская страница молниеносной жизни поручика Михаила Лермонтова. Читаем дальше — и над нами мчатся те самые тучи, за которыми «невидимкою луна». Заходим в сад... «плакали те соловьи». Их плач влечет нас уже к Александру Блоку, и в глубине этого

соловиного сада — дом, и в «этом доме, как сны золотые...». И желтеющий лист осенней Родины не иначе как лист осеннего Болдина, воспринятый как «библиографическая редкость». И заунывный ветер среднерусского предзимья уже вовсе не ветер, и даже не ветер, а «плачет демон пресловутый, любимый адрес потеряв».

Все это, вытасченное на поверхность рецензии, видно всем. Это принцип простых и ясных слов, намеренно декларированный и проводимый в творческую жизнь Владимиром Соколовым («Снег в сентябре»). Изд-во «Советская Россия».

Свободное и легкое поэтическое дыхание, пластика речи, естественность и достоверность интонации — все это, в сущности, не самое главное. Речь идет о гораздо более важном. Стала ли поэтическая классика русского девятнадцатого столетия частью исторической памяти нашего современника, поэта Владимира Соколова? Да, стала. И вот почему.

Здесь не только «дивный слепок с чужого, населенный своим» (хотя и без этого не обойтись). Усвоен не только внешний орнамент великой постройки. Вместе с ней пришел и стал своим ее дух — характер рыцарский, благородный. И тогда за словом-жестом непременно последует слово-поступок, а то и просто поступок, деяние, подвиг, наконец:

Есть прямое указание,
Чтоб ее нетленный свет
Защищал стихом и
для н ю
Божьей милостью поэт.

(Это о Наталье Николаевне Гончаровой.)

Хочу я любовью
неустной
Служить им до крайнего
дня.
Как звездам, как девочке
русой,
Которая возле меня.

(«Им» — это всем без исключения приметам и реальностям Родины.)

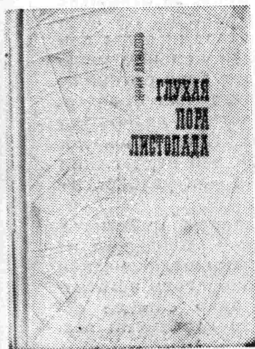
Вот пример, когда традиция уже не просто инерция хорошо усвоенного стиля, а хорошо работающая историческая память: «все уходящее уходит в будущее».

Вадим РАБИНОВИЧ

Книга генерал-полковника А. Родимцева «Под небом Испании» (изд-во «Советская Россия») — воспоминания участника гражданской войны в Испании.

Автор воевал под Гвадалахарой, Гвадаррамой, Мадридом, Теруэлем. Он рассказывает о себе, об окружающих его людях, о боевой жизни, о том, как чувство братской солидарности и ненависти к фашизму объединило людей, приехавших из разных стран мира на помощь испанскому народу. Есть в книге страницы, которые читаются с особым волнением, — о советских добровольцах, сражавшихся в Испании.

Воспоминания «Под небом Испании» привлекают читателя не только широтой охвата действительности и своей моральной проблематикой. Они интересны также пристальным вниманием к повседневной военной жизни, тем, что приоткрывают еще одну, обыкновенную сторону героической испанской эпопеи.



почти всегда веско аргументирована. Она вбирает в себя раздумья не только сегодняшние, но и вчерашние и тем самым дает проекцию в будущее:

«Должно быть, и истинно нас приблизит понимание диалектики литературного развития... Литература в целом шла к синтетическому изображению общего хода, масштабности событий и роли в них человека во всем его индивидуальном своеобразии... Другой разговор, что это движение осуществлялось не автоматически, а в творческом соревновании различных художников. Ведь только так и протекает всегда реальный литературный процесс».

Л. СТОРОЖАКОВА

...Висенте Пертегас до войны был поэтом. В двадцать пять лет он получил национальную премию Испании за сборник лирических стихов. Но началась война, и поэт стал солдатом. И вот теперь он лежал на операционном столе. Нужна была срочная пластическая операция. Но поблизости не нашлось ни одного хирурга. Были лишь два дантиста и статья во французском медицинском журнале с описанием аналогичной операции. Это был риск, но уникальная в своем роде операция началась. Один из дантистов медленно читал статью. Висенте, корчась от боли, переводил. Второй дантист орудовал инструментами. Операция прошла успешно.

...Книга А. Родимцева — живой памятник людям, борющимся за свободу Испании.

Т. НИКОЛАЕВА

В романе Юрия Давыдова «Глухая пора листопада» (изд-во «Молодая гвардия»), в историческом повествовании о тяжелом начале восьмидесятых годов прошлого века, о трагической борьбе обезглавленной «Народной Воли», — в этом романе среди прочих героев первого плана есть двое: влиятельный народоволец Сергей Дегаев и агент охранки Яблонский. Они ни разу не встречаются в романе друг с другом, а кончается книга так: «Несколько минут спустя из квартиры номер тринадцать сользнул в лестничный сумрак Яб-

лонский. Он же Сергей Петрович Дегаев». Два персонажа, боевик и полицейский агент, оказываются одним лицом.

Чем не детективный сюжет? Но последняя фраза не разгадка. Даже для тех, кто не слышал имени одного из азефов русского революционного движения, Дегаева, двойная игра этого провокатора становится ясной к середине романа. Ну, может, чуть позже. Во всяком случае, финальная фраза не рассчитана на эффект. Сюжетное «раздвоение личности» не приманка для любителя приключений, а художественное выражение мысли писателя. Безжалостный и тонкий анализ неизбежного раздвоения, распада души человека, струсившего однажды и решившего вести двойную игру, уговаривающего себя, что так нужно для дела, и все больше вязнущего в предательстве, — достоинство романа Юрия Давыдова.

После горьковского Клима Самгина уже, кажется, ни у кого не возникает сомнения, насколько правомерна в центре романа «история пустой души» (в данном случае история души опустошающейся). Дело не в выборе героя, а в ясности и значительности идеала писателя.

Всего несколько страниц в романе посвящено Вере Фигнер. Но они нравственный центр его.

Два разительных контраста, символы человеческого падения и человеческого взлета: смятая тайным страхом маска Дегаева и чистое бледное лицо Веры Фигнер.

Ст. РАССАДИН

Если бы книге В. Озерова «Полвека советской литературы» (изд-во «Советский писатель») понадобился эпиграф, им могли бы стать слова Луначарского: «Пролетариат идет во всем величии своих полномочий судить живых и мертвых художников».

В предисловии к ней автор пишет: «Когда мы говорим «литература», перед мысленным взором встают тяжелые полки с книгами: десятки, сотни, тысячи названий. В книгах — художественная летопись жизни и борьбы человечества, история его духовных исканий, великих драм и свершений. Но художественная литература — это не только книги, а и те, кто создает их».

Литература создается людьми из плоти и крови, нашедшими себя в этой труднейшей профессии. Поэтому для В. Озерова одинаково важно увидеть «лес за деревьями» и рассмотреть «деревья в лесу».

Факт появления этой работы важен потому, что у нас не так много произведений подобного, обобщающего жанра. Здесь и обзор вершин советской литературы за 50 лет и краткие, емкие характеристики многих из них. Здесь и первые строчки в книге «метрических записей» советской литературы и неожиданные сопоставления, точные детали и просто критические зарисовки.

Плодотворна авторская позиция в оценке литературной борьбы прошлого. «Нельзя сводить литературный процесс к борьбе групп, но нельзя и игнорировать значение этой борьбы, ее остроту». Позиция критика

Появление еще одной, после «России под властью царей», книги С. М. Степняка-Кравчинского («В лондонской эмиграции»). Составление, перевод и комментарии М. Е. Ермашевой, «Наука» не может не порадовать читателей, успевших, по существу, открыть для себя заново и полностью этого большого писателя и публициста. Новая книга, включившая в себя две работы Степняка — «Русская грозная туча» и «Русское крестьянство» (том I), обширную переписку, а также воспоминания о писателе зарубежных авторов, как и предыдущая, переведена с английского. Вынужденный после убийства шефа жандармов генерала Мезенцова эмигрировать из России, Степняк-Кравчинский жил сначала в Женеве, затем в Италии и, наконец, в Англии.

Оказавшись далеко от родины, Степняк-Кравчинский не мог ни одного мгновения провести без дела, направленного на достижение свободы для России. Переписка, представленная в книге, дает возможность познакомиться с той огромной работой, которую Степняк проделал, создавая в Англии и Америке «Общества друзей русской свободы», организовав журнал «Свободная Россия». Ему неоднократно приходилось выступать против легенд о русских «нигилистах» как об анархистах, стремящихся все разрушить и уничтожить. «Жизнь, — писал Степняк-Кравчинский, — не имеет никакой ценности, если у тебя на глазах подвергается мучениям горячо любимый тобой народ».

Г. МАКАРОВ



«Я знаю, что присуждение премии ЦК ВЛКСМ филологу Сергею Аверинцеву за серию работ о Плулархе у многих вызвало некоторое недоумение. Совершенно понятно, когда молодого ученого удостоивают премии за изобретение нового станка, за открытие нового полимера. Понятно, когда награждают за участие в освоении целины. Но Плуларх? Может быть, книга об этом давно умершем писателе и представляет интерес для специалиста, может быть, и выполнена она, на самом высоком профессиональном уровне, но при чем здесь все-таки комсомол? Ведь комсомол, по самой идее этой организации, обязан прежде всего заботиться о решении современных, актуальных проблем, о настоящем и будущем. А тут история, прошлое, да еще двухтысячелетней давности...

С недоумением такого рода я сталкивался уже не раз и не два. И мне кажется очень важным его развеять. Насколько я понимаю, почва, на которой это недоумение возникает, — это несколько наивное и поверхностное представление об «актуальности» и «современности».

Поясню свою мысль. Наш век не без основания называют «веком кибернетики», «веком освоения космоса», «веком научно-технической революции». В каждом из этих определений есть, несомненно, свой смысл и резон. Однако успехи человеческой мысли в деле научно-технического прогресса — и именно потому, что они столь эффективны и ярки, — частенько начинают загораживать от нашего взгляда одно важное обстоятельство. И загораживают настолько, что мы перестаем видеть за деревьями лес.

Мы начинаем упускать из виду, что наш век — это век небывалых и беспрецедентных по своим масштабам и последствиям сдвигов в области отношений между людьми, в сфере общественно-человеческих взаимоотношений. Происходит грандиозный исторический переворот в самой «сущности человека», которая, по словам Карла Маркса, заключается как раз в совокупности всех общественных отношений.

История последних ста лет блестяще подтвердила этот глубокий афоризм. Действительно, проблема всех проблем находится именно тут. Сможем ли мы, жители планеты Земля, организовать и наладить свои собственные взаимоотношения таким образом, чтобы успехи науки и техники шли на пользу, а не во вред людям, чтобы они служили увеличению количества радости и счастья и не грозили бы человечеству непредвиденными трагическими последствиями? Ведь ясно, что чем могущественнее становятся технические средства прогресса, связанные с успехами ядерной физики и химии, кибернетики и молекулярной биологии, тем большая ответственность ложится на плечи Человека за их использование. Чем могущественнее становятся орудия покорения природы, тем большие беды могут они натворить в неумелых, а тем более в недобросовестных руках.

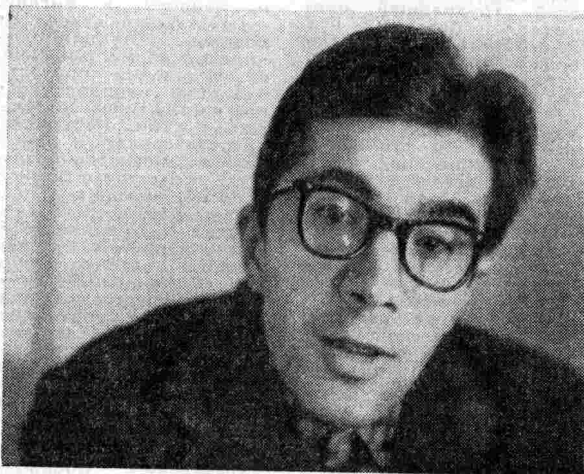
А отсюда прямо вытекает, что интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие человека — причем КАЖДОГО человека, а не только некоторых избранных счастливых — становится центральной проблемой нашего времени. Именно поэтому так заметно повышается общественный интерес к гуманитарным наукам. Прежде всего к истории. К Истории с большой буквы. К Истории в самом глубоком и широком смысле этого слова, включающей в себя все сферы материальной и духовной культуры.

Люди изучают свое прошлое вовсе не ради праздного любопытства, а именно ради

Сергей Аверинцев,

лауреат премии Ленинского
комсомола

ПОХВАЛЬНОЕ



Начну с античного анекдота. В одном греческом городе надо было поставить статую; из-за заказа на эту статую спорили два скульптора, и народное собрание должно было рассудить соискателей. Первый мастер вышел к народу и произнес чрезвычайно убедительную речь о том, как должна выглядеть упомянутая статуя. Второй неловко влез на возвышение для ораторов и заявил: «Граждане! То, что вот этот наговорил, я берусь сделать». Соль анекдота в том, что из обоих мастеров доверять лучше второму. И впрямь, разве тот, кто слишком охотно делает свое ремесло темой для рассуждений, не оказывается чаще всего работником весьма сомнительного свойства? Как говорить о работе? Пока она не завершена, ее страшно «сглазить»; когда она закончена, ее нужно выбросить из головы и думать только о следующей...

Едва ли нужно объяснять, что человеку, попавшему в ситуацию снискавшего награду, особенно неловко вести речь о той самой работе, которая послужила причиной названной ситуации и недостатки которой ему — увы! — так отчетливо видны.

того, чтобы понять самих себя, понять те задачи и проблемы, перед которыми их поставила — хотя бы они того или не хотят — История. Чтобы ясно понять, куда идти дальше, нужно осознать, в какой точке пути мы находимся, нужно понять, какие проблемы Историей уже решены, а какие еще нет. Именно по этой причине Маркс, Энгельс и Ленин придавали такое огромное значение изучению Истории человечества — изучению того самого процесса, который создал нас самих, сформировал наше собственное сознание со всеми его проблемами и средствами их решения.

Если «актуальность» и «современность» понимать так, то многое начнет выглядеть по-иному. В том числе и Плутарх. История не есть только «прошлое». Это «прошлое» живет в нас самих, определяет наши мысли и поступки — часто неведомо для нас самих. Оно оживает в каждом из нас снова и снова. Поэтому чем глубже мы знаем это «прошлое», тем лучше мы понимаем самих себя. Если ты не знаешь истории, ты вынужден повторять ее опыт (и нередко горький!) на своей собственной шнуре. Это тоже старая, но вполне актуальная мысль.

Исходя из этих оснований, авторитетная комиссия при ЦК ВЛКСМ и решила присудить одну из высоких премий Сергею Аверинцеву. Разумеется, в расчет было принято и высокое профессиональное мастерство, с которым выполнены его исследования, и широкая эрудиция молодого ученого, и его умение владеть пером. Но самое главное, что определило выбор, — это умение С. Аверинцева **ВИДЕТЬ ИСТОРИЮ ГЛАЗАМИ НАШЕГО СОВРЕМЕННОГО**, глазами человека XX столетия. Столетия сложного, переходного, переломного.

Очень хочется подчеркнуть одно важное достоинство работ С. Аверинцева: их подлинно научную объективность. В них нет того искусственного осовременивания прошлого, в которое легко впасть, если думать, что нашу современность ты понимаешь уже до конца, что «настоящее» тебе ясно уже до конца. Тогда и в истории ты будешь искать лишь «примеры», подтверждающих твои мнения о наших днях, твой заранее данный взгляд на события, чтобы вызвать у читателя нужную тебе «ассоциацию». На этот легкий путь Сергей Аверинцев не встает нигде. Его Плутарх — это именно Плутарх, неповторимый человек СВОЕЙ неповторимой эпохи. И именно эта историческая конкретность портрета человека и его эпохи дает читателю гораздо больше поводов и материала для раздумий о наших днях, чем прямые и внешне эффектные параллели и ассоциации. Это — огромное достоинство подлинного ученого-историка.

Было бы очень хорошо, если бы Сергей Аверинцев написал свою книгу для еще более широкого круга читателей. Будет ли это книга о Плутархе или о Сократе, о раннем христианстве или о Возрождении, я уверен, что она будет с интересом и пользой прочтена нашей молодежью, которая должна овладеть культурой прошлого всерьез, ибо «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» (В. И. Ленин).

Вот все, что могу сказать я о смысле и качестве научных работ Сергея Аверинцева. Остальное он, очевидно, гораздо лучше расскажет сам.

Эвальд ИЛЬЕНКОВ, философ.

СЛОВО ФИЛОЛОГИИ

Поэтому для начала я скажу о другом, о том, чему я могу радоваться без всякого смущения и без всяких оговорок. Мне приятно увидеть работу по классической филологии в одном почетном списке с трудами инженеров и химиков, геологов и экономистов — людей практического, конкретного дела. Ибо этим признано, что занятие текстами двухтысячелетней давности тоже есть дело, настоящее и нужное дело.

Что такое филология и зачем ею занимаются?

Слово «филология» состоит из двух греческих корней. «Филейн» означает «любить». «Логос» означает «слово», но также и «смысл»: смысл, данный в слове и неотделимый от конкретности слова. Филология занимается «смыслом» — смыслом человеческого слова и человеческой мысли, смыслом культуры, — но не нагим смыслом, как это делает философия, а смыслом, живущим внутри слова и одушевляющим слово. Филология есть искусство понимать сказанное и написанное. Поэтому в область ее непосредственных занятий входят язык и литература. Но в более широком смысле человек «говорит», «вы-

сказывается», «окликает» своих товарищей по человечеству каждым своим поступком и жестом. И в этом аспекте — как существо, создающее и использующее «говорящие» символы, — берет человека филология. Таков подход филологии к бытию, ее специальный, присущий ей подступ к проблеме человеческого. Она не должна смешивать себя с философией; ее дело — кропотливая, деловитая работа над словом, над текстом. Слово и текст должны быть для настоящей филологии существенней, чем самая блистательная «концепция».

Возвратимся к слову «филология». Поразительно, что в ее имени фигурирует корень глагола «филейн» — «любить». Это свойство своего имени филология делит только с философией («любословие» и «любомудрие»). Филология требует от человека, ею занимающегося, какой-то особой степени, или особого качества, или особого модуса любви к своему материалу. Понятно, что дело идет о некоей очень несентиментальной любви, о некоем подобии того, что Спиноза называл «интеллектуальной любовью». Но разве математикой или физикой можно зани-

маться без «интеллектуальной любви», очень часто перерастающей в подлинную, всепоглощающую страсть? Было бы нелепо вообразить, будто математик меньше любит число, чем филолог — слово, или, лучше сказать, будто число требует меньшей любви, нежели слово. Не меньшей, но существенно иной. Та интеллектуальная любовь, которой требует — уже самым своим именем! — филология, не выше и не ниже, не сильнее и не слабее той интеллектуальной любви, которой требуют так называемые точные науки, но в чем-то качественно от нее отличается. Чтобы уразуметь, в чем именно, нам нужно поближе присмотреться уже не к наименованию филологии, а к ней самой. Притом мы должны отграничить ее от ложных ее подобий.

Существуют два, увы, весьма распространенных способа придавать филологии по видимости актуальное, животрепещущее, «созвучное современности» обличье. Эти два пути непохожи один на другой. Более того, они противоположны. Но в обоих случаях дело идет, по моему глубокому убеждению, о мнимой актуальности, о мнимой жизненности. Оба пути отдаляют филологию от выполнения ее истинных задач перед жизнью, перед современностью, перед людьми.

Первый путь я позволил бы себе назвать методологическим панибратством. Строгая интеллектуальная любовь подменяется более или менее сентиментальным и всегда поверхностным «сочувствием», и все наследие мировой культуры становится складом объектов такого сочувствия. Так легко извлечь из контекста исторических связей отдельное слово, отдельное изречение, отдельный человеческий «жест» и с торжеством продемонстрировать публике: смотрите, как нам это близко, как нам это «созвучно»! Все мы писали в школе сочинения: «Чем нам близок и дорог...»; так вот, важно понять, что для подлинной филологии любой человеческий материал «дорог» — в смысле интеллектуальной любви — и никакой человеческий материал не «близок» — в смысле панибратской «короткости», в смысле потери временной дистанции.

Освоить духовный мир чужой эпохи филология может лишь после того, как она честно примет к сведению отдаленность этого мира, его внутренние законы, его бытие внутри самого себя. Слов нет, всегда легко «приблизить» любую старину к современному восприятию, если принять предпосылку, будто во все времена «гуманистические» мыслители имели в принципе одинаковое понимание всех кардинальных вопросов жизни и только иногда, к несчастью, «отдавали дань времени», того-то «недопоняли» и того-то «недоучли», чем, впрочем, можно великодушно пренебречь... Но это ложная предпосылка. Когда современность познает иную, минувшую эпоху, она должна остерегаться проецировать на исторический материал себя самое, чтобы не превратить в собственном доме окна в зеркала, возвращающие ей снова ее собственный, уже знакомый облик. Долг филологии состоит в конечном счете в том, чтобы помочь современности познать себя и оказаться на уровне своих собственных задач; но с самопознанием дело обстоит не так просто даже в жизни отдельного человека. Каждый из нас не сможет найти себя, если он будет искать себя и только себя в каждом из своих собеседников и со товарищей по жизни, если он превратит свое бытие в монолог. Для того, чтобы найти себя в нравственном смысле этого слова, нужно преодолеть себя. Чтобы найти себя в интеллектуальном смысле слова, то есть познать себя, нужно су-

меть забыть себя и в самом глубоком, самом серьезном смысле «присматриваться» и «прислушиваться» к другим, отрешаясь от всех готовых представлений о каждом из них и проявляя честную волю к непредвзятому пониманию. Иного пути к себе нет. Как сказал философ Генрих Якоби, «без «ты» невозможно «я» (сравни замечание в Марксовом «Капитале» о «человеке Петре», который способен познать свою человеческую сущность лишь через вглядывание в «человека Павла»). Но так же точно и эпоха сможет обрести полную ясность в осмыслении собственных задач лишь тогда, когда она не будет искать эти ситуации и эти задачи в минувших эпохах, но осознает на фоне всего, что не она, свою неповторимость. В этом ей должна помочь история, дело которой состоит в том, чтобы выяснять, «как оно, собственно, было» (выражение немецкого историка Ранке). В этом ей должна помочь филология, вникающая в чужое слово, в чужую мысль, слагающаяся понять эту мысль так, как она была впервые «помыслена» (это никогда невозможно осуществить до конца, но стремиться нужно к этому и только к этому). Непредвзятость — совесть филологии.

Люди, стоящие от филологии далеко, склонны усматривать «романтику» труда филолога в эмоциональной стороне дела («Ах, он просто влюблен в свою античность!..»). Верно то, что филолог должен любить свой материал — мы видели, что об этом требовании свидетельствует само имя филологии. Верно то, что перед лицом великих духовных достижений прошлого восхищение — более по-человечески достойная реакция, чем прокурорское умничанье по поводу того, чего «не сумели уместь» несчастные старики. Но не всякая любовь годится как эмоциональная основа для филологической работы. Каждый из нас знает, что и в жизни не всякое сильное и искреннее чувство может стать основой для подлинного взаимопонимания в браке или в дружбе. Годится только такая любовь, которая включает в себя постоянную, неутомимую волю к пониманию, подтверждающую себя в каждой из возможных конкретных ситуаций. Любовь как ответственная воля к пониманию чужого — это и есть та любовь, которой требует этика филологии.

Поэтому путь приближения истории литературы к актуальной литературной критике, путь нарочитой «актуализации» материала, путь нескромно-субъективного «вчувствования» не поможет, а помешает филологии исполнить ее задачу перед современностью. При подходе к культуре прошлого мы должны бояться соблазна ложной понятности. Чтобы по-настоящему ощутить предмет, надо на него натолкнуться и ощутить его сопротивление. Когда процесс понимания идет слишком беспрепятственно, как лошадь, которая порвала соединявшие ее с телегой постромки, есть все основания не доверять такому пониманию. Всякий из нас по жизненному опыту знает, что человек, слишком легко готовый «вчувствоваться» в наше существование, — плохой собеседник. Тем более опасно это для науки. Как часто мы встречаем «интерпретаторов», которые умеют слушать только самих себя, для которых их «концепции» важнее того, что они интерпретируют! Между тем стоит вспомнить, что само слово «интерпретатор» по своему изначальному смыслу обозначает «толмача», то есть перелазгателя в некотором диалоге, изъяснителя, который обязан в каждое мгновение своей изъясняющей речи продолжать неукуснительно прислушиваться к речи изъясняемой.

Но наряду с соблазном субъективизма существует и другой, противоположный соблазн, другой ложный путь. Как и первый, он связан с потребностью пред-

ставить филологию в обличье современности. Как известно, наше время постоянно ассоциируется с успехами технического разума. Сентенция Слуцкого о посрамленных лириках и торжествующих физиках — едва ли не самое затасканное из ходовых словечек последнего десятилетия. Герой эпохи — это инженер и физик, который вычисляет, который проектирует, который «строит модели». Идеал эпохи — точность математической формулы. Это приводит к мысли, что филология и прочая «гуманитария» сможет стать современной лишь при условии, что она примет формы мысли, характерные для точных наук. Филолог тоже обязывается вычислять и строить модели. Эта тенденция выявляется в наше время на самых различных уровнях — от серьезных, почти героических усилий преобразовать глубинный строй науки до маскарадной игры в математические обороты. Я хотел бы, чтобы мои сомнения в истинности этой тенденции были правильно поняты. Я менее всего намерен отрицать заслуги школы, обозначаемой обычно как «структурализм», в выработке методов, безусловно оправдывающих себя в приложении к определенным уровням филологического материала. Мне и в голову не придет дикая мысль высмеивать стиховеда, ставящего на место дидактической приблизительности в описании стиха точную статистику. Поверять алгеброй гармонию — не выдумка человеконенавистников из компании Сальери, а закон науки. Но свести гармонию к алгебре нельзя. Точные методы — в том смысле слова «точность», в котором математику именуют «точной наукой», — возможны, строго говоря, лишь в тех вспомогательных дисциплинах филологии, которые не являются для нее специфическими. Филология, как мне представляется, никогда не станет «точной наукой»: в этом ее слабость, которая не может быть раз и навсегда устранена хитрым методологическим изобретением, но которую приходится вновь и вновь перебарывать напряжением научной воли; в этом же ее сила и гордость. В наше время часто приходится слышать споры, в которых одни требуют от филологии объективности точных наук, а другие говорят о ее «праве на субъективность». Мне кажется, что обе стороны неправы.

Филолог ни в коем случае не имеет «права на субъективность», то есть права на любование своей субъективностью, на культивирование субъективности. Но он не может оградиться от произвола надежной стеной точных методов, ему приходится встречать эту опасность лицом к лицу и преодолевать ее. Дело в том, что каждый факт истории человеческого духа есть не только такой же факт, как любой факт «естественной истории», со всеми правами и свойствами факта, но одновременно это есть некое обращение к нам, молчаливое окликанье, вопрос. Поэт или мыслитель прошедшего знают (вспомним слова Баратынского):

И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Мы — эти читатели, вступающие с автором в общение, аналогичное (хотя никоим образом не подобное) общению между современниками («...И как нашел я друга в поколеньи»). Изучая слово поэта и мысль мыслителя прошедшей эпохи, мы разбираем, рассматриваем, расчленим это слово и эту мысль, как объект анализа; но одновременно мы позволяем помыслившему эту мысль и сказавшему это слово апеллировать к нам и быть не только объектом, но и партнером нашей умственной работы. Предмет филологии составлен не из вещей, а из слов, знаков, из символов; но если вещь только позволяет, чтобы

на нее смотрели, символ и сам, в свою очередь, «смотрит» на нас. Великий немецкий поэт Рильке так обращается к посетителю музея, рассматривающему античный торс Аполлона: «Здесь нет ни единого места, которое бы тебя не видело. — Ты должен изменить свою жизнь» (речь в стихотворении идет о безголовом и, стало быть, безглазом торсе: это углубляет метафору, лишая ее поверхностной наглядности).

Поэтому филология есть «строгая» наука, но не «точная» наука. Ее строгость состоит не в искусственной точности математизированного мыслительно-аппарата, но в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождаящем возможности человеческого понимания. Одна из главных задач человека на земле — понять другого человека, не превращая его мыслью ни в поддающуюся «исчислению» вещь, ни в отражение собственных эмоций. Эта задача стоит перед каждым отдельным человеком, но и перед всей эпохой, перед всем человечеством. Чем выше будет строгость науки филологии, тем вернее сможет она помочь выполнению этой задачи. Филология есть служба понимания.

Вот почему ею стоит заниматься.

Как случилось, что я занялся именно Плутархом — греческим писателем и популярным философом, который родился около 46 года нашей эры, написал знаменитые биографии греческих и римских героев и великое множество других сочинений и окончил свой жизненный путь в 20-е годы II века?

Мой выбор состоялся, когда я был студентом второго курса Московского университета по отделению классической филологии. К этому времени мне было ясно для начала одно: что я буду заниматься не Афинами времен Софокла и Фидия или Платона и Демосфена, не Римом времен Вергилия и Горация, а куда более скромной — и куда менее изученной! — закатной порой древнегреческой культуры. В ходовых курсах по истории античной литературы или античной философии до поздней античности едва «доходят», чтобы отделаться лаконичной характеристикой этой поры всеобщего упадка и развала. Но мне поздняя античность казалась временем, достойным самого живого исследовательского любопытства. Есть «великие» эпохи, которым дано запечатлеть свои устремления в четких и завершенных формах мысли, жизни, искусства: эти эпохи принято называть классическими. Но есть другие эпохи, на долю которых выпадает черновая работа по «демонтажу» старых, исчерпавших свой смысл форм творчества — и подготовительная работа по нащупыванию новых форм, новых возможностей. Эти эпохи принято называть эпохами упадка. Я думаю, что справедливее называть их эпохами перехода. Они менее «красивы», чем классические эпохи, но едва ли беднее их.

(В скобках замечу, что за истекшее время не разочаровался в поздней античности. Закончив работу над Плутархом, я ушел еще дальше от античной классики — к IV—VI векам, когда античность уже перетекала в средневековье.)

Итак, я был студентом второго курса, и мне предстояло выбрать тему для курсовой работы следующего года. Моим руководителем был профессор Сергей Иванович Радциг, прошедшей осенью, к глубокому прискорбию своих многочисленных учеников, скончавшийся. Он предложил мне на выбор несколько авторов, и я остановился на Плутархе. Я

боюсь, что первое из руководивших мной соображений горько разочарует читателя своей прозаичностью, и все же прошу отнестись к нему серьезно: от сочинений Плутарха много дошло. Правда, сохранившиеся тексты составляют едва ли половину всего, что писал неутомимый херонеец, но их все же достаточно, чтобы наполнить дюжину томиков знаменитой «тейбнеровской» серии. Меня привлекала перспектива окунуться не в «концепции», а в тексты, вслушиваться в голос одного и того же писателя, когда он рассуждает и рассказывает, восхищается и негодует, ведет речь о подвигах героев или об ошибках, которые может совершить женщина при стирке белья (есть у него и такое!). Есть замечательные и достойные всяческого внимания античные авторы, от которых дошло по нескольку строк: каждое слово, заключенное в этих строках, обрастает десятками исследовательских домыслов, догадок, гипотез. Заниматься такими авторами и нужно и интересно. Но для начала мне хотелось послушать не интерпретаторов, но самого писателя, хотелось иметь дело не с гипотезами и контргипотезами, а с фактами. Это не значит, что мне хоть на минуту приходило в голову пренебречь всеми старыми и новыми исследованиями о Плутархе: их я читал, сколько мог прочесть, и они мне очень много дали. Но сейчас я думаю о другом: у немецкого художника XX века Отто Панкока, которого я очень люблю, в числе прочих придуманных им «десяти заповедей живописца» есть и примерно такое изречение: «Дерево должно быть для тебя важнее, чем самая умная выдумка Пикассо». Я думаю, что для филолога конкретная реальность текста, доносящая до него через тысячелетия живой человеческий голос, должна быть душевно важнее, чем самые гениальные соображения по поводу этого текста; иначе филологии грозит беспредметность. В те годы я еще не знал упомянутого изречения Панкока, но беспредметности, честно, боялся и тогда.

Вторая причина, по которой я выбрал Плутарха: я знал, что множество великих творцов европейской культуры, таких, как Монтень, Шекспир, как Жан-Жак Руссо и другие, были горячими почитателями этого писателя (кстати, высказывания Монтеня и Руссо о Плутархе дали мне то, чего не смогли бы дать ученые комментарии). Сквозь века от Ренессанса до романтизма проходит непрерывное течение плутарховской традиции. Заняться Плутархом — значило встать у начала этой традиции и собственными глазами, не доверяясь пересказам и описаниям, увидеть ее истоки. Мне это показалось соблазнительным.

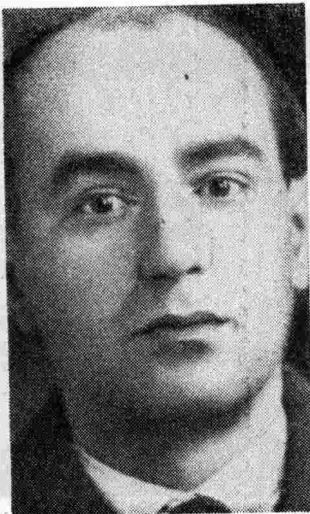
И вот я написал о Плутархе курсовую работу, потом еще одну, потом дипломную работу. Я продолжал им заниматься, потому что увидел: в творческом облике этого широко известного автора есть черты, до сих пор не освоенные по-настоящему наукой. Дело в том, что Плутарх изучался по преимуществу как «представитель» — представитель своей эпохи, представитель своей жанровой традиции. Та по-своему блестящая методология историко-литературного исследования, которая была разработана классической немецкой наукой, превращает литературный процесс в цепь взаимодействий. Но ведь, кроме того, что Плутарх испытал такие-то влияния и, в свою очередь, сам повлиял на таких-то последователей, существенно, что он был, был самим собой, что он мог не только испытывать влияния, но и оттапливаться от них и заявлять в каких-то пунктах свое авторское своеволие (хотя бы и на такой ровный, тихий манер, который соответствует нату-

ре Плутарха, менее всего похожего на тип гениального скандалиста). Наверное, если бы Плутарх был во всем похож на своих учителей по биографическому жанру, он не сумел бы их затмить (а ведь то что все Древнегреческие произведения в этом жанре, написанные до Плутарха, были забыты и утрачены, о чем-то говорит!). Наверное, если бы Плутарх был во всем похож на своих современников, он не сумел бы занять среди них свое, особое место (а ведь о его неповторимости говорит уже портрет VI века Агафий).

Я читал современников Плутарха и греческих писателей ближайших к нему по времени поколений. Вот философ Эпиктет, чьи назидательные рассуждения известны нам по записи его ученика Арриана. И Эпиктет и Плутарх — философы, занимавшиеся вопросами морали; их обоих можно занести в одну рубрику и назвать «представителями позднеантичного морализма». Но как они непохожи! Если угодно, Эпиктет значительнее Плутарха: это раб, сумевший суровым напряжением духа стать выше своих господ, затравленный человек, создавший свою философию на краю человеческого существования. Для него важно одно: сжав зубы, суметь презрительно отвергнуть все приманки жизни и через это стать свободным. Но у Плутарха было одно преимущество перед моралистами этого типа: уравновешенное отношение к миру, исключающее всякую напряженность, неестественность и фанатизм. Он являл в себе редкое для моралиста непредубежденное любопытство ко всему человечеству и умение выслушивать не только себя, но и своего собеседника. Именно это оказалось выигрышным для него как для писателя. Чтобы стать большим философом, ему недоставало страсти к абстракции; его сила была в конкретном. В этом внутренняя закономерность того, что он от позиции учителя жизни переходит к роли чуткого изобразителя жизни.

Или возьмем другого современника Плутарха — оратора и философа Диона Хрисостома. Нервное, напряженное творчество Диона до предела обращено к тому, что в его время было актуальным и в политике и в литературе: он изведал блистательную карьеру в столице империи, ссылку, а по возвращении из нее — участие в большой политике, и его литературные устремления находились в полном соответствии с тем, куда предстояло в ближайшие десятилетия идти греческой литературе. Есть основания думать, что Дион и Плутарх недолюбливали друг друга: наверное, Дион казался Плутарху светлым авантюристом, а Плутарх Диону — провинциальным, отставшим от жизни стародумом. Однако для потомков неторопливая рассудительность Плутарха оказалась притягательнее, чем красноречие Диона, прозванного Хрисостомом — «Златоустом»...

Мне было очень интересно убедиться, что тип биографии, каким его создал Плутарх, едва ли не уникальное явление в античной литературе (доказательству этого и посвящена моя кандидатская диссертация «Плутарх и античная биография»). Плутарх не создает риторических «похвальных слов» своим героям, но и не сообщает о них анкетные данные, как это делает римский современник Светоний (чьи «Двенадцать цезарей» недавно появились на русском языке в блестящем переводе Михаила Гаспарова): он стремится создать психологический этюд, нарисовать цельный образ, безусловно, идеализированный, но сохраняющий противоречивость человеческих черт. И здесь у Плутарха любопытство ко всему человеческому берет верх над доверием к готовым истинам.



Ф. Абрамавичюс

ТЫ УВИДИШЬ ЗАРЮ...



из
прошлого

АРЕСТ

Сквозь сон я услышал слова: «Фашистский переворот». Я вздрогнул. Сердце тревожно забило. Как отпущенная пружина, вскочил с кровати. В соседней комнате хозяин рассказывал жене: «На улицах танки, солдатские патрули. Офицеры разогнали сейм, арестовали правительство».

Начал быстро одеваться. Нужно предупредить товарищей. Активисты партии за последние месяцы вышли из подполья, легализовались. Все они сейчас под ударом жвальгибы (охранки). Я уже надел пальто и хотел идти, как раздался стук, и сразу же распахнулась дверь. На пороге стоял полицейский офицер.

— Ваша фамилия?

— Абрамавичюс!

— Вот вы мне и нужны! — воскликнул он. — Вы арестованы!

— Для ареста нужна санкция прокурора.

— Сейчас не нужна. В Литве ночью произошла революция. Только мы делаем ее наоборот — арестовываем коммунистов. Пошли!

Это было рано утром 17 декабря 1926 года.

В ЖВАЛЬГИБЕ

Полицейский погнал меня на второй этаж, открыл дверь в комнату дежурного чиновника и, буркнув: «Принимай пополнение», — толкнул меня туда. Я оказался в том же помещении, откуда вышел полтора месяца назад, после трехдневного ареста. Тогда я беспокоился только за себя, а сейчас был повод для большей тревоги. Я увидел сидящего на скамье «Старика» — тридцатилетнего секретаря ЦК Каролиса Пожелу. Рядом с ним сидели член ЦК партии и организатор комсомола Литвы Юозас Грейфенбергерис, член ЦК комсомола Рафаил Чарнас, член ЦК МОПР Казис Гедрис. У стола дежурного что-то выкладывал из карманов член ЦК, лектор и пропагандист партии Пюос Гловацкас. «Беда, — подумал я, — почти полный состав ЦК».

Я рассказал Каролису, что слышал от хозяина. — Черное предательство! — резюмировал Каролис. — Правительство без сопротивления отдало власть фашистам.

Между тем дверь комнаты беспрерывно хлопала: полицейские вталкивали новых арестованных — коммунистов, активистов профдвижения, левых интеллигентов.

Около десяти утра к нам толкнули трех руководителей социал-демократов.

На каждого вновь прибывшего жадно набрасывались: «Что в Каунасе и в провинции?» Хотя мы уже знали, что правительство социал-демократов и так называемых «народников» («ляудининков») предало народ, но как-то не верилось, что оно так позорно капитулировало: совсем недавно, в конце ноября, министр внутренних дел социал-демократ Владас Пожела заявил, что фашисты не пройдут.

Вечером, когда в комнате дежурного даже стоять уже негде было, нас перевели на первый этаж. Каролис, Юозас, Казис и я очутились вместе. Тесно прижавшись друг к другу, мы улеглись на конторские столы. Каролис Пожела был настроен пессимистически: «Фашисты, добравшись до власти, не уступят возможности расправиться с нашей партией и в первую очередь с ее руководством. Они нас расстреляют».

Юозас Грейфенбергерис, наоборот, считал, что фашистам, взявшим власть без единого выстрела, нечем будет оправдать расстрелы перед общественным мнением. Конечно, нас не выпустят, но не расстреляют.

Утром 18 декабря начались допросы. Первым вызвали Каролиса. Вернувшись, он невесело сказал: «Допрос их мало интересует. Решение у них уже готово». К ночи допросили всех. Усталые и голодные арестованные заснули сидя. Вдруг раздался резкий голос полицейского:

— Пожела Каролис, Грейфенбергерис Юозас, Гедрис Казис и Абрамовичюс Фейвушас, выходите!

В ТЮРЬМЕ

Поздняя ночь. Вокруг царит мертвая тишина. И только слышны шаги — наши и конвоя.

У ворот шестые остановилось. Лязг ключей, скрежет железных дверей. Запись в толстую книгу. Тщательный обыск. Громкий крик: «Веди!» Снова лязг ключей. И вот мы в тюремной камере.

19 и 20 декабря камеры второго отделения Каунасской тюрьмы наполнились арестованными. Товарищи начали налаживать обычную для коммунистов тюремную жизнь. Каролис Пожела и Юозас Грейфенбергерис 19-го днем в углу камеры созвали совещание актива. Каролис сказал:

— Тюрьма всегда была университетом революционеров. Будем учиться.

Через день состоялось занятие. Все сели с обеих сторон длинного стола. Каролис, сидевший с краю, начал говорить. Он сказал примерно следующее.

Неурожай 1925 года сильно отразился на экономике Литвы. Покупательная способность крестьянства, составляющего большинство населения, резко снизилась. Слабая промышленность еще больше пошатнулась. Нарастала безработица. Рабочие вышли на улицы с требованием работы и хлеба. Буржуазное правительство в ответ усилило репрессии.

В мае 1926 года к власти пришли социал-демократы и ляудиники, выступавшие на очередных выборах с демагогическими обещаниями и фальшивыми демократическими лозунгами. Однако своих обещаний они и не думали проводить в жизнь.

Нарастала опасность фашизма. Усилия всего государственного аппарата, полиции и жвальгибы были направлены против коммунистической партии и рабочих организаций.

Коммунистическая партия Литвы предупреждала трудящихся о грозящей фашистской опасности, призывала объединиться в совместной борьбе за интересы народа. Еще в конце ноября ЦК принял решение о переходе некоторых работников на нелегальное положение. Однако провести решение в жизнь мы не успели.

КОМЕДИЯ СУДА

После ареста прошло семь дней. Во всех камерах учили литовский и русский языки, арифметику, историю, делали доклады.

Уже лидер таутинников (фашистов) Антанас Сметона был «избран» президентом, а его сообщник Аугустинас Вольдемарас стал премьер-министром. Фашистские газеты клеветнически утверждали, что Коммунистическая партия Литвы готовит вооруженное восстание.



Юозас Грейфенбергерис.

В пятницу 24 декабря, утром, едва мы возвратились с прогулки, Каролис Пожела, Юозас Грейфенбергерис, Казис Гедрис, Рафаил Чарнас и я были вызваны из камеры в коридор. Каролис, оглядев нас, произнес:

— Слишком «теплую» компанию собрали фашисты. Не к добру!

Нас вывели во двор. Здесь нас встретила группа унтер-офицеров во главе со старшим лейтенантом. После обыска нас загнали в «черный ворон» и повезли.

Я сидел напротив окошечка и, когда перед моими глазами замелькали верхушки деревьев, понял, что мы за городом. Я приподнялся, чтобы разглядеть местность. Сидевший рядом унтер-офицер рявкнул:

— Не двигаться — буду стрелять!

Неожиданно машина повернула влево и вскоре остановилась.

— Вылезай! Быстро!

Чарнас вышел первым. То, что он увидел, невольно заставило его попятиться.

От машины до деревянного дома стояли двумя рядами солдаты с винтовками наизготовку. Каждый из нас должен был пройти тридцать метров между рядами солдат.

Огромная комната, в которой мы очутились, была библиотекой второго пехотного полка, стоявшего в пригороде Каунаса — Шанчяе. Нам приказали сесть на длинную деревянную скамью, перед каждым стал солдат с направленным на нас штыком.

Шел двенадцатый час, когда у дверей раздался резкий голос:

— Встать, суд идет!

Первым шел майор Иосукас, председатель военного суда, за ним — старшие лейтенанты Груодис и Андрюшайтис, старшина Шидлаускас и старший унтер-офицер Кундра. Иосукас вынул из портфеля бумаги и безразличным голосом начал торопливо читать. Мы поняли, что нас обвиняют в подготовке вооруженного восстания, в антигосударственной агитации в армии, в борьбе против независимости Литвы и т. д.

Иосукас обратился к Каролису Пожелу:

— Признаете себя виновным?

Каролис встал.

— Нет, не признаю! — твердо сказал он. — Считаю обвинение нелепым и смешным. Вы судите нас,



Каролис Пожела.



Рафаил Чарнас.



Казис Гедрис.

коммунистов, за то, что мы будто бы хотели свергнуть правительство, которое свергли фашисты.

Остальные обвиняемые тоже не признали себя виновными.

После их допроса была разыграна сцена приведения к присяге «свидетелей». Одиннадцать штатных агентов жвалягибы с поднятыми кверху двумя пальцами окружили тучного ксендза с большим крестом на груди. Ксендз громко читал слова присяги, а свидетели с серьезными лицами повторяли его слова о том, что обещают перед всемогущим богом говорить правду и только правду.

— Позовите свидетеля Владаса Лабанаускаса,— приказал председатель.

Вошел высокий молодой человек и вытянулся перед судейским столом. Иосукас предупредил свидетеля, что он должен говорить правду, только правду.

— Расскажите, что вы знаете об обвиняемых.

И свидетель начал говорить «правду».

— Пожела,— сказал он,— председатель ЦК Компартии Литвы. Грейфенбергерис — председатель МОПРа. Мне пришлось участвовать в обыске в их квартирах. Там найдено много компрометирующего материала. При Советской власти в 1919 году в Шяуляе Пожела был военным комиссаром. В последнее время руководил коммунистической организацией Литвы. Абрамовичюс и Гедрис — члены ЦК Компартии. Рафаил Чарнас — руководитель террористических групп. У меня точные данные, что коммунисты готовили кровавое восстание в Литве.

Председатель обратился к обвиняемым:

— Имеете ли вопросы к свидетелю?

— Имеем,— сказал Каролис.— Какие конкретно компрометирующие материалы нашли во время обыска в моей квартире?

Лабанаускас жалостно посмотрел на председателя, тот ободряюще кивнул, и шпик ответил:

— Я не обязан выдавать большевикам государственные тайны.

Пожела с возмущением крикнул:

— Это не суд, а расправа!

Чарнас спросил Лабанаускаса:

— Вы сказали, что я лично убил Мачулите?

— Да, вы.

— В каком году это было?

— В конце 1924-го или в начале 1925 года.

— Это чистая ложь. Я тогда сидел в тюрьме.

Слова Чарнаса вызвали замешательство.

Встал Грейфенбергерис.

— У меня вопрос к свидетелю. Что это за организация МОПР, председателем которой, по его словам, я был?

Шпик ответил:

— Военный штаб коммунистов.

Подсудимые улыбнулись. Раздался проницательный голос Грейфенбергериса:

— Как можно верить свидетелю, который не знает, о чем говорит! МОПР — организация помощи борцам революции. В этой организации участвует много беспартийных интеллигентов, ученых, писателей.

— Садись, большевик! — закричал Иосукас.— Хватит!

Все мы понимали, что наши речи перед судом бесполезны, что мы говорим лишь для будущего, для истории.

Еще не кончил речь последний подсудимый, а Иосукас уже начал собирать бумаги.

Суд удался на совещание. Совещались недолго.

А когда судьи вернулись, в маленьких, неопределенного цвета глазах председателя мы увидели смерть. Смерть слетала и с его бескровных тонких губ. Смерть Каролису Пожелу, смерть Рафаилу Чарнасу, смерть Юозасу Грейфенбергерису и смерть Казису Гедрису. Пожизненная каторга Фейвушасу Абрамовичюсу.

После прочтения приговора майор Иосукас выдавил из себя:

— Можете подавать прошение о помиловании на имя президента.

— Коммунисты не просят помилования. Мы напишем заявления с требованием передать наши дела на пересмотр в обычный суд,— заявил Пожела.

В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ

Камеры третьего этажа пятого отделения Каунасской каторжной тюрьмы видели много человеческих страданий. Здесь проводили смертники свои последние дни и часы. В одной из этих камер поместили Каролиса Пожелу, Казиса Гедриса и ме-

ня, во второй — Юозаса Грейфенбергериса и Рафаила Чарнаса.

...Надзиратель Бардаускас за годы службы в тюрьме много видел смертников, но таких еще не встречал. Молодые и здоровые, они ведут себя так, как будто смертный приговор их не касается. В черстной тюремной душе Бардаускаса зародилось сначала удивление, а потом теплое чувство к этим людям. Часто он заглядывал через волчок в камеры, чтобы увидеть, что делают смертники. Сидят и спокойно беседуют. Наконец, Бардаускас открыл окошечко и поманил Каролиса пальцем:

— Скажите, почему вы так спокойны? Уверены, что вас помилят?

— Наоборот, мы уверены, что расстреляют, иначе не устроили бы эту комедию суда.

Бардаускас ушел. Вечером надзиратель снова открыл окошечко и сказал Каролису:

— Наверное, вам хочется известить родных. Вот карандаш и бумага. Я передам, кому скажете.

После недолгих раздумий решили послать письмо на имя беспартийного отца одного коммуниста.

Надзиратель не подвел. Таким образом 25 декабря на воле появилось письмо Каролиса Пожелы.

...Дневное перенапряжение и яркий свет, горевший всю ночь у смертников, не давали уснуть. Каролис лежал с открытыми глазами.

— Я очень рад,— тихо сказал он,— что ты остаешься жить. Будет хоть один свидетель, который все пережил вместе с нами и сможет рассказать людям, как все было на этом гнусном суде.

В те часы меня сильно мучила мысль, что мои друзья, с которыми я много лет работал вместе в подполье, должны умереть, а я остаюсь жить. Почему фашисты не осудили меня к смерти? Не виноват же я, что арестован впервые, что жвальгибе мало известно обо мне.

Утром нам принесли завтрак. Мы были голодны и быстро съели хлеб и выпили по кружке мутной водички, именуемой кофе.

— Пока жив человек,— грустно улыбнулся Гедрис,— ему требуется пища. За последние месяцы я ни разу как следует не поел.

Отворилась дверь, вбежал калифактор (уголовник-уборщик), схватил парашу.

Каролис успел тихо спросить его:

— Как чувствуют себя наши товарищи?

— По-видимому, хорошо,— ответил калифактор,— один что-то рассказывает, а второй смеется.

Через несколько минут калифактор вернулся. Я заметил, что он подмигивает, показывая глазами на парашу. Дверь за ним закрылась. Мы обнаружили, что к стенке параша прилеплен кусок хлеба. В нем были огрызок карандаша и несколько листков папиросной бумаги. В письме мы прочли:

«Жестокый приговор суда взволновал нас. Наши мысли и чувства всегда с вами, дорогие друзья. Начали голодовку протеста против смертного приговора. От всего сердца ждем ваши геройские руки».

Каролис сказал:

— Имея таких друзей, легче умирать. Наше дело в верных руках.

лежащего рядом Каролиса Пожелу. Он спит тревожным сном.

Каролису особенно тяжело. В октябре уехала в СССР рожать горячо любимая им жена. Он, которому еще нет тридцати одного года, не увидит больше ни жену, ни ребенка!

Как спят товарищи в соседней камере? Не изменило ли самообладание всегда жизнерадостному, веселому любимцу каунасских рабочих Юозасу Грейфенбергерису? Ему всего двадцать восемь лет. А Рафаил Чарнас, самый молодой из нас? Неужели не увижу больше его невысокую коренастую фигуру, его густую черную шевелюру? Он всегда был в движении, всегда полон замыслов, планов.

Вдруг послышались шаги, скрежет открываемой двери. Пожела и Гедрис проснулись и вскочили. Во сне Каролис, видимо, был в совершенно ином мире. Секунду он оглядывался непонимающим взором.

— Одеваться?

— Нет.

Каролис вышел в коридор и сразу же вернулся.

— Водолаз,— ответил он на мой немой вопрос. (Водолазом в тюрьме называли ксендза.)

На минуту вышел к ксендзу и вернулся Гедрис.

— Хотя в последний час могли бы нас оставить в покое,— недовольно проворчал он.

Дверь камеры захлопнулась. Ясно, что наступили последние минуты.

Можно ли назвать беседой отрывочные фразы, которыми мы обменялись за эти отпущенные нам судьями минуты?

Каролис... Высокий, тонкий. Он сейчас сутулится больше обычного. Голос, как всегда в беседе с друзьями, мягкий, задушевный.

— Ты счастливый, ты увидишь зарю, увидишь социалистическую Литву... Поверь мне, в такие минуты человек видит дальше. Лицемеры и убийцы, которые сейчас празднуют победу, будут сметены народом. Но к победе ведет тяжелый путь, он потребует немало жертв. Их будет тем меньше, чем меньше ошибок мы совершим. Мы, к сожалению, их немало сделали и за это платим своими головами. Я хочу, чтобы этот урок не прошел даром. А теперь дай бумагу.

Огрызок карандаша в руке Каролиса быстро забегал по листу. Окончив, он передал мне письмо. В глазах его засветилась нежность, какой я раньше никогда не видел на этом мужественном лице.

— У жены скоро будет ребенок. Я почему-то уверен, что это будет девочка. Мы даже договорились об имени. Это будет Мая. Мая... Мая...— тихо проговорил он, будто лаская ребенка.— Передай ей мой привет... Предсмертный привет отца. Она не будет стыдиться меня...

Казис тоже передал мне письма.

...Уходили минуты, равные по своей емкости годам. Лихорадочные фразы, сгустки воспоминаний, проникновенный взгляд в будущее. И ни одного звука жалобы.

Раздался топот подкованных сапог. Грубый надзирательский окрик. Палачи торопятся... Крепкие рукопожатия, объятия, поцелуи... К окошечку в двери подошли Юозас Грейфенбергерис и Рафаил Чарнас. Снова рукопожатия, поцелуи...

Через несколько минут я услышал звон железа — тюремщики заковывали товарищей в кандалы...

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Наступила ночь с 26 на 27 декабря 1926 года. Казис Гедрис лежит на топчане и дремлет. Его круглое, обычно бледное лицо с маленькой рыжеватой бородкой потемнело, но обычное спокойствие не оставляет его и сейчас. Я всматриваюсь в



Юрий Зерчанинов

ДО И ПОСЛЕ СЕНСАЦИИ

Фото М. Боташева.

И. Кавголово.

Иэстакада и гора приземления устланы лапами бурых полихлорвиниловых щеток. В своем первозданном виде синтетическая шкура трамплина, говорят, отливала снежною белизною, но теперь безнадежно выгорела. Ее слегка подлатили, готова к соревнованиям. Самая большая, молочного цвета заплатка красуется на горе приземления, там, где выпрямляется радиус. Палит солнце, хотя и конец августа, смоченный водою полихлорвинил быстро подсыхает, и сейчас прыгуны, уже поднявшиеся на стартовую площадку, снимут свои шлемы и белые перчатки и будут ждать, пока стечет по эстакаде вода и вновь заблестят, обещая скорость, мокрые щетки.

А он сегодня не прыгает.

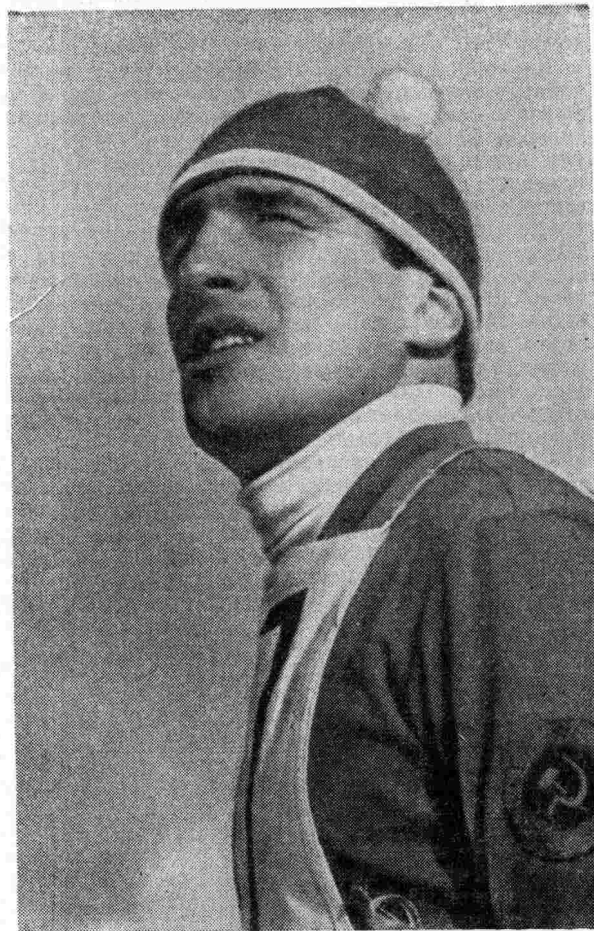
Он стоит на деревянном мостике близ судейской вышки, смахивает невидимую пылинку со своих чуть расклешенных, безукоризненно отглаженных брюк, теперь кричит: «Сашулька, Сашулька, цик!.. Э-э, раскис...» — и уже не смотрит на трассу, а смотрит, как его девушка, стоящая тут же, на мостике, потихоньку развязывает бантики на косичках, чтобы волосы на лицо упали, что, бесспорно, придаст ей вид ужасно загадочный, но он безжалостно ироничен, и приходится ей опять завязать бантики.

— Ну ладно, великий, скажи, кто — сегодня? — К нему теперь и так обращаются.

Как раз прыгает Толя Жегланов. Прыгает друг, к успехам которого он не ревнив.

— Молодец! — кричит. — Как он землю прилично «сделал»! Черт, как всадил прилично! Какой телемарк!

А он сегодня не прыгает вовсе не потому, что олимпийскому чемпиону и победителю Холменколлена вроде бы нет никакого резона участвовать в этих республиканского масштаба соревнованиях. Приехали же в Кавголово Напалков, Жегланов, Иванников. Его мудрый тренер Аркадий Федорович Воробьев, который только что вернулся с тетеревиной охоты и сейчас у «стола отрыва» невозмутимо посасывает свою короткую трубку из древовидного вереска, не советовал ему вспоми-



Владимир Белоусов:

— Теперь я хочу «полет работать». В Югославии строят трамплин, на котором можно будет улететь до ста восьмидесяти метров!..

нать до сентября о трамплине, а советовал рыбу ловить, охотиться, играть в футбол, наконец, если это ему так нравится.

Он говорит мне:

— Не люблю прыгать летом.

Другим говорит, что у него нет лыж, искал все утро и не нашел.

Но быть на трамплине зрителем, хоть и в центре внимания, но зрителем, ему все же не нравится. Лишь смотреть, как на красную пластмассу наносят узор парафина, а затем эти лыжи плывут на чьем-то плече вверх по лестнице к старту; лишь слышать, как верещат мокрые щетки, когда кто-то стремится набрать скорость...

Да, прыгать летом и приспособливаться к этой синтетике, заменяющей снег, и выкатываться по опилкам к неестественно голубому озеру он не любит, но сейчас его одно занимает: как далеко он бы прыгнул, если бы очень уж захотел найти утром лыжи и, встав на лыжи, впервые за лето рискнул...

— Я бы, наверно, и сорок пять не прыгнул...

— А может, прыгнул...

— Вот в прошлом году пришел и пятьдесят два сразу прыгнул...

— Нет, завтра я сюда не приеду. Завтра день рождения деда. Моему деду завтра семьдесят лет...

2. Сен-Низье.

На горной станции Сен-Низье, куда в то последнее олимпийское утро спешил, кажется, весь Гренобль, по окончании прыжков был обещан дневной фейерверк, а пока в ожидании прыжков пел Адамо. Хор маленьких певцов Гренобля сопровождал славного шансонье, который песней своей заклинал даже природу: «Падай, снег...»

К счастью, на северном склоне, где красовался 90-метровый трамплин, снег лежал пока что в сравнительном изобилии, утро было морозное, хотя и солнечное, ветер постепенно стихал, и оркестр 27-го батальона альпийских стрелков (оркестрантов на играх было не меньше, чем спортсменов, в трубы дули и дети и полицейские, и были такие презабавные дирижеры!..) уже готовился к открытию соревнований.

Но что-то не слышно было и даже не видно тех неутомимых болельщиков, которые пели, дудели в рожки, выкидывали собственного изготовления призывы и в парке Мистрала, и в Ледяном дворце, и даже на лыжных гонках в Отране. Неутомимые, очевидно, сочли, что уже достаточно поработали, и в последний день игр решили позволить себе отдохнуть, а быть может, просто растворились в семидесяти тысячах веселых воскресных зрителей, густо заселивших весь снежный склон слева от горы приземления.

И коллеги мои, несколько изнуренные круглосуточной двухнедельной работой (в лазаретном пункте пресс-центра были даже установлены аппараты искусственного дыхания), а также многочисленными зрелищными соблазнами олимпийского Гренобля, на сей раз, блаженно жмурясь, купали свои бледные лица в лучах горного солнца... Кто же мог полагать, что будет о чем писать, что на трамплине нам «светит золото»?

Было лишь ощущение, что должно свершиться какое-то чудо, сенсация. Уж слишком едино, слишком празднично ожидали семьдесят тысяч предстоящее зрелище, тем самым уже обязывая его к эффектному, неожиданному завершению.

Берусь утверждать, что знаю, какое чудо, быть может, и втайне, но ожидали семьдесят тысяч зрителей в последний день Олимпийских игр. А вдруг это последнее олимпийское «золото» выигрывает неизвестный доселе рискованный парень, который в «звездах» никогда и не числился и который вообще относится к спорту без излишнего фанатизма, может позволить себе, например, бессонные ночи по случаю безумной неразделенной любви или что-нибудь столь же стихийное?..

И чудо, казалось, свершилось.

Владимир Белоусов, который за несколько дней до этого на 70-метровом трамплине был лишь восьмым и который ни разу не был даже чемпионом Союза, уже в первой попытке летит за сто один метр. И стиль его совершенен. Он лидер.

И вот уже вновь Володя набирает стокилометровую скорость, безмолвно отрывается, летит, как летают лишь в цирке да в сказке, и приземляется олимпийским чемпионом!

Теперь он кричит. Сбрасывая лыжи, исполняет какой-то безумный танец. И на снег валится.

Это были кадры для Клода Лелуша, который делал фильм о зимней Олимпиаде в Гренобле. И в этом несколько необычном спортивном фильме наряду с президентом де Голлем, который на всякий случай нюхает матерчатую розу, упавшую на него с неба в день открытия игр, наряду с задумчивым любимцем судьбы — и отныне всей Франции — Жан-Клодом Килли, видишь, как наплывает на тебя в экстазе победы лицо Володи Белоусова, которого друзья уже подняли со снега и теперь несут на плечах...

Затем был обещанный дневной фейерверк, а также пускали шары.

3. Кавголово.

— Не люблю прыгать летом. Все не так. Летом я бегу от городской суеты на природу, но без лыж: летом важно сберечь нервы.

Вот зимой, тут как без лыж? Я, когда маленький был, прыгал в своем Всеволожске с каждой горы. Столько лыж сломал!.. Потом мне сказали, что есть секция, где лыжи потяжелее дадут, не сломаешь. Пришел, попробовал — понравилось. Вскоре стал ездить на Кавголовский трамплин. После уроков на электричку и — сюда. Но понастоящему я только в прошлом сезоне тренировался. До этого то школу заканчивал, то работал в ночную смену, то в техническом институте пытался учиться, хотя инженером мне никогда не быть: я литературу люблю, историю. Как вы думаете, журналист из меня получится?.. Так вот, призвали меня в армию, занялся всерьез тренировками, попал в сборную...

Аркадий Федорович Воробьев в этой связи замечает:

— В шестьдесят шестом году я привез его на чемпионат страны. После первой попытки Володя был шестым. Но тут мы немножко с ним поскандалили. Дул сильный ветер слева, и я говорил Володе, что рисковать нельзя, но он меня все равно не послушался: и шлем не надел и направил толчок повыше. Ветер его еще приподнял, и приземлился мой Володя на голову...

После этого чемпионата наша Федерация просила всех тренеров высказаться о перспективности своих учеников. Так, я написал, что на Олим-

пийских играх в Гренобле надеюсь видеть Владимира Белоусова на пьедестале почета...

Но лишь год спустя, в канун олимпийского сезона, я едва добился, чтобы его ввели хотя бы десятым номером в сборную. Судите сами, на первенстве страны шестьдесят седьмого года он был лишь пятнадцатым!

На этот раз он в первой попытке прыгнул так далеко, что судьи подумали: раз какой-то Белоусов приземлился за критической точкой, надо немедленно снизить стартовую площадку. Сейчас я вам поясню. Критическая точка 90-метрового трамплина в Сен-Низье, например, равна девяноста девяти метрам (сто десять процентов проектной мощности). Рекорды трамплинов — всегда за критической точкой. Тут спортсмен уже приземляется в так называемый радиус. Это рискованно. И на каждом трамплине предусмотрено несколько различного уровня стартовых площадок, или, как говорят спортсмены, вышек. По правилам соревнований, если прыгуны улетают за критическую точку, судьи обязаны снизить вышку в следующей попытке.

Но тогда на горьковском трамплине слишком дальний прыжок «какого-то Белоусова» настолько смутил судей, что они просто отменили эту попытку и открыли соревнования, лишь укоротив разгон. Володя едва не плакал, мне так и не удалось заставить его взять себя в руки. Он не мог уже прыгать по-настоящему и остался на пятнадцатом месте.

И я едва добился, чтобы его включили в сборную. Но начался олимпийский сезон, и он был первым на отборочных соревнованиях и в Кировске и в Горьком. А в январе на зарубежных трамплинах Володя уже конкурировал с Рашкой и другими сильнейшими прыгунами мира.

В Гренобль я приехал туристом. Утром к нашему загородному отелю подавали автобус и везли нас в парк Мистраль на состязания конькобежцев. Где-то в Отране жил вместе с лыжниками Белоусов и остальные прыгуны, но я смотрел конькобежцев. И однажды я сбежал в Отран и проник в олимпийскую деревню. Спал теперь на столе, ребята кормили меня по своим талонам, но я был рядом с Володей.

Первое олимпийское «золото» прыгуны разыгрывали на малом (70-метровом) трамплине в Отране. У Володи были две тренировки и обе неудачны. Он «перегорел» еще перед прыжками. Я увидел это, пробравшись в Отран как раз накануне соревнований. И вижу, что на малом трамплине я уже ничем ему помочь не могу. И я тоже растерялся. А прыгал он плохо, как никогда. Как новичок, прыгал. Олимпийское «золото» выиграл чех Рашка. Жегланов был шестым, а Володя — восьмым. Но он ни разу не хныкнул. И был страшно рад, когда соревнования закончились: освободился от нервного напряжения.

К прыжкам в Сен-Низье мы готовились уже спокойно. Обе тренировки теперь прошли у него отлично. Когда начались соревнования, я, правда, немного за него испугался: Володя выиграл первую попытку, и тут судьи объявляют ее пробной...

Володя лучше всего первый раз прыгает. И я еще утром сказал ему, что будешь работать без тренировки, сразу с первой попытки. И тут... Но ничего, все хорошо, как вы знаете, кончилось.

Возвращаю, однако, слово олимпийскому чемпиону, он продолжит свой монолог:

— Я еще с вечера, перед большим трамплином, чувствовал: что-то будет. Чувствовал, в троечку войду обязательно. И хорошо, что никто на нас не давил — дескать, надо...

У Рашки той зимой я уже выигрывал, а Рашка у Вирколы выигрывал...

Прыгаем. После первой попытки Толик Жегланов шестой. А я?.. Я лидирую. Уже приятно. Говорю себе: надо влезть в шестерочку, в троечку... Чувствую, могу. Теперь главное — не упасть. Продержаться, прыгнуть так же. Поднялся наверх, отошел в сторонку, сел на пенек. Светит солнышко. Слушаю, как птички поют...

Опять я на старте. Готов, а меня все держат. Давит шею свитер, и я свитер на подбородок натягиваю...

Наконец дают старт. Отрываюсь удачно. Молча отрываюсь — не кричу. Я вообще молчу. Я, когда прыгаю, только пасть разеваю и воздух глотаю...

Но внизу, когда понял, что все путево, тут уж я покричал...

Теперь предстояло самое сложное: доказать, что я выиграл в Сен-Низье не случайно. В марте все сильнейшие съезжаются в Холменколлен...

К нам подходит Толя Жегланов. Ему сейчас снова прыгать. Володя, восхищенный недавним его приземлением, говорил мне, что если зимой Толик будет так «землю делать», то попробуй с ним потягаться. А сейчас Володя ему говорит: «Ну, счастливо. Дай лапу и никого не бойся!»

...Так вот, я тоже отправился в Холменколлен. Прямо из Горького, с чемпионата страны, который я и на этот раз проиграл. Поехал вместе с нашим новым чемпионом Иванниковым, но без тренеров — вот такая была поездка.

Состав в Холменколлене был посильнее, чем на Олимпийских играх, а зрителей — около ста семидесяти тысяч. Как в Бразилии на «Маракане».

Виркола в Холменколлене — кумир. На тренировках он, как и остальные норвежцы, прыгал с верхней вышки. А мы с Иванниковым прыгали с нижней. И дальше, чем они с верхней. Норвежские тренеры, кажется, заволновались, а мы посмеиваемся.

Открываются соревнования, и первая попытка — с верхней вышки. Виркола на девяносто один летит — рекорд трамплина. А я, привыкнув на тренировках к укороченному старту, не решился прыгнуть в полную силу и проиграл ему три с половиной метра. Что теперь делать? Говорю на всякий случай норвежским тренерам: «Ich bin krank», — дескать, я болен. Тут вижу, судьи старт понижают. Ну, думаю, лишь бы теперь не упасть. Прыгаю. Трибуны орут. Но шесть лучших по первой попытке еще не прыгнули. Стоял внизу с сигаретой. Так психовал, пока Виркола и остальные прыгали... И все же я выиграл в Холменколлене.

После соревнования Виркола садится в машину, а я иду мимо. Фотокорреспонденты тут как тут — просят, чтобы мы снялись вместе. Виркола покровительственно меня обнимает, но я говорю: «Извини, пожалуйста», — и сам обнимаю его.

Воображаю, как психовал он тогда в Холменколлене. Он не может уже представить себя побежденным. Он говорил мне, что новый сезон начнет в ноябре в Кировске.

И вот я читаю в «Советском спорте», что он выиграл этот первый трамплин зимы.

Михаил Котюшенко

ЕЩЕ ОДИН ГОЛ ПЕЛЕ

Эсон Араптес до Насименто, известный миру как Пеле, готовился к матчу. Для этого ему отвели отдельную комнату — никто не должен видеть, каким образом осуществляется предматчевая месса идола. Все готово. Еще раз он посмотрел в зеркало на свои черные ноги, как две капли воды похожие на те золотые, выставленные в национальном музее Бразилии.

— Даю фору — три игрока. Нас двое — я и Гарринча, вас пятеро. Берите, кого хотите, — вполне официально заявил перед матчем до Насименто.

Противник промолчал. Лишь Шестернев предложил:

— Можете взять одного. Нашего. Хоть ворота прикроет.

— Я успею в воротах и в нападении, — ответил Пеле, сверкнув белоснежными зубами в сторону болельщиков.

Под шквал аплодисментов игроки вышли на поле.

— Смотри, мяч не упускай. Лучше уж бей подальше и сильнее, — шепнул Шестернев Бобби Чарльтону. — А то знаю я Пеле: перехватит — пиши пропало.

Так и случилось. Пеле получил мяч и рванул на пустой правый край. Одним глазом он все время следил за Шестерневым, которого всегда боялся. Только его.

На восьмой минуте терпение лопнуло сразу у Чарльтона и Малофеева. Они стали гоняться за «черной жемчужиной», но из этого ничего не получилось. Мяч по-прежнему был у Пеле, и он да-

же не отдавал его Гарринче. Тот бежал рядом и просил:

— Дай и мне. Не все же тебе одному.

Однако до Насименто ничего не слышал. Он был один. И еще с ним был мяч. В воротах волновался Урушадзе. Он подпрыгивал на месте и грозил кулаком защитникам... Последовал удар... Урушадзе растянулся во всю ширину ворот и даже немного сдвинул штангу. Мяч проשמгнул у него между рук.

Это был феноменальный гол. Еще один гол Пеле.

Шестернев подоспел слишком поздно. Он подбежал к ликующему Пеле и что было силы ударил его по ноге. Пеле унесли с поля. Шестернева дисквалифицировали за грубость. Он пошел к трибунам жаловаться болельщикам. Там уже сидел Пеле и потирал ушибленную коленку.

А еще спустя полчаса мать терла мочалкой Пеле. Он недовольно фыркнул, сидя в большом белом тазу.

— Опять сажей перемазался! Порежу я твой мяч, вот увидишь. И от компании этой раз и навсегда отучу. Ишь ты, манеру взяли... Сажей пачкают...

Она еще долго что-то говорила, но «до Насименто» отделялся гордым молчанием. Да и можно ли говорить об этом женщине! Даже если она твоя мать. Разве поймет она, как в их дворе трудно выбиться в Пеле и заслужить право перемазаться сажей? Да он бы и не смывал ее никогда...

г. Минск.

КАКОВ ВОПРОС КАКОВ ОТВЕТ

Зина П-ва и Люба З-на,
г. Каменск-Уральский.

Дорогая редакция! Нам уже 23 года, пора выходить замуж. Но, по правде говоря, замуж нам совсем не хочется. Но выходить надо, иначе назовут «старыми девами». Что вы нам посоветуете?

ОТВЕТ. Девочки! Я считаю, что в таком деле личные интересы нельзя ставить выше общественных. Что значит — «хочется» или «не хочется»? Раз надо — значит, надо!..

Света К-ва, г. Балхаш.

Милая Галка! Меня давно волнует вопрос: можно ли стать художником, если не умеешь рисовать?

ОТВЕТ. Милая Света! Если ты еще меньше умеешь играть на арфе, поступай в симфонический оркестр.

Слава К-ко, г. Харьков.

Дорогая Галка Галкина! Можно, весь наш 7-й «Б» будет отправлять тебе много глупых вопросов, а ты на них будешь умно и правильно отвечать?

ОТВЕТ. Давайте. Уж лучше так, чем наоборот.

Гена Л-ев, г. Джалал-Абад.

Милая Галочка! Меня мучает вопрос: ты мужчина или женщина? Для мужчины ты слишком хитра, для женщины слишком умна.

ОТВЕТ. Милый Гена! Я бы тебе ответило, но боюсь тебя окончательно запутать.

Твое Галко Галкино.

● ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС •

С. Лившин

САМОЛЕТ НА СОСЕДНЮЮ УЛИЦУ

Рисунок М. Марьямова.

В парке на скамейке сидел мальчик. Он был очень аккуратный. Даже нос у него располагался под углом 45 градусов к поверхности земли, а глаза были серые в косую линейку.

По тропинке бежала девочка. Она была веселая, как мячик от бадминтона. Девочка остановилась возле скамейки и спросила:

— Что ты делаешь, а?

— Извлекаю квадратные корни из акаций, — ответил мальчик.

— Зачем? — удивилась девочка.

— Чтобы знать, как они выглядят. Мне надо все знать.

— Но это же ужасно скучно — все знать! — засмеялась девочка. Мальчик пожал плечами.

— Знание — сила. Техника — молодежи. Лично у меня все по плану. Сперва я заочно окончил ясли, потом вечерний детсад, потом... — И что это тебе дало?

— Я знаю, как называются рыбы по-латыни, сколько звезд на небе... Я все знаю.

— И не все, и не все! — запрыгала девочка. — Как меня зовут, ты не знаешь.

— Зато я знаю, что меня зовут Прокофий, — рассудительно сказал мальчик.

— А ласкательно как? — поинтересовалась девочка.

Немного подумав, мальчик ответил:

— Вероятно, Прокофий Иванович.

Глаза у девочки стали задумчивыми.

— Прокофий Иванович, скажи мне что-нибудь хорошее, — попросила она.

— Хорошее? — переспросил мальчик. — Э-э... Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Девочка топнула ногой.

— В книгах девочек сравнивают с чем-нибудь красивым!

Мальчик так долго смотрел на нее, что она покраснела.

Наконец он выдал из себя:

— Ты похожа на параболический гиперболюид, к основанию которого...

— Замолчи! Ты ничего не понимаешь. Ни-че-го! Разве звезды становятся ярче, если знаешь, сколько их? Разве рыба, названная по-латыни, вкуснее?

— Я не хотел тебя обидеть, — пробормотал мальчик. — Если ты не рассердишься на комплимент...

— Ну что ты!

— Брови у тебя, как знак интеграла! — Теперь покраснел мальчик. — Я... я никому еще такого не говорил.

Девочка вздохнула.

— Ты и вправду ничего не понимаешь? Что ж с тобой делать? Знаешь что, возьми мой калейдоскоп. Он волшебный, честное слово. В нем человек может увидеть все, о чем мечтает. Держи! — И она убежала прежде, чем мальчик успел сформулировать ряд логических возражений.

Он пожал плечами и посмотрел в дырочку калейдоскопа.

— Какие-то узорчики... Придумают же такую чушь! Из этого картона можно было сделать три коробки для канцелярских скрепок. Выгодно и разумно. Гм, а ведь это идея!

И аккуратный мальчик тут же написал брошюру «К вопросу о рациональном использовании вторичных продуктов целлюлозы». Так как он был очень справедливым мальчиком, в предисловии он указал:

«Приношу глубокую благодарность неизвестной девочке, оказавшей помощь в подготовке материалов».

С тех пор прошло время. Любопытный мальчик извлек корявый корень седьмой степени из последней акации. Он беспомощно оглянулся. Вокруг была ночь и высохшие, без корневой акации.

Мозг требовал работы. Мальчик начал было доказывать самому себе теорему Ролля, но это было нерационально, и он прекратил доказательство. Он стал шарить по карманам в поисках очков. Вдруг рука его наткнулась на калейдоскоп. За недостатком времени мальчик не успел сделать из него коробки для канцелярских скрепок.

Он заглянул в дырочку и увидел ту самую девочку. Его губы шептали:

— Ненаучно!

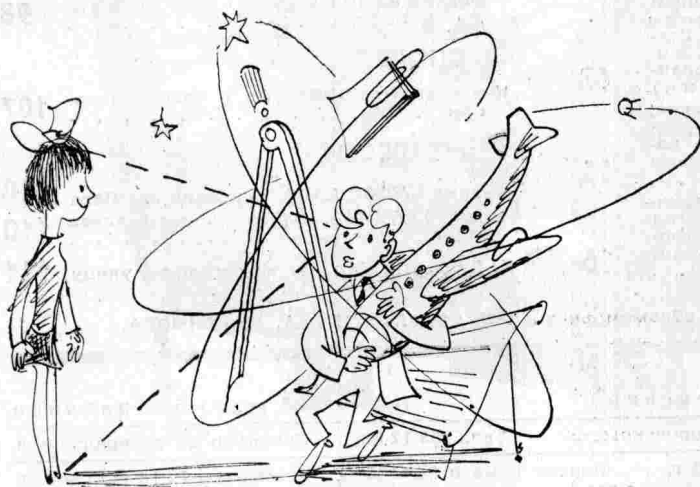
А рука сама потянулась к блокну:

«Уважаемая девочка (сердце стучало, как арифмометр), проверьте, пожалуйста, уравнение: ПРОКОФИЙ + ДЕВОЧКА ИКС = ЛЮБОВЬ».

Вдруг ему так захотелось, чтобы она получила письмо быстро, сегодня, сейчас же!

Тогда он написал на конверте: «Авиа». Потом вспомнил, что они живут в одном городе на параллельных улицах, но не стал исправлять. Это показалось ему вполне логичным.

г. Одесса.



• ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС



Г. ЗЫКОВ. (Гирасполь).

Зима.



Цена 40 коп.



Главный редактор **Б. Н. ПОЛЕВОЙ.**

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: **В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,**
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), **В. Н. ГОРЯЕВ,**
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.



Индекс
71120